

HEBA



1•2024



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Константин КОМАРОВ

Стихи • 3

Анна ГУРИНА

Путь в Дамаск. *Рассказ* • 6

Тая ЛАРИНА

Давай уедем. *Стихи* • 12

Александр ПЯТКОВ

Выхожу один я на дорогу... Автобус проходит обратно. Поминки. Как будто жизнь прошла... До вокзала. Рябиновый день. Утром, поздней осенью. *Рассказы* • 15

Никита МИТЮШКИН

Стихи • 32

Дарья ОСОЛОДКИНА

Не переплыть. За дверью. *Рассказы* • 35

Фарид ХАЙРУЛЛИН

Стихи о любви • 55

Александр ОЛЕКСЮК

Предметы. Цикл миниатюр • 58

К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Евгений ЛУКИН

Блокадные фрески. *Стихи* • 69

Анатолий ПЕНКИН

Розовый банкомат. Заветная субсидия. *Рассказы* • 77

Евгений ХАРИТОНОВ

Стихи • 100

Михаил СТРИГИН

Исповедь искусственного интеллекта. *Рассказ* • 103

Полина МИХАЙЛОВА

Топить можно вернуться. *Рассказ* • 113

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

Антонина ШАБАНОВА

Зефирантес. *Повесть* • 126

ПЕРЕВОДЫ

Из французской и англоязычной поэзии

Пер. М. Серебринского.

Вступительное слово М. Кудимовой • 148

ПУБЛИЦИСТИКА

Антон ЗАНЬКОВСКИЙ

Время твердых медуз: Метамодерн,
который мы заслужили • 156

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Феликс ЛУРЬЕ

Дуэль Пушкина с Дантесом • 166

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Искусство чтения. Игорь Сухих. Мысль семейная-2023. Дарья Панурова. «Создать новый документ». Мария Киселева. Потерянное поколение нашего времени. Анжела Маслова. Пляска смерти. Наталия Дробинина. Ветви и корни. Алексей Зубарев. Сколько веревочке ни виться... Алина Мальцева. Век Виолеты... Анна Яковлева. Благословенные писательницы... Леман Далеишова. Омут в четырех стенах. **Территория памяти.** Алла Новикова-Строганова. Право на достоинство личности... **Книжный остров.** Публикация Е. Зиновьевой • 196

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (Никитин)

Харбин — «русский Китеж». Часть 8 • 229

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор
Наталья Анатольевна ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталия Ламонт** (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**

Макет **С. Булачевой**

Корректор **Е. Рогозина**

Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2024

Константин КОМАРОВ

* * *

На прозрачные волокна
расщепляется Москва.
То Лубянка, то Волхонка,
разгоняется тоска.

А на утренней Покровке,
разодрав зари покров,
проливают полукровки
молодую полукровь.

Звуки мяты, буквы — броски,
но темно значение слов.
Вот И. Б. — Иосиф Бродский?
Иоанн ли Богослов?

Вот в метро фанаты «Локо»
(одобрительный привет),
вот читает Джона Локка
дева предпреклонных лет.

Поумерь свою гордыню —
верь, и бойся, и проси.
Выезжает на Ордынку
нужное тебе такси.

Если душу ты, как вилы,
следом по воде укрыв,
то теперь спокойно вылей
жизни красочный акрил.

Жаркий, жалостливый, скользкий
век идет, тебя храня.
Об асфальт сырой московский
раскололась дыня дня.

Константин Маркович Комаров родился в 1988 году в Свердловске, окончил Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, кандидат филологических наук. Как поэт и литературный критик публиковался в журналах «Дружба народов», «Урал», «Звезда», «Нева», «Октябрь», «Знамя», «Новый мир», «Вопросы литературы», «Дети Ра» и др. Автор нескольких книг стихов и сборников литературно-критических статей. Член Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, Русского ПЕН-центра. Победитель «Филатов-феста-2020». Лауреат премии «Восхождение» (2021). Лауреат премий журналов «Нева», «Урал», «Вопросы литературы». Живет в Липецке.

* * *

Словно пенальти паненкой,
участь моя легка:
пенка ведь — просто паника,
паника молока.

Счастье — пустое, куцее —
вызлив в ухмылке рот,
грустными плоскогубцами
вытянуть гвоздик тот.

Гребаными ужимками
не пробавляться чтоб,
удаль нужна мужицкая —
гвоздик забить во гроб.

Множатся быта ужасы,
слезный давя крющон.
Жаль, что такого мужества
начисто я лишен.

Что же со мною мучиться?

Ясно.
И хорошо.

* * *

Не ровня я для января,
я — марту марлевому ровня,
когда подснежные моря
несут угрозу для здоровья,

Стареет стерео в ушах,
мурлычет сонно старый «Сони»,
и отрекается душа
ночных своих привычек совых.

когда даешь себе зарок
догнать свой новый год поджарый,
и солнца ледяной жирок
тихонько прячется под жабры.

И реже все в зрачках гостит
малинового мела пудра,
когда раскатист свист кости
в нутро вползающего утра.

И глухнет безударный смех,
но воскресает кровь под кожей,
пока мелькает мелкий снег,
на дождь все более похожий.

* * *

Воспоминания о прошлом,
о лицах — светлых и родных,
как снега гипсовые крошки,
ссыпаются за воротник

и по зиме куда-то тащат
меня, но крепнет боль в душе,
что с памятью о настоящем
не справлюсь в будущем уже.

ПУТЬ В ДАМАСК

Рассказ

Море осталось внизу.

Узкая пыльная дорога вьется вокруг лысой горы, нависая над сияющей бездной. Слева тянутся скалы, облитые малиновым сиропом закатного солнца. Полукруглые глиняные домики лепятся к широкому подножию, но за разноцветными, распахнутыми настежь дверьми темнеет пустота. Зеленые и черные ящерицы неподвижно сидят в трещинах камней, провожая желтую машину равнодушными, мертвыми глазами. В выжженной траве надрывно стрекочут цикады. Из-под брошенных грузовиков и танков разит вонью разлагающихся останков. Всюду, куда хватает глаз, — ни единого человека, ни одной домашней собаки.

Пустота и безмолвие.

Вера переключила рычаг на пятую скорость, и старенькая желтая «пежо», приподняв крошечную мордочку, въехала в неровный круг смотровой площадки.

Внизу, в бездне, сверкало солнечными бликами море. Кривые скалы нежно обступали его. А за скалами, отделяющими море от пустыни, вилась белой нитью дорога на Дамаск. Отсюда, с горы Корнет-эс-Сауда, мир внизу разделялся на две половины: позади, в пустыне, гнили брошенные грузовики и танки, чернели пустые человеческие жилища, а впереди, по дороге в Дамаск, зеленели веселыми заплатками между обгоревшими многоэтажками молодые виноградники, оливковые деревья с тонкими серебристыми листочками, чинары, пальмы и кипарисы. Позади еще царила разруха, а впереди уже пробуждалась к жизни, стяхивая оцепенение войны, прекрасная, как восточная женщина, Сирия.

Вера вышла из машины и, осторожно ступая по пыли, подошла к самому краю бездны, похлопала себя по джинсам и куртке, достала телефон из заднего кармана и сделала несколько фоток. Сзади послышался странный шепелявый звук. Вера стремительно обернулась.

Машина, пытаясь, скатывалась вниз.

— Нет, нет... Нет! — судорожно крикнула Вера и, отбросив телефон, кинулась следом. — Господи, нет, стой!

Но машина, не встречая препятствия, набирала скорость и через несколько секунд скрылась за поворотом. Раздался хлопок и металлический, неприятный скрежет. Вера лихорадочно мчалась по склону, не разбирая дороги, спотыкаясь о камни, рискуя полететь кубарем в своих тонких, на шпильках, босоножках; повернула за скалу и закричала.

Машина задом влетела в дерево. Дверь покорежило, багажник сплющило, а переднее колесо, пробитое камнем, выпустило воздух и осело.

Анна Николаевна Гурина родилась в 1986 году. Прозаик, сценарист. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (2010) и Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) им. С. А. Герасимова. Автор сборника повестей и рассказов «Обратная сторона игры». Живет в Москве.

— Скрипка!!! — дико закричала Вера, нервно пытаясь открыть багажник.

Это было невозможно. Машина стояла под углом, прочно засев в дерево, и сдвинуть ее было невозможно даже силачу. Вера влетела за руль и, подняв облако мучнистой пыли, судорожно вырвалась на дорогу. Но от натуги колпак на колесе отлетел в сторону, а диск с печальным звоном блеснул на солнце и замер. Вера дернула ручник, поддев пальцами искореженный багажник, пихнула его вверх.

Внутри лежал футляр скрипки. Между двумя замками, над ручкой темнела впадина. Вера съежилась и открыла крышку.

Скрипка была жива. На нежной и гладкой деке не было ни единой царапины. Горделиво поднималась из корпуса темная стать лебединой шеи, от львиной головки расходились четыре круглых матовых колка. Вера провела смычком по струнам — звук был безупречно глубоким, как под сводами концертного зала. Она с облегчением выдохнула, положила скрипку обратно и поднялась на смотровую площадку за брошенным телефоном. Но телефон от удара покрылся паутиной трещин и был бесполезен.

Вера без сил опустила на камень.

— Класс. Все беды в гости к нам.

А ведь она могла бы сейчас быть в Дамаске! Могла бы, если бы не глупость! Воображение рисовало ей несбыточные картины сегодняшнего вечера: гостиница, куда уже, должно быть, заселился их оркестр, безликий номер в гостинице, душ, кровать. Ужин вдвоем на тихой улице... Она мысленно отмечала все это, как автомат, который щелкает, когда в него опустят монету, но не говорила ни слова, только застыв на камне и обхватив колени руками, глядела куда-то в пространство. Затем резко встала, вытерла слезы и провела указательным пальцем под носом туда-сюда, как делают дети, вытирая сопли.

— Пошли, дура, найдем кого-нибудь.

На землю медленно спускалась тьма. В неровных уступах скал залегли густые тени и, увеличиваясь от уходящего солнца, срывались вниз, загромождая дорогу. Вера с трудом передвигала ноги, ремешки босоножек терли покрытую пылью кожу, колени ныли от недавнего бега в неудобной обуви. Невыносимо хотелось пить. Она села на корточки, прижалась спиной к скале и заплакала.

Как банально, как глупо закончился ее роман со звездой первой величины! Так обычно случается в дешевых сериалах или в бульварных книжках. Она случайно вошла в комнату и застала своего любовника с другой. Крики, слезы, ссора, хлесткий звук пощечины. Мучительно разболелась голова. Сердце стучало с перерывами. Она выскочила на ресепшен и сделала первое, что пришло на ум: оплатила аренду единственной свободной «пежо». В Сирию она поедет сама, только не с ним! Ни секунды рядом с ним! Он широким шагом подошел к машине и заколотил в стекло. «Вера! Заканчивай истерику! Куда ты поедешь на этой игрушечной машинке? Там боевики!» Она завела мотор, опустила стекло и сказала равнодушно и спокойно: «Встретимся в Дамаске. Я успею на концерт». Нажала на газ и уехала.

Какая же она дура! Ну зачем она сюда поехала? Чтобы он поволновался? Да ему плевать на всех, кроме себя! Какой парадокс — хотела наказать его, а в итоге пострадала сама. Ну и ну.

Вера встала.

Солнце быстро угасало; теперь оно казалось только небольшой звездочкой, но вот Вера завернула за скалу, прошла по дороге еще несколько метров, и солнце погасло, как последняя искра костра

Боже, как темно! Как страшно! Луна выглядывала из-за черных деревьев и бросала на дорогу седые пятна. Нигде ни шороха, ни звука. Только угрюмые островерхие скалы, поросшие чахлыми деревьями, одно из них, обугленное, упало на дорогу и умо-

ляюще тянуло к Вере скрюченные ветки. Пахло пылью, сожженной резиной; ветер доносил едва уловимый, страшный и сладкий трупный запах. Впереди тьма и бесконечная, страшная дорога. Вдруг... Боже, что это? Мелькнули за выступом скалы яркие желтые окна! Крошечная деревенька прилепилась к горам. Господи! Она дошла!

Вера заколотила в первый каменный дом. Зеленые ворота медленно распахнулись, выпустив на темную дорогу желтый прямоугольник света. На пороге стоял мальчик в безразмерных мужских шароварах, стянутых на поясе грязной веревкой. Он вежливо поздоровался на английском и впустил ее. В каменном дворе рос старый, разохшийся платан, а рядом стоял деревянный некрашенный стол, за ним сидел седой старик, погруженный в раздумье. Увидев Веру, он встал и протянул коричневую, словно покрытую трещинами морщин, руку. Почтительно поздоровался.

Вера накинула на голову капюшон и сбивчиво заговорила на английском. Можно ли взять у него машину до Дамаска? Она забыла поставить свою на ручник на горе, и та разбилась о дерево. Видя, что старик и мальчик нерешительно смотрят друг на друга, Вера стиснула руки и заговорила с удвоенным жаром: она скрипачка, русская скрипачка и завтра, впервые после войны, в опере Дамаска играет симфонический оркестр, где она первая скрипка! Если опоздает на репетицию к восьми утра, ее заменят, а на афишах она, и везде она, и с нее потребуют неустойку! Они с оркестром ехали из Анталии с гастролей, но ей захотелось посмотреть Сирию, она взяла машину, и вот... пожалуйста, помогите!

Старик улынулся.

— У нас в деревне все машины конфискованы или боевиками, или курдами. Могут дать позвонить.

— У меня телефон сломан, а наизусть я ни одного номера не знаю! Ладно, а вы можете поменять колесо? Я заплачу, сколько скажете! Тут недалеко, километра три!

Старик покачал головой.

— Если бы вы пришли до заката солнца, я бы вам помог. Но эта ночь для нашей деревни особая. В эту ночь никто не работает. Переночуйте у нас, а завтра утром сядете на автобус до Дамаска. Если он не придет — такое бывает, — мы починим вашу машину.

Напрасным было сопротивление Веры. Старик остался равнодушен к деньгам и слезам. Если девушка не хочет ждать — она может пойти пешком через перевал, но в пустыне бродят дикие кошки и шакалы... Вере пришлось остаться. Отказавшись от ужина, она тяжело опустилась на продавленный топчан и снова заплакала.

До чего же гнусная у нее жизнь! С детства она играла по шесть часов в день, так, что на гриф брызгала из мозолей прозрачная сукровица. Но Вера сжимала зубы и играла еще фанатичней, лишь бы вырваться из панельной двушки, где воняло борщом и сосисками, где кровати упирались в потолок, потому что в семье восемь детей, а мать с треугольным животом, перетянутым сальным фартуком, вечно торчала у плиты, сгорбив спину и опустив голову, как старая больная лошадь... Прочь из этого мира в мир дорогих машин, цветов, любовников, денег — все то, что другим принадлежало по праву рождения, она вырвет у судьбы! Ну вот, она вырвала — стала известной, но счастлива ли она? Денег нет по-прежнему, а любимый мужчина, ее дирижер, король и бог, переспал с другой и, если завтра она опоздает, заменит ее новой первой скрипкой (которая, в отличие от нее, все проглотит, лишь бы взойти на олимп) и еще потребует, издеваясь, заплатить неустойку! Боже! Боже!! Несдержанность, глупая эмоциональность, ревность погубили ее... Она чувствовала, как судорогой стиснуло горло, и едва сдерживалась, чтобы не закричать. Луна заглядывала в темную впадину окна, и от ее бледного, болезненного света ночь казалась еще тоскливее и тягостнее. Вера встала с бугристого топчана и вышла во двор.

— Почему вы не хотите заработать? — в слезах спросила она у старика. — Вы пережили войну, вам нужны деньги, разве нет?

— Милая девушка, не плачьте, но ночь на двадцать второе августа для нас святая. Она — ночь памяти.

— Памяти о погибших на войне?

— Нет. Памяти о человеческой глупости.

— Это какая-то история?

— Вам вряд ли будет интересно.

Вера осторожно села на скамейку.

— Расскажите, пожалуйста. Я тоже сделала глупость, поэтому я здесь. Может быть, другая глупость будет еще хуже, и это меня утешит.

Старик испытующе взглянул ей в лицо, словно желая удостовериться, достаточно ли честно ее любопытство. Но глаза Веры глядели грустно и удивленно, и старику стало неловко. Он вынес для гостей из дома кувшин воды, оливок, немного козьего сыра и на плохом английском рассказал ей странную, удивительную историю, в исторической достоверности которой, впрочем, можно усомниться.

Когда-то на месте этой деревушки шумел богатый ассирийский город, издавна здесь и во всех близлежащих городах жили христиане. День и ночь со скалистых гор спускались к морю караваны мулов, груженных коврами, медью, серебром и растительным маслом. Уходили из порта корабли в соседний Вавилон, Египет, Рим, Палестину и возвращались с полными трюмами золота. Сотни лет безмятежно жил город, утопая в раскидистых жасминовых и розовых садах, через которые текла вода по шумным каналам, отчего даже в самый знойный летний день здесь было прохладно. Но однажды на город напали сельджуки, разграбили дома и угнали мужчин в рабство, а через несколько лет власть у них отбили египетские Фатимиды, и снова началась война. Город переходил то к сельджукам, то к египтянам, то к сунитам или шиитам, и на улицах, некогда благоухающих от роз и жасмина, теперь воцарился хаос и плач. И тогда, прослышав о богатейших землях, ослабленных гражданскими войнами, в город вторглась армия крестоносцев.

Три дня и три ночи длилась битва. Лязг мечей, крики раненых, ржание коней и стоны слышны были даже за Галилейским озером и горным хребтом Антилливада. Море вдоль побережья сделалось пурпурным от крови, над трупами распластались когтистые стервятники, и небо казалось черным. На исходе дня победу одержали крестоносцы. А на рассвете в узкую скалистую бухту вошел одинокий корабль.

На палубе его стояла девушка в восточных одеждах. Никто из жителей не знал, кто она и откуда; и позже, вспоминая о ней, никто не мог описать, как она выглядела: облик ее постоянно менялся, как отражение в воде, и всем казалось: они где-то видели ее или откуда-то знают. Одни говорили: она дочь плотника из Иерусалима или Кафернаума, другие утверждали, что ее отец могущественный византийский император, но ни та, ни другая сторона не могли с точностью утверждать свою правоту и сходились только в имени — иноземку звали Еленой.

Сойдя на берег, Елена поразила окровавленными телами, усеявшим побережье, и, отпустив слуг, бродила между погибшими, чутко прислушиваясь: не раздастся ли вздох, не нужна ли помощь? Незаметно наступил вечер, на небе рассыпались ледяные крошки звезд; ломоть месяца, совсем золотой, заблестел сквозь листву деревьев на очистившемся, тонком и хрупком небе, и из-под камней раздался жалобный стон — то очнулся от глубокого обморока один из сирийских воинов, очень юный, совсем еще мальчик. Елена сорвала с себя покрывало, разорвала его на длинные полосы и перевязала ему раны. Но повязки не помогли, и воин умирал. Видя, что врачевание бесполезно, Елена воскликнула: «Что я могу для тебя сделать, чтобы облегчить муки?»

И воин признался, робея, что ни разу за всю жизнь не познал он женщину. И сейчас, отходя в беспросветный мрак, он умоляет унести с собой единственное утешение. Не думая ни мгновения, Елена сняла одежды и отдалась умирающему.

Через час воин умер. Елена похоронила его в пещере. Встала лицом к востоку и принесла Богу клятву: отныне она даст утешение каждому, кто будет нуждаться в ней. Ибо все, чем она владеет, будет служить людям.

С тех пор каждый вечер Елена бродила между рыбацкими хижинами и лачугами пахарей, заходила в трущобы прокаженных, приходила к обездоленным, к отверженным, к отчаявшимся — ко всем, ни разу не познавшим женщину, ко всем, забывшим радость жизни. До рассвета она не знала покоя, и веки у нее голубели от усталости. Но наутро рыбак возвращался с сетями, полными рыбы, плуг пахаря находил почву, мальчик-сирота встречал родителей, а раненый воин исцелялся. Город отстраивался, поднимался из пепла и руин, богател; и, как и прежде, спускались к морю караваны мулов, а корабли уходили в соседние земли и возвращались с полными трюмами золота. И вскоре в городе не осталось ни одного нищего. Мужчины были веселы и довольны, чего нельзя было сказать о женах.

Когда наш Творец создавал женщин, он, залюбовавшись, явно в чем-то ошибся. Женщина ради любимого может предать семью, пойти на эшафот или на костер, но если она заболит ревностью, ни секунды не думая, убьет того, ради кого пожертвовала всем. Городские женщины глаза готовы были выколоть Елене, когда вспоминали, что в прошлом она была близка с их мужьями. Сбивались женщины в разноцветные кучки и шептались. Много шептались.

И по городу начали расползаться слухи. Елена блудница! Какой позор держать ее в городе! Слухи, сперва робкие, не встречая сопротивления, понемногу обрастали скабрзными подробностями, прыгали из дома в дом, из сада в сад, от одной женщины к другой, и наконец грянула буря. Толпа женщин пришла ко дворцу наместника с требованием распять Елену. Наместник разгневался и прогнал их к мужьям. Но женщины не успокоились. Они вернулись домой, стали рвать на себе волосы и кричать мужьям: «Она грешница! Она не чтит наших законов! Какой пример для наших дочерей!» День и ночь плакали женщины, говорили: «Вот и твоя дочь станет такой же»; другие кричали и в ревности царапали себе лицо на глазах у детей. Город погрузился в хаос. И на пятый день мужчины сдались.

Тем же вечером Елену схватили. Женщины сорвали с нее одежду, избили и поволокли к наместнику. Они кричали: «Распни ее! Распни! Пусть ответит за грехи! Вот мы привели наших мужей, они согласны!» Увидев перед дворцом весь город, наместник дрогнул и согласился. Женщины накинули на Елену аркан и потащили в горы. Камни царапали ее голые ноги, ветви хлестали по лицу, на изрезанное плетью кровоточащее тело садились оводы. Елена падала. Ее били ногами и палками, плевали в лицо и тащили за волосы наверх.

Поднявшись на гору, жены заставили мужей разрубить растущую на скале шелковицу на крест. Когда крест был готов, привязали к нему Елену и установили на горе. Но этого толпе показалось мало. «Камнями ее!» — кричали женщины и схватили камни. И дали мужьям, дабы и они бросали.

Первый камень со свистом прорезал воздух и ударился о лоб Елены. В середине лба, словно родинка, зачернела крошечная дырочка; пульсируя, густая кровь закапала на грудь. Толпа возликовала. Полетел второй камень и с хрустом выбил Елене зубы. Третий попал в глаз, четвертый и пятый пробили череп, превратив прекрасные золотые волосы в багровую кашу. Толпа озверела от крови. Теперь бросали уже и женщины, и мужчины, и даже дети. И тогда, задыхаясь от боли, она подняла обезо-

браженное лицо к темнеющему небу, где дрожала золотая слеза звезды, и прошептала: «Боже, не мсти им, они не ведают, что творят».

Наутро несколько мужчин поднялись на гору, чтобы похоронить Елену, но не нашли ни Елены, ни креста — словно их и не было.

И вот уже тысячу лет народ Сирии не знает покоя. Власть переходит то к курдам, то к туркам, то к арабам. Войны измотали нас. И поделом нам, поделом... — старик горестно раскачивался, закрыв сморщенное лицо руками. Но мы верим, что Бог простит. Сколько мы выстрадали... И в эту ночь мы скорбим и молимся... Пошли нам, Господи, утешение...

Долго сидел старик, раскачиваясь взад и вперед; когда же он отвел руки от лица — Веры за столом не было.

Ночь медленно истаявала. По каменному двору протянулись длинные тени, а листья платана окрасились бледным сиреневым цветом. Купол неба был белым от не взошедшего еще солнца, но уже робко сочились из-за скалистых гор румяные полосы. Старик разбудил внука — не видел ли он Веры? Нет, не видел — отвечал мальчик, и старик забеспокоился: где эта странная русская?

Вера быстро поднималась в гору. Ремешки от босоножек лопнули, она скинула их и шла босиком по острым камням, сдирая волдыри, но не ощущая боли, подгоняемая каким-то странным, нервным чувством. Рассказ старика, который она уже где-то слышала, взволновал ее, и впервые ей захотелось, захотелось страстно, до обморока — просто так заиграть для людей на скрипке. Не за деньги, а как дар, в котором она, как ни странно, нуждалась даже больше, чем они.

Потому что рвущимся наружу чувствам нужен выход.

Она взобралась на гору. Отсюда была хорошо видна приютившая ее деревня и другие деревни за ней. Вдалеке, за молочной дымкой тумана, вилась дорога на Дамаск. Вера отвернулась от дороги, достала из футляра скрипку, настроила ее, закрыла глаза и взмахнула смычком.

Медовым, нежным меццо запела скрипка. Сладко задрожал палец на серебряном лезвии струны. Одиноким бархатный голос обрастал пассажирами; он то взмывал вверх, то опадал вниз, подобно разгорающейся струе фонтана. Голос упрямо рос, как растет, цепляясь за трещины, вьюнок на обломках здания, и, дойдя до высокой точки, до схватки фортиссимо, надломился и рассыпался пеной алмазных брызг. И, сверкая золоченой ярью, полетела над разоренными деревнями, над брошенными танками и грузовиками, под которыми гнили солдаты, ионически стройная, грациозно играющая, скорбная и сладкая мелодия, имя которой — жизнь.

Из домов торопливо выходили изумленные люди. Выпрямлял спину рыбак. Улыбалась уставшая женщина. Смеялись дети. Обгоняя друг друга, бежали люди на деревенскую площадь и вскоре заполнили ее так плотно, что приходящим из других деревень приходилось залезать на деревья и крыши домов. Затаив дыхание, смотрела толпа на маленькую фигурку в джинсах и белой курточке, стоящую на той горе, где сотни лет назад распяли Елену, и с каким-то изумленным восторгом, с облегчением плакали люди, и, подобно теплему ключу на дне холодного озера, пробивалась у них надежда, что все образуется. Отстроятся деревни, вернутся пропавшие без вести, наладится бизнес. И подобно мажорному аккорду, выплыл из-за горы, за спиной Веры, розовый, сверкающий позолотой утренний, ослепительно-яркий шар солнца.

И пока Вера играла, облик ее менялся. И людям казалось: они уже видели ее где-то и хорошо знают, и это было так прекрасно, что невозможно описать словами. И Вера знала: ее прошлая жизнь закончилась. Здесь, на этой горе, начинается новая, неизведанная жизнь. Жизнь, в которой каждый день будет труднее предыдущего. Жизнь, которая наконец обрела для нее смысл.

Тая ЛАРИНА

ДАВАЙ УЕДЕМ

* * *

Они все в белом сами по себе,
а ты один за всех. Ну и дурак.
таких не ставит на учет собес,
такие не считаются никак.
Такие не считаются ни с кем.
Ни в столбик, ни в уме, ни без ума.
Пока ты строил замки на песке,
они себе построили дома.
Пока ты рисовал для них закат
над морем, а потом рассвет в лесу,
они насоздавали эстакад,
бетонных глыб, застывших на весу.
Никто не виноват. А ты не прав.
И не успеешь оглянуться, глядь:
«Он встал, опять земную твердь поправ!
Он лег и тут же смял морскую гладь!»
И все, что ты ни сделаешь теперь,
использовано будет на суде.
Они ведут подсчет своих потерь,
а прибыль не записана нигде.
Когда же они снова прибегут,
теряя стыд и тапки по пути,
найди для них хотя бы пять минут.
Хотя бы пять минут для нас найди.

* * *

Однажды ты уйдешь, куда не надо,
и будешь там бродить совсем один.
А говорили ведь: «Не выходи!
Здесь все, что нужно, доставляют на дом».

Тая Ларина родилась в 1987 году в Москве. Окончила Литературный институт имени Горького и МГППУ. Лауреат молодежной премии «Триумф» (2009), лонг-лист премии «Лицей» (2019, 2020, 2023). Участник Форума молодых писателей (2020). Участник Литературной резиденции АСПИР (2023, детская литература). Публиковалась в журналах «45-я параллель», «Интерпоэзия», «Кольцо А», «Нева», «Новая Юность», «Юность», «Prosodia» и др.

Ты будешь проходить насквозь сугробы,
ложиться в реки, по теченью плыть.
Ты будешь делать все, чтобы забыть
о человеке. Птицей быть, микробом.
Потом почти что перестанешь быть.

Тогда-то и увидишь перекресток —
под звездным небом отблески костра.
Все это неспроста. Но слишком просто.
Вот так и растворяется астрал.

Он вызывал тебя не для бравады.
Он тоже не на шутку одинок.
Но ты уже ответил на звонок.
И ты к нему придешь, и будешь рядом.

Все будет ок. Теперь все будет ок.

* * *

Человек, воспитанный Алисой,
четко формулирует вопросы,
верно делегирует задачи,
знает, что на все найдет ответ.
Даже если никаких вопросов
или там задач в помине нету,
человек, воспитанный Алисой,
их организует на раз-два.
Жизнь — это, конечно, вечный поиск,
а точнее, поиск бесконечный.
Даже если никакой Алисы
нет на свете, он ее создаст.
Человек, воспитанный Алисой,
подчиняет время и пространство.
Недоступна только лишь реальность.
Да кому она нужна теперь.

* * *

Нас потом додумает нейросеть,
доведеет до ума и подправит все.
Ну а если ей не дано успеть,
кто-нибудь другой нас тогда спасет.
Кто-нибудь другой, кто всегда за нас,
нас отсюда вынет по одному.
У него все выйдет на этот раз.
Мы не будем больше мешать ему.
Мы не будем больше кричать: «Постой!
Нам и тут нормально! Мы сами, ну!»

Мир такой красивый, такой пустой.
Нейросеть ползет и ползет по дну.

* * *

В детском лагере для взрослых никакого распорядка:
хочешь — ешь варенье ночью, хочешь — пиво пей с утра,
заведи двенадцать кошек, в Дед Мороза верь украдкой,
прыгай в полдень через речку и кричи «Гип-гип-ура!»
Хочешь, выучи английский, стань начальником отдела,
а потом уйди с работы и иди смотреть кино.
Ничего тебе не скажут, что бы ты теперь ни сделал.
Потому что всем на свете абсолютно все равно.

* * *

Давай уедем в город Петербург.
Давай уедем в город Геленджик.
На юг, на север. Хоть куда-нибудь,
пожалуйста, давай уже уедем!
Мы будем жить в какой-нибудь глуши,
В провинции у моря, а вокруг
Не будет ничего: вода, вода...
Вот я уже тоскую по соседям.
В Москву, в Москву! Подальше от Москвы.
Милан? Нью-Йорк? Караганда? Чудесно!
Смотри, я собираю чемодан!
На свете существует столько стран
и городов. Но Боже, как же тесно.
Мир плотно оплетают провода,
невидимые облачные сети.
Мы их порвем однажды на рассвете
и наконец отправимся туда,
где шум шоссе сменяет шум прибоя
(впиши сюда название любое).
Давай уедем раз и навсегда.
И больше не возьмем себя с собою.

* * *

В битве добра с добром победила битва.
Бродят среди убитых адепты зла,
Шепчут свои неправильные молитвы
(Правильная кого-нибудь бы спасла).
Как им теперь прожить без чужих советов?
Кто им заглянет в паспорт или кровать?
В поле растет трава, прорастая к свету,
И никому не хочется воевать.

Александр ПЯТКОВ

РАССКАЗЫ

ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ...

Прадед мой, Даниил Михайлович, в конце жизни начал писать о войне. Бумаги эти не сохранились. После смерти прадеда о них долго не вспоминали, а когда хватились — ничего не нашли.

Даниил Михайлович был человек серьезный и молчаливый.

— И слова не скажет какого. Все молчком, — рассказывала бабушка. — Мы ведь к ним когда приехали, он, что ни день, молчит. Вот какой! Спросишь чего — рукой махнет. Свекровь-то мне говорит потом, мол, он и со мной так — ни слова не скажет. Я Олю в угол поставила когда, он пришел, посмотрел, да и рукой махнул. Вот какой.

От станции до прадедова дома они ехали на крестьянской подводе. Дорога лежала ровная и пыльная, почти степная, ни косогоров, ни оврагов. И везде, куда ни посмотри — зарастающие, необсеянные поля. Бабушка, сама крестьянка, и через пятьдесят лет после той поездки не переставала горевать и вздыхать об этом.

После смерти прадеда прабабушка перебралась из Ишутина в городок Мещовск, к одной из своих дочерей. Похоронили Клавдию Алексеевну в городе. Прадед же лежит на родном погосте.

В Ишутине я ни разу не бывал. Давно там не бывала и Анна Даниловна, единственная из многочисленных детей прадеда, кто еще был жив. Ей девяносто лет. На цветшей фотографии, которую бабушка привезла из той, теперь уже далекой поездки, Анна Даниловна стоит рядом с Даниилом Михайловичем. Полная, веселая, с растрепанной связочкой, должно быть, наспех сорванных ромашек.

В недавно пришедшем письме, она сказывала — так там и было написано «сказываю», — что сил идти в Ишутину поклониться родным косточкам и крестикам нету, а везти некому, да и не живет там никто. «Ну да простят меня, простят. Простит Бог», — приписала она в конце. И строго наказала — так там и было написано «строго наказываю» — следить за могилой дедушки, далеко, очень далеко лежащего от отца и матери.

Да и не живет там никто, повторяю я, перечитывая письмо Анны Даниловны. Бабушка говорит, что, когда приехали туда, деревня-то такая небольшая, совсем махонькая была. Ну, дворов двадцать, не больше. А сейчас там уж и не живет никто, наверно. Вот и Анька пишет...

Александр Сергеевич Пятков родился в 1993 году в городе Березовский Свердловской области. Живет и работает там же. Публиковался в журналах «Нева», «Урал», «Знамя», «Дружба народов» со стихами и рассказами. Принимал участие в мероприятиях, организованных АСПИР и Фондом СЭИП. Лонг-лист премии «Лицей» 2023 года.

Однажды, разбирая хлам, копившийся годами на балконе, я нашел большую картонную коробку.

— Это со свадьбы еще раритет, — усмехнулся отец.

Внутри коробки лежали пыльные, изъеденные игой пластинки. Поломанные и потрескавшиеся. Я долго их перебирал, рассматривал, читал незнакомые имена, названия песен и думал, смотря на годы записи: вот жил человек, пел. А потом умер. Прошло пятьдесят, шестьдесят лет, и канул он вместе со своими песнями, радостью, сочувствием, плачем в коробку из-под водки и пыльный балкон.

Была там пластинка Сергея Лемешева, и на одной стороне — «Выхожу один я на дорогу».

Вспомнилось, что в праздники во время застолья дедушка иногда запевал:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит...

Песню не подхватывали. Ее попросту никто не знал.

— Ну, забурчал, — начинала ругаться бабушка.

Наверное, странно и нелепо выглядело одиночное, неумелое пение нетрезвого человека. Дедушка песню бросал. Где он взял ее — я не знаю. Думается, что от отца — Даниила Михайловича.

И вот я представляю: выходит вечером на улицу прадед. Он выпивши, а точнее — выпимши. Садится на завалинку. Зелены в полях — и донник даже, и черныбыльник — выпрели. Воздух в округе парной, пахучий. Скотина целыми днями ходит по полям без пастухов. Мальчишки только иногда бегают проверить — не стряслось ли чего.

Вот пробежали двое. Крикнули, боязливые, серьезному и суровому деду Даниле:

— Здравствуй, деда Данила!

Даниил Михайлович сидит на завалинке, глядит по сторонам. Все ли ладно в деревне?

Потом вдруг запоем:

— Вы-хоо-жу один я на доо-роо-гу...

Прокашляется и продолжает:

— Скво-озь туу-ман, — прохрипит постоянно проваливающимся голосом, — крем-нис-той путь блестит...

Так он споем — кремнистой.

...Бывает, окажешься на каком-нибудь Богом забытом полустанке. Вечереет уже. Пройдет электричка, выбросит немногочисленных пассажиров. Один из них, не удержавшись, тут же закурит. Сядет на скамейку, достанет билет. Долго будет смотреть на него, словно не зная, что теперь с этим делать. Уберет обратно в карман. Докурив, опять достанет, поглядит. Скомкает и бросит на платформу. А ветер подберет и понесет, понесет куда-то...

Солнце медленно садится. А ты все сидишь на скамейке. Появится товарняк. Долго тянется цепь вагонов, обдавая одинокого человека на станции низким, приземистым, совсем без запаха, ветром. Внизу, за платформой, проедет кто-то на велосипеде, прошуршит шинами по слежавшейся, ссохшейся без дождей земле. Прошагает за полустанком старик — «умирающий», ищущий «хоть двадцать рубликов». Еще один товарняк покажется вдали. Погаснет невидимая тебе маковка церкви.

Состав зашумит, проходя мимо, и, сам себя не слыша, вдруг затянешь:

— Вы-хо-жу один я на до-роо-гу;

Скво-озь ту-ман крем-нис-тый путь блестит...

АВТОБУС ПРОХОДИТ ОБРАТНО

Днем старуха лежит на диване. Когда она встает, диван надрывно скрипит. На диване этом старуха, когда еще не была старухой, спала с мужем. После его смерти спала уже одна.

На диване, приезжая в отпуск, спал брат. Умер и он. Здесь же она баюкала внуков. Внуки выросли. Старуха, став старухой, стала спать в другой комнате на скрипучей и продавленной железной койке.

Старуха просыпается рано. Еще в темноте, когда не видно, как чернеют заснеженные гряды на огороде и ветер подметает крышу старой, давно нетопленной бани. Весь зимний, кажущийся долгим день старуха лежит, смотрит в окно, иногда задремывая. Ей и дел других больше нет, как лежать и смотреть в окно или садиться за стол пить молоко, мелко отщипывать хлеб и — смотреть в окно.

Проходит накатанной заснеженной дорогой автобус. Старуха поднимается, идет в другую комнату. Через порог одну ногу переставляет, другую, не в силах поднять, медленно переволакивает. Встает напротив комода, складывает руки на груди, подтягивает друг к другу. Запрокидывает голову.

Комод — резной, тяжелый, с массивными железными ручками. В ящиках — простыни и наволочки, ни разу не использованные, уже потерявшие свою белизну, носки, шершавые полотенца, платки, платочки; деревянные зубные щетки, баночка с зубным порошком; коробка цветных карандашей... На комоде — складное зеркало, иконы, лампадка. Над комодом на стене будто приклеенные к бумажным обоям часы.

Начинает смеркаться. Старуха встает с дивана, плетет маленькие шажки к столу, то и дело цепляя ногами края цветастых половиков. Садится на табуретку. Тянет из-под стола по хлебным крошкам калоши, надевает. Потом — сидит, пьет молоко из детской, с красными петушками, кружечки. Из нее когда-то пил молоко внук. Перебирает чайной ложечкой творог, давит, пальцем сбрасывает в тарелку. Тарелка маленькая, железная, с цветочками на ободке. Из нее когда-то ела творог внучка.

Проходит заснеженной дорогой автобус. Проходит обратно. Скрипят тормоза, взбрыкивает мотор. Старуха этого не слышит. Это мог бы услышать сосед, но он на работе.

Загорается на столбе фонарь. Раньше надо было ходить через дорогу, включать его. Теперь он загорается сам. Раньше у старухи была корова, свое молоко, свой творог, но надо было просыпаться в четыре утра. Теперь молоко и творог привозит сын. И не надо рано просыпаться. Старуха стала просыпаться позже, но за окном все равно темно.

Приезжает сосед — дом его напротив. Он выходит из машины, оглядывается. Открывает тяжелую дверь, заходит. Потом — идет, даже не переодевшись, на колонку. Гремят, бьются друг о друга цинковые ведра. Во дворе у старухи на стене дома висит коромысло. Но о нем она не вспоминает. Сосед идет, переваливаясь, обратно. Хлопает дверью.

Иногда проедет машина — вжик! И никого, ничего — до следующего автобуса.

Вот уже и совсем зимний, непроглядный, если бы не фонарь, вечер. А может, это окошко так заиндевело. Проходит автобус, скрипит тормозами. Старуха смотрит в окно. На столе — кружка с молоком. В тарелке пряник.

Скрипят, поскрипывают шаги по снегу. Кто-то подходит к окну, стучит, барабанит костяшками пальцев по стеклу. Мелко — как снег идет. Старуха вздрагивает, недоверчиво вглядывается, вглядывается... Вглядывается — это сын приехал. Она дожевыва-

ет кусочек пряника, запивает молоком и плетется открывать. Старуха зажигает свет, надевает телогрейку. Пальцы путаются в пуговках, старуха застегивает только две из них. Накидывает платок, кое-как наматывает шаль. Спускается по крыльцу. Стук. Стук. Стук. И — к двери, медленно, не пасть бы, перебирая калошами по двору.

— Чего так долго шаперишься? — спрашивает сын, заходя.

И уже в доме:

— Чего в темноте сидишь? Огня не зажигаешь...

Усы его заиндевели на морозе. Да и сам он, наверное, замерз.

— Фу ты, какая холодина! — говорит.

Старуха, не раздевшись, садится на диван.

Сын первым делом идет по воду. Потом выносит ведро из комнаты и ведро из-под умывальника. Старуха сидит, сложив руки на коленях.

Сын ставит чайник на плиту, раздевается. Старуха все сидит.

— Чего сидишь, не раздеваешься?

Она скидывает телогрейку, обрывая пуговицу. Шаль, платок. Калоши все-таки не снимает.

— Хороший? Ты хороший? — спрашивает.

— Хороший, хороший, — снисходительно улыбается сын.

— А мама хороший?

— И мама хороший! Здоровы все, — смеется он.

— Ой! Ой! Слава богу! — восклицает старуха. Радуюсь, складывает руки на груди. — А я думала!

— Вот тебе молоко. Вот творог. Вот пряники. Вот мать суп сварила, кушай, — выкладывает сын продукты на стол. — Подогреть супчику?

— Нет! Нет! — машет рукой старуха. — Нет. Не голодная. Не голодная.

— Давай подогрею.

— Нет! Нет! Не буду, — мотает она головой.

— Посмотри на себя! Кожа да кости остались! Совсем ничего не ешь! Помереть, что ли, хочешь?

— Нет! Нет!

Они долго спорят. В конце концов сын уходит за перегородку. Там у него кровать и стол. На столе какие-то бумаги. Весь вечер он проводит за этими бумагами и пьет, кружка за кружкой, чай. Старуха привычно сидит за столом, смотрит в окно, жует пряник. Жует мелко крошенный хлеб. Пьет молоко.

Проходит автобус. Старуха поднимается, подходит к сыну. Стоит, почти не двигаясь, смотрит на него. Молчит. Минуту, две, три...

— Ну чего стоишь над душой? — не выдерживает сын.

— Прости меня-я-я... — тянет старуха.

— Да ладно уж... Калоши-то сними, не ходи в них по дому.

— Прости-и-и меня-я-я... Прости-и-и...

— Калоши, говорю, иди снимай!

— Сниму. Сниму, — говорит она. Подходит совсем близко к сыну. Гладит по спине.

— Хороший, хороший, — говорит.

— Хороший, хороший, — посмеивается сын.

— Придешь? — спрашивает старуха.

— Приду, приду... Не мешай... Закончить надо.

Старуха садится на диван. Снимает калоши. Надевает теплые, мягкие, с ворсинками шерсти, тапочки. Ждет.

Потом сын открывает шкаф, достает оттуда фотографии. Их четыре большие стопки в полиэтиленовых пакетах. В шкафу, кроме фотографий, тетрадки с перепи-

санными стихами Есенина, тетрадки с песнями, тетрадки с заговорами, с молитвами, рецептами; церковные календари, иконки, молитвенники. И пыль.

Старуха с сыном сидят на диване и смотрят фотографии.

В одной стопке — армейские фотографии сына. В другой — фотографии с похорон. А есть еще стопка — там старуха, когда еще не была старухой. И коса у нее, такая коса...

Проезжает автобус. Через час проходит еще один.

Сын уходит на кухню и долго-долго заваривает чай.

А вот и последний автобус.

Вот он уже проехал обратно.

ПОМИНКИ

Старика Евгения Павловича мужики встретили в автобусе. От него и узнали, что умерла Вероника Геннадьевна.

Евгений Павлович зашел, можно сказать — ввалился в автобус. Прошамкал бурками по грязному полу, плюхнулся на сиденье. Мужики, стоявшие сзади, его сначала не признали. Мало ли таких вот, в подвернутых шапках, с бутылками, шастает по оттепели?

Автобус трясся, вздрагивал на разбитой дороге. Один из мужиков постоянно прикладывался к темной бутылке «Жигулевского» и никак не мог закончить рассказ о том, как на прошлой неделе «целую батарею прикончил» — то брался приклеивать постоянно отпадавшую желтую этикетку, то предлагал выпить своему товарищу. Но тот только отмахивался.

Автобус, объезжая речные низины, покачивался и скрипел, как трамвай. Темную реку иногда перерезал, едва достигая дороги, бледный отсвет фонарей из стоящих по берегу садов. Водитель ругался, клял темень, очередной потерянный субботний вечер и нагрянувшую вдруг оттепель. Из-за нее дороги днем превращались в кашу, но к вечеру подмерзало, и приходилось ехать чуть ли не по льду.

На одном из поворотов Евгений Павлович уронил открытую бутылку. Он наклонился и попытался ухватить дрожащими пальцами за сколотое горлышко. Тогда-то его и узнали мужики. Глаза его, всегда хмельного, слезились. Глаза его, всегда слезливого, хмелели.

— Что наделал? Ну что наделал? — закричала кондуктор. Подошла, подняла почти пустую бутылку.

— Я вытру давай! — невозмутимо бросил Евгений Павлович.

— Куда тебе, — ответила женщина. Хлопнула узкими степными глазами, потрогала ботинком образовавшуюся тягучую лужу и медленно пошла обратно.

— Мамаша! Мамаша! — хрипло, хмельно, слезливо выкрикнул старик — Мамаша!

Та оглянулась. Евгений Павлович достал из-за пазухи шоколадку в измятой, водянистой обертке.

— На!

Кондуктор спохватилась, вернула бутылку.

Евгений Павлович допил пенистые остатки. Обернулся, задумав положить стекляшку за соседнее сиденье, — тогда и увидел знакомых мужиков.

— О! Вы чего? — растопырил он руки, выбросив вперед пятерни пальцев. Бутылка опять упала, покатилась к дверям.

Старик поднялся и, переваливаясь, покачиваясь, будто был он не старик Евгений Павлович, а автобус, направился к мужикам. Проскреб истрепанными бурками по

полу, обхватил все поручни на пути, объятия воздушные свои разбросал, улыбку беззубую раскрыл, растопырил.

Поздоровались. Стоял старик покачиваясь, постоянно подгибая ноги, взмахивая рукой, как будто собирался опрокинуться.

— Выпей на, — протянул ему пиво Олег. — Откуда ты это?

— А... я от тещи.

— Как она?

— Да померла вот... Самая хорошая была баба!

— Как это?

— Да... сердце, говорят.

— Схоронили уже?

— Завтра...

— Обратно тебе ехать надо будет.

— Так да. Опять.

— Болела она, что ли?

— Вроде болела... Самая хорошая баба была, — ответил Евгений Павлович. Приложился к бутылке. Оступился на шаг, взмахнул призывно рукой. Мужики схватили его, не дали упасть.

Въехали в поселок. Навстречу шли снегоуборочные машины — гремели, скрежетали на всю округу, скребли по асфальту. На дорогу выпал темно-желтый от фонарей свет, покрасневшись на рябинах, забелел в сугробах, уходящих от света в темноту. Автобус остановился, прижался к обочине.

— Самая хорошая баба была! — повторил старик. Отдал пустую бутылку Олегу.

— Помянуть надо, — добавил и вытянул из кармана холодную, синего стекла чекушку. — Одали на помин вот.

Машины прошли. Мотор взбрыкнул, низко взревел. Поехали дальше.

Бутылка не открывалась. Суетливо, в спешке — скоро выходить — пытались руками, зубами сорвать крышку. Старик достал откуда-то ржавый перочинный нож, не хотевший раскрываться.

— Ножик вот завалился. Ха-ха.

Наконец открыли. Приложились по очереди.

— На запей, — протянул Олег старику пиво и еще раз хватил из чекушки.

— Да ты больше пей, — сказал старик.

— Да я же не напиваться... я помянуть.

— Нормально, хорошо давай помяни!

Олег хватил еще, передал чекушку своему молчаливому товарищу. Автобус наехал на кочку, бутылка ударила по зубам.

— На запей, — вернул Олегу пиво старик. — Ты тоже давай помяни хорошо, — сказал он другому. Потом добавил: — Самая хорошая баба была. Царство ей небесное, — и перекрестился.

— Во даешь, старик! Пьешь и крестишься! — удивился Олег.

— А чего мне? Я с утра у магазина потопчусь, кто и угостит. Одну маленькую, — сложил он щепотью пальцы, — и до вечера меня не видно, не слышно.

— Помирать-то не собрался?

— Мне ли помирать!

Товарищ Олега между тем достал из пакета еще бутылку пива. Открыл.

— Смори-ка, спряталась где, лисья морда! — обрадовался Евгений Павлович.

— Запить надо, — буркнул мужик.

— А что? Давай запьем.

— Чтоб не крепко было. Всем умирать, — произнес Олег.

Выпили.

— Останови, командир, на следующей! — прохрипел Евгений Павлович.

Уже в дверях на прощание, что ли, сказал:

— Самая баба хорошая была. Она, знаешь, что говорит, бывало: красоты, мол, не осталось совсем. А я ей: эх, Вероника, говорю, а имя-то, имя какое! Что ты!

— А сколько лет ей было?

— Самая хорошая баба была! — только и махнул рукой старик.

КАК БУДТО ЖИЗНЬ ПРОШЛА...

Помню, отец, ты рассказывал про мальчика на велосипеде. Мы тогда пошли на рыбалку, еще дядю Федю около нижней дамбы повстречали и спросили, куда он направляется. «Здравствуйте и до свидания», — ответил дядя Федя, подняв одну руку вверх. Он было и другую поднять хотел, но держал той литую, с темной, потрепавшейся деревянной ручкой косу. И ушанка, и старый залатанный пиджак, и брюки свои дубовые, и сапоги кирзовые были у него в пыли.

Ты, отец, всю дорогу рассказывал о том, что был такой мальчик — у нас и фотография есть, дома посмотри, — который катался на велосипеде по приречным полям, взбирался с угора на угор и зачем-то срывал ромашки. Мы шли — ты рассказывал. Мы раскладывали удочки, разматывали леску — ты рассказывал. Вот уже и поплавки красноголовые понесло по течению, над ямками, впадинками речными — ты все рассказывал. Ты, дорогой, милый отец, прежде так немногословно вспоминавший свое детство, разве что: «а мы в детстве то-то», «а мы в детстве так-то», «а мы сахар на хлеб крошили — вот хорошо было», «а мы картошку в чугушке варили, вот хорошо было», — теперь говорил и говорил.

Вот фотография: мальчик коротко стриженный, в пиджаке не по росту, в шортах, улыбается, показывает черно-белому фотографу зубы. Кепочка задвинута на затылок так же, как на другой фотографии на затылок задвинута фуражка пограничника. Но далеко еще до фуражки. Вот велосипед — тот рядом. «Кама» — написано на раме. Если приглядеться, можно и разобрать. Звоночек, катафоты красные, желтые. Все как положено. Хотя катафоты — это я придумал. У тебя еще не было их. А что было? Изолента на спицах — желтая, красная, синяя; обрезки телефонного провода — желтые, красные, синие...

Хотя, может, и это я придумал.

Для меня тот день на рыбалке стал далек. Что уж говорить о тех временах, в которых ты был мальчиком на велосипеде? Таких вчерашних, как будто жизнь прошла...

Солнце медленно опускалось за лес. Оно сядет — и станет темнеть, лес в сумерках заголубеет, тишина свалится на реку, поля, лес, поселок, церковь, белеющую где-то за рекой, — на нас. А ты все будешь рассказывать. Это я не забыл. И дядю Федю не забыл. Как его забыть?

Все детство я пробегал по улицам поселка в фуражке твоей пограничной, отец. В зеленой, с черным козырьком. А кокарда такая золотая, блестящая, с красной — рубиновой хочется сказать — звездой! Ребята, дружки мои, все просили дать поносить фуражку. Просил и дядя Федя. «Санька, когда фуражку дашь поносить?» — кричал он, завидев меня.

Уже старым, совсем старым помню я тебя, дядя Федя. Эх, пьешь ты все... То стекла пойдешь бить в доме. То начнешь бутылками в собак своих бросать — в маленьких колобочков, шариков, то и дело попадающих под машины. Чем же еще заняться,

когда жены нет, дети разъехались, хозяйства, кроме собак, никакого? Не картошку же садить круглый год? Только и пить, лежать на дремучем сеновале, курить, смотреть, как утром уходят пастись коровы. И как вечером возвращаются.

Скотину угоняли пастись за реку. Какие там были поля! — все донник да клевер, да не кипрей, не чертополох. Я ведь и сам сын своего отца, и у меня был велосипед — звоночек, катафоты красные, желтые. Все как положено. «Каскад» — написано на раме. Фотография почти новая, цветная. На этом велосипеде сорванец — видно же, что сорванец, вон коленка разбита, рот до ушей раскрыл, ну потеха. А катафоты, отец, я с твоего пыльно-красного «Урала» снял, на котором ты на покос ездил.

Полдень. Жаркий — хочется сказать: лиловый — день. Взобравшись на очередной угор, наконец-то вижу пасущееся неподалеку стадо. Коровы лежат — кто в воде, кто у берега, прижавшись к ивняку, втянувшись в его слабую тень. Взмахивают хвостами. А молодняк бегают, не успокоится никак. Глядят, удивляются на мир телята. Вот одинокого маленького человека увидел один и хочет, хочет побежать, подается вперед, не терпится ему посмотреть, кто это, что это. Косится на мать, а та — спит, что ли... Он уже срывается, но: «Гаврюшка (так тебя, эдак), куда, шальной!» — окликнет пастух. За ним и второй закричит: «Куда!» Пастухи сегодня отец и сын Самойловы. Оба худые, бородатые, с отеками от пьянства лицами. Почерневшие в июнь, в июль до того, что не разберешь, от солнца это или грязью они так обросли.

Ты, отец, как-то обмолвился, что Самойловы на самом-то деле плотники. Да еще такие, каких в округе нынче и не сыщешь. А почему коров они пасут теперь — ты не сказал. Рукой махнул только. «Нынче», — сказал ты. А сколько лет минуло с того «нынче» ...

Поднимаются коровы, мычат. Хочется сказать — трубят. Самойловы их вицами: «Куда! Куда!» Вот и телок провинившийся возвращается. И его пару раз вицей. Самойловы меня не очень жалуют. Это потому, что кручусь я, верчусь вокруг да около, еще и на велосипеде. «Беспокоишь только скотину», — это они мне так когда-то сказали.

Ну да ладно, пастухи выкупались уже, картошка скоро сварится, а пока полежать надо бы в теньке — жарко. А этот, на велосипеде, все стоит, смотрит... Чего высматривает? Поехал бы куда, что ли...

Ах, отец, а смотреть можно было долго! Так же, как долго длился этот полдень, палящий, знойный, парящий стайками стрижей, резко срывающихся вниз. И со всех сторон щебетание, стрекотание, гудение; и шмели, и стрекозы, и полевки, пробегающие по дороге, и воробьи, чистящие перышки в песке; следы от копыт на берегу и выгоревшая трава, еще не ломкая, но уже сухая; и пастушьи шалаши за каждым угором, осенью разбираемые ветром...

Ты же сам все это знаешь.

Вечером коровы возвращались без пастухов. Идут по дороге, мычат: где ты, хозяйка, хозяин, встречай меня. Машут хвостами.

Милка, Милка, Милка!

Марта, Марта, Марта!

Коровы и сами знают, куда идти. Хотя есть среди них такие бестолковые, что подаются на заречные огороды, за дамбу. Куда только не уходят.

Вечером дядя Федя лежит на сеновале. Лежит, курит. Покрикивает иногда.

Куда!

Я тебе сказал!

Здравствуйте и до свидания!

Эх, молодец!

Санька, когда фуражку дашь поносить?

Есть еще фотография, знаешь какая? Сейчас достану. Вот она. Там женщины в платках, платицах в горошек, в крапинку стоят на берегу. Раз, два, три, четыре. Одна даже половик в руках держит. Три тазика с бельем, две корзины плетеные. Залезшая на снимок обремененным, в щербинках и трещинках колесом тачка. Фотограф, наверное, стоит на мостке. Заводь маленькая, с черными — хочется сказать: гиблыми — оконцами воды. Здесь теперь неглубоко, но сильно заилено и заосочено. Торчат из воды рогозины. Это теперь. А ты, отец, рассказывал, что раньше совсем не то было, раньше...

Рассказывая про мальчика на велосипеде, ты, отец, и про мостки рассказал. Про то, что сгнили они, про то, как клали в тяжелые эмалированные тазики белье, ставили на тачку. Мыло, доску стиральную брали и — вниз к реке. Дорога пыльная, каменистая. Женщины идут, поют, смеются. На фотографии же — какие печальные, уставшие лица. Зазеваешься — уплывет простыня, простыночка только что стиранная. Вот уже и не видно.

«А теперь и плыть некуда», — сказал ты.

Корзины плетеные в чулане висят, где полушубчик Игоревый. «Игоря не помнишь, поди?» — спросил ты тогда, отец. Как не помню? Помню, отец, помню! Я ведь и Игоря помню, и Мишу, и Вадика, и плотника Сергея Петровича! Лейтенанта Хохлова только вот не помню. Он ведь до моего рождения умер. Это ведь он посадил вон те две рябины. Растил их. Не растил — рóстил! Ты, отец, что-то еще рассказывал про него. Не помнишь? Тогда я буду вспоминать.

Каждый год, в самое разжаркое время, приезжает к матери погостить лейтенант Хохлов. Не всегда он лейтенант, но в этом году такой вот: две звездочки на погонах.

— Женился хоть? — спрашивает мать.

— Нет, — отвечает лейтенант.

— А мы с бабами на скамейке сидим вечером, — продолжает она, — смотрим — Паша с женой выйдет на улицу, и целуются они! Вот завел бы себе жену, тоже бы цаловался.

Выпьет Хохлов с утра. Проснется вечером, слышит — мать на кухне что-то делает. Встать бы, пойти к ней. Потом подумает: чего тревожить? Лежит, в окно смотрит.

Сойдутся у дома дяди-Фединого мужики. Сидят на дровах. Тлеют огоньки папирос, как свет вечерний. Стоит тихий говор. Но вот вдалеке, как будто за рекой, зачнется песня. Ее подхватят. Неумело, пьяными голосами тянется она. То затихает, то нарастает. Хохлов смотрит на мужиков — те поутихли.

Сидят. Молчат.

И тоскливо на душе становится у лейтенанта. И я не могу даже представить о чем он думает, отец. О стране, в которой слагают заунывные песни, о бесконечных лесах, полях, дорогах? О всех необратимых, неохватываемых просторах, что не могут выдумать ничего лучше себя?

Нет.

Все не то.

Тянется душный вечер. Тянется песня. Уже как будто сама, будто ведут ее только трава и деревья. Там другая пойдет, третья... И нет этой муке конца, как и бесконечным проселкам, остывающим к ночи.

Замолчат за рекой.

Снова слышно на кухне мать. Тихо-тихо разговаривают мужики. А то засмеются — звонко, переливчато, кашляя от папиросного дыма. Он, невидимый в июльской темноте, уходит вверх.

Смотрит лейтенант в окно, и так ему хорошо, что чуть ли не плачет. И хочется, чтобы не кончалось все это и длилось, длилось, длилось...

ДО ВОКЗАЛА

1

К вечеру брат приехал. Махнул рукой, высунувшись из окна машины. Я мигом нацепил ботинки, даже не попытавшись их завязать, наверное даже о том не подумав, и толкнул плечом дверь, ведущую в сени. На секунду остановился, оглядывая лежащие на полатах мешки с мукой. Может быть, остановка эта была связана с тем, что я вспомнил о незавязанных шнурках, а может, и нет. Я толкнул плечом входную дверь, прыгнул с крыльца через все его три ступеньки. И вот оказался на улице.

— Ботинки завяжи! — прокричал Вова. Но теперь уже я махнул рукой.

Брат посадил меня на колени, мы куда-то поехали — в один какой-то июльский день какого-то счастливого лета. И сколько же было лет этому мальчику, которого я так хорошо помню? Наверное, лет шесть. Он еще даже в школу не ходил.

— А мы куда? — спросил я.

— А до вокзала, — ответил Вова и засмеялся, широко раскрыв рот.

— Что это у тебя черное во рту?

— Зубы, которых нет, — намеренно прокартавил брат, придержав во рту букву эр дольше нужного, и засмеялся еще сильнее.

Интереса к шоферскому делу я не проявлял, поэтому вскоре оказался на пассажирском сиденье и стал смотреть в окно. Оказывается, есть еще что-то в мире, кроме дома, гаража, поляны перед домом, колонки, леса на горе, огорода с картошкой, рябины на огороде...

Я любил все это. Дом за то, что это дом. Поляну за то, что брат, приезжая, всегда оставлял на ней угловатую и блестящую «Волгу». Летом мы собирали в лесу ягоды и иван-чай, осенью — грибы. А еще в лесу были лиственницы с мягкими, пушистыми, почти что снежными иголками. На колонке можно было набирать воду. Зимой колонка замерзала, стояла обледеневшая, и за водой ходили на дальний колодец. Картошку я любил есть с молоком. Молоко пить прямо из литровой банки. А рябину любили грачи и снегири.

Я крутил железную ручку стеклоподъемника. Стекло опускалось и поднималось. Поднималось и опускалось. Ветра становилось то больше, то меньше. То он врывался к нам. То едва наддувал. Если высунуть голову в окно, ну хоть немножко, то можно, наверное, и захлебнуться воздухом. Двери машины были чем-то обиты, это что-то было в дырах. Иногда в таких больших, что я мог даже засунуть туда руку. Прямо как в бардачок — открыть, пошарить, ничего не найти и снова щелкнуть крышкой.

— Что это? — спросил я про обивку.

— Кожзам! — выпалил брат и опять засмеялся. Я — тоже. Хотя не мог понять, что тут смешного и что это за такой кожзам. Вова, наверное, еще что-то говорил. Он все время что-то рассказывал. Жаль, не помню ничего.

В ту нашу поездку я так и не увидел города. Нет, конечно, раньше я видел город, но то был наш маленький город, куда мы часто приезжали. Вот он, совсем рядом. Оттуда в поселок ездят желтые и красные ЛИАЗы. Сзади у автобусов запасное колесо, словно приклеенное. Еще одно в салоне, на задней площадке. Мужики, когда заходят, всегда остаются там. Женщины садятся на большие, не очень мягкие, быстро нагревающиеся летом и оттого начинающие пахнуть чем-то сиденья. Видимо, тем самым кожзамом, про который говорил брат.

Ах, город моего детства, я тебя совсем забыл! Давно нет этих длинных, неповоротливых автобусов. Парк Победы, тенистый и заросший, перестроили: разбили до-

рожки, срубили множество деревьев. Снесли бревенчатые бараки, построенные еще немцами, эти обиталища плаксивых забудыг и их кричащих на всю улицу жен, ведущих нетрезвых мужей домой...

Теперь здесь новый, из кирпичей песочного цвета, детский сад и маленькая разноцветная школа. И только так и не застраиваемый пустырь, заросший крапивой, пижмой и иван-чаем, напоминает о барачных двориках с их спрятанными в зелени качелями, скамейками; половиками, висящими на трубах. Нет и магазина «Есаул», где сперва нужно было идти в кассу оплачивать покупку, потом возвращаться к продавцу, показывать чек — и лишь тогда можно было получить товар.

Я знал этот город, я исходил, кажется, весь его асфальт, все выбоины, ямы и колдобины видел. И от этого город казался каким-то ненастоящим. Настоящим был тот город, куда мы ехали — большой, почти Москва, по крайней мере, в моем воображении. Там был даже вокзал.

Тогда я его не увидел — потому что заснул. Но когда открыл глаза, удивился тому, что дом наш вот он — за окном.

— Сморил? — спрашивает брат. А я улыбаюсь.

После мы много раз ездили до вокзала. Я рос, а люди, которые выходили из поезда, как будто и не менялись. Громкие, шумливые, они уверенно шли по перрону, обвешанные сумками, рюкзаками, чемоданами, садились в машину и ехали к нам домой.

Больше всего мне нравились долгие вечерние разговоры, в которых я ничего не понимал. Чайник свистел. Мама, то ли в платье, похожем на халат, то ли в халате, похожем на платье, заваривала в фарфоровом чайнике черный, со смолянистым запахом, чай. Рассказывали, отвечали, спрашивали, спорили, стучали по столу, не слушали друг друга, слушали, перебивали, молчали. Потом включали старую радиолу. Помнится, что там то пустела земля, то две девчонки плыли и плыли куда-то.

Но все это заканчивалось, чай допивали, разговоры умолкали — вот и неделя прошла, вот и вторая, может. Гости, к которым я не успел привыкнуть, уезжали — до новых гостей.

До вокзала.

2

Вова был старше меня на четырнадцать лет. Он уже жил отдельно от нас — когда пришел из армии, почти сразу женился. Половину переулка пройти — вот и дом. Двухэтажный, деревянный дом, в котором жил брат. Скрипучие ступеньки, взвизгивающая дверь. Шестикрестие высоких окон. Зимой, за дорогой, там, где тянется труба теплотрассы, наметает высокие сугробы. За трубами — гаражи. Напротив дома — деревянные сараи.

В гаражах — пыль, хлам, промасленное тряпье, гаечные ключи, сломанные табуретки, рваные холщовые мешки...

В сараях — изрезанные верстаки, разбросанный всюду опил, лопаты с потрескавшимися ручками, рваные холщовые мешки, хлам, пыль...

Брат не работал. Так, шабашил иногда: колол дрова, разгружал вагоны, сторожил что-то. Раз даже устроился почтальоном. Родители уговаривали Вову стать милиционером:

— Да ты сиди там, бумажки пиши. И все, — говорила мама.

Уговаривали и друзья, служившие в милиции. Брат долго сопротивлялся, но все же уступил.

Через две недели он запил. Его прогнали со службы. Он вообще много и часто пил. После пьянок не шел к себе, а отлеживался у нас. Помню, как он появился среди ночи, потом пришла фельдшерица и при тусклом свете керосинки, которую зажгли, чтобы меня не разбудить, зашивала Вове бровь. Я все равно проснулся и слышал ахи, вздохи, движение нитки, кажется, даже слышал, как игла входит в кожу. Керосинка шипела. Скрипели половицы — это отец ходил по комнате, качал головой. Бросал, останавливаясь:

— Да... тяжелый случай.

Мама вздыхала и ахала. Фельдшерица молча выполняла свою работу. Молчал и Вова. Только иногда едва слышно что-то произносил, начинал шипеть, как лампа, когда плескали на рану йодом из маленького, темного стекла бутылка. Горлышко у него было немножко отбито, крышка едва держалась, поэтому каждый раз заматывали бутылек изолентой.

Два раза брат попадал в больницу. Может, и больше, но помню только эти два.

В первый раз — сидел внизу в приемном покое маленький мальчик на зеленой низкой и длинной, почти во всю стену, скамейке, ждал, когда вернется мама. Больных часто приходили навещать. Иногда они сами спускались. Мелькали шляпы, платья, пиджаки; белые халаты суетливых и спешащих медсестер. Дверь на пружине хлопала, люди входили, выходили, принося с улицы нежный пыльно-яблоневый запах. Было в нем что-то от сирени и коротких майских ливней.

Второй раз — это когда в больницу нас не пустили. «Карантин», — отвечала на все мамыны возражения полная санитарка. Складки на ее подбородке были похожи на ее же липовый нос. Вова сбросил в окно большой шуршащий пакет на веревочке. Он медленно, плавно планировал, качаясь в воздухе из стороны в сторону, и упал на траву рядом с машиной «скорой помощи». В пакет мы положили банку молока, предварительно обмотанную полотенцем, сигареты, еще что-то... Недалеко от здания стояли под деревянным навесом люди в белых халатах, курили и поглядывали по сторонам без особого интереса.

Я часто видел, как брата ругают за ту жизнь, которую он вел. Брат сидит на крылечке, молчит. Смотрит в сторону. Ругань затихает, ругатели расходятся, а он все сидит. Молчит. Вот сейчас встанет, посмотрит на меня, скривит улыбку и тихо уйдет.

Но всегда наступало лето. Июнь, июль... август, хотя ему не особо верили. Веяло от последнего летнего месяца затхлостью, пожухлые и опавшие листья виднелись все чаще. Совсем не то — темный, грозовой июль. Или июнь — картошку только окучили, гроз настоящих еще не бывало, все лето, вся жизнь впереди. Когда приходило время встречать гостей, мы снова ехали до вокзала. Тогда брату, кажется, все прощали. Ведь приезжали веселые, легкие, летние гости...

Прихода поезда мы ждали не на платформе и не в зале ожидания, а в бараке железнодорожников. В одном из стоящих напротив вокзала двухэтажном бревенчатом доме, на втором этаже, в светлой квартире, где окна постоянно запотевали, жил друг Вовы.

— Друг детства, — представлялся он и беззубо смеялся. — Добро пожаловать ко мне на Тверской!

Иногда Тверской становился то Бронной, то Ильинкой, то еще чем-то. Друг детства подводил меня к окну без крестовины и ручек — одно большое стекло, бог знает как держащееся в раме.

— Это вон Красная площадь, — показывал он на вытопанную поляну перед входом в здание вокзала.

— А это вон Мавзолей, — показывал он на дом, где жил начальник вокзала. — А вон и Ленин вышел.

Я помню этого маленького лысого человека. Казалось, он не шел, а катился, перекатывался — ощущение это возникало из-за большого живота, как будто старающегося вырваться из наглухо застегнутого пиджака.

Жена начальника вокзала — Надежда Константиновна, как ее окрестил Друг Детства, худая, с невероятно впалыми скулами, быстро, как трясогузка, семенила за мужем.

— И как она еще не умерла? — удивлялся Вова.

— Ничего, скоро помрет! — отвечал Друг Детства.

Иногда, когда начальник вокзала уходил, кто-нибудь из работников железной дороги оставлял цветы у дверей его каморки. Чаще всего это были одуванчики или ромашки, перевязанные промасленной травой. Бывало, и ее насыплют. Самые отчаянные срывали с привокзальных клумб розы и гвоздики. Однажды какой-то дурак даже разжег костер на лестничной площадке. Жильцы повыскакивали из квартир, под предводительством непонятно откуда появившегося Ленина затушили огонь. Хулигана побили и вытурили за пределы вокзала.

Само собой, у Друга Детства всегда находилось что выпить. Сидеть в квартире, слушать анекдоты, смотреть, как хозяин зачем-то колотит палкой по ковру на стене, надоедало. Я уходил на мост.

— Цветы возьми! — кричали мне.

— Зачем?

— У мавзолея положишь!

Мост начинался у вокзала и, пересекая железную дорогу, доходил вплоть до старого города, где стояли такие же, как у вокзала, деревянные дома. Их почти не было видно: все там тонуло в такой густой зелени, что было невозможно разглядеть даже окошки, светящиеся по вечерам. По мосту редко ходили. Почему — не знаю. Может, потому, что бетон ступенек крошился, а железо перил ржавело с каждым годом все больше.

Ступеньки крошились, перила ржавели. Несмотря на это, мост несколько не походил на старую развалину — бетонные опоры стояли крепко и прочно. Но люди шли в обход через пути.

Шли и смотрели на меня, что-то говорили — вроде «ты что там сидишь?» или «дай слазь!». Или проще всего: «дурачок». Я сидел, болтал ногами, свесив их вниз через ржавые решетки ограждений, и ничего не отвечал. Смотрел на поезда, на лица железнодорожников, на вокзал. Как я любил ходить по нему! Прислушиваться к гулкому эху шагов, скрипу дерева, ненароком повторяя чужие судьбы, задевая, обходя их. У здания вокзала были деревянные ступеньки. Перед ними — полянка с вытоптанной травой, клумбы, на которых чем ближе к августу, тем меньше оставалось цветов.

И приезжали гости — все такие же вечные, и я снова жил от и до — от и до вокзала.

3

Не было такого лета — дождливого или жаркого, — когда бы не было гостей, когда не приходилось бы ездить до вокзала. А потом — провожать. Идти за поездом, за удаляющимся окном и, конечно, поднимать руку — помаши! Помаши! А в окне люди смотрят, тоже машут, вот они нас уже и не видят, а рука все не опускается.

Гости приезжали, уезжали. Уезжали. Приезжали. Брата все так же ругали. Все так же прощали. Он так же покорно молчал.

Сына Вовы я не раз видел сидящим на качелях с кастрюлей в руках. Там была манная каша в бугорочках и комочках. На газете около качелей лежала неровно нарезанная буханка хлеба. Павлик нагибался, брал кусок и бросал его, именно — бросал, в ка-

стрилю. Ложку он зачем-то вытирал о штаны, а потом без тени сомнения засовывал в рот.

Днем Павлик катался на велосипеде по поселку. Вечером заходил к нам. Мама его кормила.

— Спасибо. Очень вкусно, — говорил каждый раз этот маленький, собиравшийся осенью идти в школу человек. Но оставаться отказывался.

— Я к папке, — говорил Павлик, насупившись. И ни разу не сказал «я к мамке».

Жену Вовы я редко видел — только когда она приходила за картошкой. Разговоров с невесткой мама избегала.

Вера нигде не работала и тоже много пила.

Она была маленькая, худенькая, с мышинным носиком и вербными, коротко стриженными волосами. Брови ее походили на полоски льняного жмыха, просыпавшегося на дорогу. Брат, думаю, не любил жену. Но они жили и не разводились. Жена брата, когда ее ругали, тоже молчала. Как будто хранили они какую-то тайну, которую можно постичь только ценой молчания.

Казалось, все будет идти, как повелось, несмотря ни на что. Будут приезжать гости, брата будут ругать, он будет молчать; Вера — ходить к нам за картошкой, а маленький Павлик каждое утро есть свою неумело сваренную на воде кашу.

Я рос, и мне все чаще не хотелось ездить до вокзала. «Надо гостей встретить, езжай давай», — твердила мама. Вот мы и ездили с Вовой.

Потом он разбил «Волгу».

К вечеру брат приехал.

— Поедешь? — сразу спросил он, зайдя в комнату.

— А куда?

— А до вокзала?

Я подумал, что Вова купил новую машину. Я каждый раз так думал. Но на поляне не было даже столь привычных, приминавших траву следов. Потом они сохли, трава желтела, а может, это сохла трава, а желтели следы. Мы пошли на остановку...

— Вот он и вокзал, — произнес судорожно на выдохе брат, когда мы доехали.

Это был летний вечер — простой, тихий и теплый. И было почему-то грустно в нем, особенно когда я смотрел на Вову. Ему, наверное, тоже было грустно, хотя лето еще не закончилось.

К Другу Детства мы не пошли — сели на скамейку перед цветочной клумбой и стали ждать. Объявили, что поезд опаздывает. Но когда он пришел, к нам никто не вышел. Мы ждали десять минут, двадцать, полчаса. Вова сходил в ларек, купил две бутылки лимонада, пачку сигарет.

— Пошли на твой мост, — предложил он.

Мост был все тот же, и видно с него было все то же. Брат открыл бутылки, и мы стояли на мосту — два человека — и пили дешевый лимонад. А сигареты так и остались в кармане. Потом пришел другой поезд, и Вова уехал.

Через несколько лет вокзал снесут и построят новый. И если я туда приеду, то не увижу моста — хотя бы по той причине, что его нет. И Вовы, и вечных гостей нет. И где он, старый начальник вокзала? И дом на Тверском пустует. Только и остается, что подойти к мужикам, стоящим около угловатой и блестящей «Волги», и сказать:

— Мужики, доведите меня до вокзала, я не знаю, где нынче вокзал.

РЯБИНОВЫЙ ДЕНЬ

Сосед рубил рябину. Звуки были совсем не похожи на привычный слуху плотницкий перестук топоров. Лезвие, видимо плохо наточенное, то и дело застревало в грубой коре дерева.

Сосед ругался, когда выдергивал топор, неизменно поминая в каждом ругательстве крейсер «Аврора». Где-то над домом каркала ворона — на каждый третий удар. А потом дерево затрещало и грянулось оземь.

Ворона отчаянно захлопала крыльями, снялась с крыши и полетела, беспрестанно крича на всю округу. Когда я посмотрел в окно, сосед уже обрубал ветки. Одним ударом, почти без замаха, торопливо отсекал все лишнее. И топтал, сам того не замечая, мелкие, невызревшие ягоды.

День этот я запомнил еще и потому, что мы с отцом тогда поехали на Черемшанку.

Он давно отвез маму в город и теперь ждал, когда я проснусь. Бабушка уже сготовила обед — толстые, с хрустящими поджаренными краями блины. Выставила на стол надоевшее утром молоко.

Мотоцикл «Урал», вымытый, неделю назад лишь наново выкрашенный, стоял на улице. Железо нагревалось, большой и неуклюжий «Урал» сиял. И сам походил на светлый и солнечный день. Отец, должно быть, без конца курил — он много курил тогда или, как говорила бабушка, «смолил». Пачки сигарет — красная «Прима», темно-синяя «Балканская звезда», коричневая «Тройка» прятались между дровами в поленище. Она закрывала всю стену гаража со стороны двора.

Мне и самому хотелось научиться курить. Однажды я подобрал еще дымящийся окурочек, затянулся и сразу же закашлялся. Этого я не ожидал. Мигом забежав в дом, припал к умывальнику, стал жадно пить, заглатывать воду — не было времени брать ковш, чтобы черпать из зеленой ребристой кадки.

На Черемшанку мы поехали сразу после обеда.

«Давай, мол, залазь», — улыбаясь, кивнул отец на коляску мотоцикла. Я рад был этому редкому теплу. Раньше отец иногда брал меня на руки, подбрасывал к потолку, крутил над собой. Я летал и смеялся, видел белый свет сверху, видел, как кошка Муська бежит вокруг, как смеется мама, и сам смеялся.

В синем, казавшемся тяжелым шлеме было неудобно смотреть по сторонам. Когда ехали по поселку, я еще вертел шеей, но в лесу бросил это дело и стал смотреть только на руки отца. Его молодые, сильные, в выступающих венах, руки уверенно держали руль и спокойно выжимали газ.

Не помню, как выехали из леса на дорогу, но ветер подул в лицо с такой силой, что я стал захлебываться воздухом. Отец разогнал мотоцикл, мы переехали на скорости ручей. На меня полетела вода. До сих пор помню это — кристаллики воды в желтом отсвете солнца, пахнущие бензином.

Остов дома, единственный оставшийся от деревни, почти непроглядный из-за разросшегося ивняка, мне бы и не заметить, если бы не отец. Рядом был колодец с черными, обугленными, в шелухе гари бревнами. В воде плавала лягушка.

Отец рассказал, что там дальше выгон, поля, которые засеивали, и столбы телеграфной линии.

— Давай посмотрим! Давай посмотрим! — кричал я.

— Потом. Потом когда-нибудь...

Река Черемшанка оказалась мелкой, узкой, с едва заметным течением.

— Ой, щука укусила, ой, окунь, — подпрыгивал отец, выходя из воды. На меня летели брызги, я смеялся и смотрел на него — большого, сильного, молодого.

Обратной дороги я не помню. Помню, отец грустил, хотя небо было беззаботно-облачным, солнце светило легко. Казалось, захочешь — пойдет дождь, захочешь — будет жара.

Наверное, отец жалел о Черемшанке, об этой умершей деревне, и думалось ему, что старый дом и колодец — все это временно, все это ненастоящее. Придут люди, починят дом, выкопают новый колодец и заживут старой жизнью.

Детское это воспоминание о поездке долго будет жить во мне. Когда-то потом, в осеннем безвременье, когда дожди уже закончатся, а снег еще не выпадет, я достану из чулана растоптанные отцовские сапоги и пойду на Черемшанку.

Тихо уже и спокойно в поселке: многие на зиму уехали в город. Воздух настолько хрупкий, что будто ломается, когда выпускаешь пар изо рта. Пар поднимается вверх и не тает, исчезая за гранью дыхания. Знакомые уже не кричат через дорогу «здорово!», а спокойно поднимают руку как приветствие не нам, но осени — «ну здравствуй, что ли». В лесу же совсем тихо, только сосны раскачиваются, потрескивая. А земля молчит.

Лес изъезжен. Везде ямы, колеи... Видно, лесовозы все идут и идут — то там вырубка, то здесь. Из-за этого я не всегда понимаю, куда идти. Но вот выхожу на вмерзшую в грязь осеннюю дорогу.

Вот и ручей.

Где-то там Черемшанка.

Полчаса, может, и час проброжу я около реки, продираясь через заросли низкого ивняка, но не смогу найти ни дом, ни колодец.

На обратном пути меня подберет лесовоз.

— Грибник, что ли? — спросит шофер и засмеется своей шутке.

Вот тогда-то я и вспомню стук топоров, каркающую ворону и жалкую, лежащую на земле рябину.

УТРОМ, ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ

В саду я живу до поздней осени. Давно собран урожай. Дни стоят глухие, приземистые, прорежаемые, разве что свистом вечерней электрички и далеким, но ясным гулом ползущих куда-то товарняков. Небо мыльное, недвижимое. Это уже после того, как закончились затяжные октябрьские дожди и отошло последнее осеннее тепло. Проходит день, другой, третий, неделя... И вот ветер гонит с востока сизую хмарь — день и ночь, день и ночь; ветер крепчает, треплет подвязанные кусты малины, сбивает еще оставшиеся на ней листья. Возвращаются дожди. Мелкие, надоедающие, день и ночь, день и ночь, без остановки, без прогляди. Съезжают из садов последние жители.

Уже и печи по утрам топить некому, дым больше не поднимается над крышами садовых домиков. Не к кому идти пить чай стакан за стаканом, листать старые книги, газеты, не ушедшие на растопку, разговаривать не пойми о чем. Все разъехались. В саду остаются только я да сторож, заросший бородой нелюдим, отчаянный пьяница. Все эти дождливые дни он пьет, а я смотрю в окно, топлю печь, считаю дни до снега и читаю — беспросветно, до одурения.

Просвистит вечерняя электричка. Пройдут один, другой товарняки — и тишина. Разве что застрекочет сидящая на яблоне сорока. Пробежит, уткнувшись глазами в землю, собака. Мокрая и грязная. Все разъехались, кормить ее некому. Она уже успе-

ла одичать: завидев меня, вышедшего под дождь, шарахается в сторону и убегает. Куда? Сама не ведает, лишь бы дальше, дальше. И все оглядывается.

Но вот на день-другой прекращается дождь. Повисает над округой свинцовая хмарь. Я уезжаю. Печь к утру совсем выстывает. Я закрываю дом, ухожу — и не успеваю оглянуться.

Проселок расплылся, разъехался в грязи и лужах. С окрестных полей тянет низкий сырой туман. Все, насколько хватает взгляда, затянуто белым маревом. Иногда на секунду, две, три дохнет чем-то далеким, забытым — как будто простыни постирали и развешали на улице посреди июня, только-только начавшегося.

Я еду в электричке, смотрю в мыльное, почти воздушное окно на промокший лес, осевшие поля, размытые дороги. И сады. Оставленные, пустые. В вагоне я один. Разве что зайдет на каком-нибудь забытом, похмельном полустанке пьянчужка. То ли в гости поехал он, то ли домой возвращается. Выйдет через пару-другую остановок.

— Пировал небось всю ночь, — скажет контролер ему, жалкому и безбилетному.

Эх, холодно, уже не завалиться ни под грушу, ни под куст смородиновый! На прощание пьянчужка подмигнет — мы, мол, и под сосной можем, нам все равно.

Не доезжая до города, выхожу. За дождевой дымкой он смутно виднеется в той стороне, куда уходят электрички. Полею я иду до небольшой, мутной от дождей реки. Дальше — несколько километров через негустой лес широкой, хорошо просматриваемой просекой. В конце ее, на косом пригорке, останавливаюсь. Это уже совсем рядом с городом. Ясно слышен доносящийся с дороги шум.

Здесь прибит к сосне деревянный крест. На нем выцветший фотографический овал. «Анастасия Федорова, — читаю я. — Похоронена в этом лесу». Фотография черно-белая. Волосы льняные. Я не знаю Анастасии Федоровой.

— Упокой, Господи, душу усопшей рабы Анастасии и всех православных христиан, — произношу и крещусь.

Под крестом врытая в землю автомобильная крышка и завядший, соломенный цветок...

В раннем, плохо помнящем себя детстве мы жили в саду до поздней осени. Дождливые позднеоктябрьские дни длились, дед ходил пить к сторожу, сторож ходил пить к нам. Потом мы уезжали. Сторож оставался.

Мы выходили из электрички и шли сюда — к этому прибитому к сосне кресту. Так продолжалось несколько лет. Потом дед умер. Я вырос и тоже стал жить в саду до поздней осени. И приходило к Анастасии Федоровой раз в год.

Что это за девушка и кем она приходилась деду, я не знал. Да и приходилась ли кем-либо? Не раз листая семейные фотоальбомы, я так и не нашел ее.

Такой же одинокий, только вот безымянный крест стоял раньше под насыпью бывшей железной дороги около Красногвардейской ТЭЦ. По этой дороге когда-то возили торф с ширококореченских болот. И все еще на ней можно разглядеть следы от шпал. Да и они сами, чуть ли не столетние, обросшие мхом, рассыпающиеся в труху от неосторожных прикосновений, валяются под осевшей насыпью.

Безымянный крест был обнесен невысокой железной оградкой. Потом она исчезла. Исчез и крест. Проходя по насыпи, я грущу об этой безымянной могиле.

Грущу я и об Анастасии Федоровой. За крестом овраги, поросшие мелкими кустами крушины, черемухи и шиповника, тянущимися с вырубок. В оврагах битый кирпич, щебенка, гнилые доски...

Но скоро зима. Все это укроет снегом. Засыплет дороги, засыплет и мои следы на этой еще влажной, размокшей, пахнущей дождем земле.

Никита МИТЮШКИН

МИНУВШИМ СЕЗОНАМ

I

Ничтожный прах —
Минувшие сезоны.
Осталось вкратце им
Воздать впотьмах
Эпилог. Вон — оный
Сказ о деградации.

II

Новый круг по Данте:
Пароход и эмигранты,
Держу пари, что и поддаты
Тогда запомнил эти даты.
Зараза,
Раз за разом —
Кичливо и праздно —
Поражала разум.

III

Этакая мистика (!),
Но вы сами посмотрите-ка:
Все стихи их, истинно,
Куда больше — беллетристика.
Все песни их что-то стелют нам,
Как ведущий из телика,
Хоть и проверена временем
Напускная истерика.
Почести
Мы по частям
Раздали тотчас же.
Так вышло,
Лишним
Будет искать причины,
Массовое чтиво,
Не дождавшись почина,
Еще в утробе почило.

Никита Владиславович Митюшкин родился в 2006 году в городе Саратове. В настоящий момент является студентом второго курса Саратовского техникума железнодорожного транспорта. Ранее в литературных журналах не публиковался. Живет в Саратове.

А я убежден — когда-нибудь
Над замерзшим каналом великой реки
Наши имена воссияют — и пусть,
Уже не благодаря морозам, а вопреки.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

Прошлое — миновало, мост до грядущего — не построен,
Поезд целого жанра официально завершает гастроль.
Провожающие — ушли, теперь на пустынном перроне
Остались начальник вокзала и мы с тобой по иронии.
Плывать, перед отправкой в путь было лично мне.
Авторитетов — нет. Есть лишь бывшее величие.
В депо темно. Железнодорожный нарратив.
Толкни меня любя (и осторожно) под локомотив.

ЛОО

Опять вижу сны:	У берега там стояли двое,
Снова будто на море я.	Наслаждаясь умеренной погодой моря.
Жаль, но каждый из них —	Уверенные были двое те
Бутафория.	В минувшем и грядущем дне.

МЕДНЫЙ ЯД

На дне стакана
Намедни утопил себя.
Мой медный яд —
Моя скрипучая дверца
К темному Солнцу.
За месяц до двадцать второго
Сочинены эти строки.
Вам кажется, что стих мой — тревога,
Напротив — он нечто благое,
Как янтарное море.

Медный яд мой, птице зоркой подобно,
Пролетая Неву, разводные мосты,
Петроград до пролетарского бунта,
Все сильнее уносил во сны.
В углу крохотной кухоньки
Я заметил:
Достоевский с моим корешем Пушкиным
Общались о русском менталитете.
Утонченно,
Вглядываясь так далеко, как мог,
У стекла оконного
Стоял Александр Блок.

НУ И ЧТО ЖЕ?

О, даю тебе слово, я был уничтожен!
Мое робкое Солнышко, ну и что же?
Не тревожся — волнующих строк лишних
Ты прочтешь, быть может, лишь в моей книжке.
Самого меня ты забудешь, как следствие, не вспомнишь ни о чем,
А я останусь в аскезе — непосредственно и всецело заключен.
Слагать про тебя одну да держать тропу в пустоту.
Пусть ностальгировать — табу, но я иного не могу.

РУССКОЕ ПОЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Где-то максимально далеко внутри
Неравнодушен наш шаткий мир,
Но все равно среди холодной темноты
Блуждаем безразлично мы а-ля медведи-шатуны.

Сам не ведая достоверно,
Что доведет до таверны,
Поэт в России живет, доколе
Живет экспериментов поле.

ВОРОНЫ

Город заснежен;
Слух режет
Трамвайный скрежет,
Да вороны что-то брешут.
По чем хрипло поете, вороны?
Отчего голоса доносятся в городе?
От холода ли, голода?
От глупости ли, совершенной смолоду?
Что вы брешете, черные птицы?
Отчего рыдают зеницы?

НЕТ ИДЕОЛОГИЙ

По природе своей — не циник,	Верю лишь в любовь и тех немногих:
Чужды мне лицемеров цели,	Нет тривиальных слов, нет идеологий.
И судьба не прислала ценник,	Победа придет. Блаженство в истоме
Потому продолжаю верить.	Ознаменует, что верный план — исполнен.

РАССКАЗЫ

НЕ ПЕРЕПЛУТЬ

Уилл звонит около часа ночи, перепугав меня чуть ли не до смерти. Я пару секунд смотрю на телефонную трубку, потом наконец-то беру. Уилл пыхтит и кричит, тараторит что-то невнятное. С ним всегда так. Мы не очень хорошо друг друга знаем, вживую виделись от силы раза три, да и то когда это было? В прошлой жизни, почти десять лет назад, когда он приезжал (крайне редко) проводить свою престарелую тетю в дом, в котором она нас с мужем приютила.

— Тетушка, — хрипит он в трубку. — Тетушка, — повторяет снова и снова, всхлипывает и дышит шумно. Я поначалу даже думаю, что он ошибся номером.

— Уильям, — зову я его спокойно, — выдохни и скажи нормально, что произошло.

— А ты не понимаешь?! Моя милая тетя... Она умерла.

Я молчу, сажусь на пол у тумбочки, на которой стоит телефон, смотрю на себя в зеркало и словно себя же спрашиваю:

— Он знает?

— Знает, — хмыкает Уилл. — А ты не хочешь выразить соболезнования?

— Соболезнующую. Тебе и твоему брату, — почти шепчу я.

— Приезжай завтра, нужно решить все насчет похорон, я не хочу привлекать лишних людей, могу доверять лишь вам. — Я собираюсь ответить ему, сказать, что я никуда не поеду, что я для их семьи, кажется, уже — дело давно минувших дней, но он, на прощание прокричав: — Адрес все тот же, — бросает трубку.

Я так и остаюсь сидеть на полу в прихожей у тумбочки, так и смотрю на себя в зеркало, так и вижу, как пять лет назад (подсознание подсказывает: «Почти шесть») эта самая «тетушка» стала причиной того, что я теперь дело давно минувших дней, что я, как бы мне ни хотелось забыть адрес ее дома, не могу этого сделать.

Я включаю по всей квартире свет — страшно. Прекрасно зная, какой была «тетушка» при жизни, можно и после смерти ожидать от нее всего чего угодно. Пока кофемашина гудит и рычит, я включаю компьютер, отправляю пару электронных писем и проговариваю себе под нос все дела, которые придется отложить на пару дней, я проговариваю все то, что предстоит сделать в Эдинбурге, потому что Уилл точно, совершенно точно скинет все дела и всю ответственность за похороны на нас.

Первый поезд из Лондона в Эдинбург отправляется в четыре утра, я стою на перроне уже в три пятнадцать, стараясь ни о чем не думать, стараясь просто дышать — ни больше ни меньше. Можно было бы уехать на машине, на автобусе, в конце концов, можно было бы улететь на самолете, но на поезде добираться дольше всего, почти семь часов. В поезде есть время морально приготовить себя к тому, что спустя пять

Дарья Владимировна Осолодкина родилась в 1995 году в г.Череповце. Окончила Череповецкий государственный университет, кафедру германской филологии и межкультурной коммуникации, направление — лингвистика. Бакалавр, лингвист-переводчик. Автор сборника рассказов «Напротив» (Екатеринбург: ООО «Издательские решения», 2022). Живет в Череповце.

лет перед глазами снова расцветет Эдинбург, где здания из темно-красного кирпича тянутся друг за другом бесконечными коридорами-стенами, где здания, мокрые от дождя, тянутся к тяжелому небу черными шпилями, блестящими крышами. Первый поезд из Лондона в Эдинбург отправляется в четыре утра, за мерным стуком колес остается сонный вокзал, сонный город, над которым медленно зреет рассвет, за мерным стуком колес остаются все за и против этой поездки.

В вагоне полно людей, за окном предрассветный синий выгорает в прозрачность подступающего утра, я смотрю на проносящийся мимо город, пригород, поля и леса, мелькающие деревушки, станции со знакомыми и не очень названиями. Я стараюсь не думать, но получается из рук вон плохо. Зачем я еду? Зачем снова наступаю на одни и те же грабли? Неужели Уиллу, кроме меня, некому было позвонить? Неужели придется снова заходить в тот дом? Неужели мы с ним, с тем, казалось бы, забытым чело-веком, не Уиллом, а его братом, снова встретимся со всеми нашими кошмарами, стра-хами, негодованиями, раздражениями? Зачем я еду? Чтобы отдать дань уважения той, которая явилась причиной огромного количества проблем? Нет или да? Ее больше нет, и червь жалостливости точит и точит изнутри. Она была стара, она была больна, а мы бросили ее тогда, уехали, вырвались из-под гнета ее недуга, тараканов, странного поведения. Уилл как-то сказал, что наши общие недостатки — излишняя доброта (ес-ли доброта может быть излишней) и жалостливость — и он, наверное, был абсолютно прав. Зачем я еду? Чтобы еще раз пройтись по второму этажу того старого дома, за-лезть на чердак? Чтобы вспомнить не плохое, но хорошее, что было в этом самом доме, в этом самом городе? Чтобы увидеть его, забытого ли? Определенно, да.

Эдинбург встречает дождливым полднем, ворчащим Уиллом на красном «форди-ке», который всю дорогу до дома рассказывает, как тете стало плохо пару дней на-зад, как он отвез ее в больницу («Впервые за всю свою жизнь проявил хоть какую-то заботу о ней», — думаю я про себя, смотря на него в зеркало заднего вида), как дол-гими часами сидел у ее постели (тут он даже всхлипывает), а потом ее не стало, и он весь извелся.

— Очень жаль, — проговариваю я. Я не знаю, как вести себя в таких ситуациях, я теряюсь в горе, особенно если оно больше чужое, чем мое, тем более если оно такое наигранное. Уилл сетует на погоду, сетует на свою жену, сетует на светофоры и на все на свете — в нем ничего не меняется.

В клумбах залитые, раскисшие цветы, потерявшие всю свою красоту. Уилл захо-дит в дом, в нем все так же пахнет еле заметно сладостью, ванилью, имбирем и гвозди-кой: у тети всегда на кухне в вазочке стояло печенье, мы покупали ей его в пекарне неподалеку каждый вечер, утром она пила чай в одиночестве на крыльце, пристроив вазочку между цветочными горшками на скамейке. Она развлекалась тем, что часа-ми могла наблюдать за прохожими и играющими соседскими ребятишками. Мы на-зывали ее дом пряничным домиком ведьмы, как в «Гензель и Гретель», мы сами тог-да были Гензелем и Гретель — детьми из глухой лесной чащи, которым нужны были помощь и поддержка, которым нужно было где-то осесть и набраться сил.

Я слышу его голос, доносящийся со второго этажа, я слышу звук его шагов. Еле ощутимо пахнет его горьковатым, «холодным» парфюмом — он у нас был один на двоих, на мне он «выгорал» теплыми цветочными нотами и сандалом, а на нем ка-зался прохладным и терпким. Он говорит по телефону, ходит кругами по комнате, то и дело подтягивая за собой телефонный провод. Я стою в дверях, поставив свою не-большую сумку на пол, наблюдаю, как он машет свободной от трубки рукой, объяс-няет кому-то по телефону, что кремация ему нужна уже завтра, так, словно человек стоит прямо перед ним. Он встает напротив окна, опускает голову и левую руку пря-чет в кармане джинсов. Он пару секунд молчит, а потом говорит: «Отлично, спаси-

бо!», кладет трубку и резко разворачивается, натывается на меня взглядом и пару раз моргает. Я вроде как виновато улыбаюсь:

— Привет.

Он кивает.

— Надо же, ты теперь похож на зрителя заброшенного маяка, еще бы шапку такую, знаешь, темно-синюю и куда-нибудь в Кельтское море, — я киваю на его бороду, а потом смотрю на свои ноги, руки и сумку на полу, лишь бы не смотреть на него.

— Я куплю, — шепчет он вдруг.

— Что? — я снова смотрю на него, он улыбается.

— Темно-синюю шапку я обязательно куплю. — Я смеюсь, а он ставит телефон на спинку дивана, перешагивает провод и берет мою сумку. — Второй этаж наш... снова. Я тебе все приготовил в спальне, сам займу гостиную, о'кей?

— Как скажешь. Ты как? — спрашиваю я, когда мы заходим в спальню, он устраивает сумку на комод и пожимает плечами:

— В данной ситуации или вообще?

— В данной, — киваю я. — И вообще.

Он улыбается и молчит, а потом выдает:

— Я не знаю... Как-то неопределенно, вроде что-то и чувствую, а что это такое, понять не могу. А ты?

— И я не знаю.

— Вирджиния, жена моего дорогого брата, — он говорит это, стараясь подражать манере Уилла, — испекла тех самых печеньец, как тетюшка любила...

— Он называет это «печеньеца»? — Он важно кивает.

— К чаю, а еще у нас практически традиционный британский завтрак, потому что Уилл обожает всю эту белиберду типа чая с молоком, бекона с золотистой корочкой. Мне кажется, он женился на Джинни, только чтобы держать ее за кухарку и не платить при этом.

— Что ты знаешь о любви... к традиционному завтраку?! — смеюсь я.

Уилл и Вирджиния заняли первый этаж. Когда мы спустились, Уилл разливал по чашкам чай, а его жена стояла у плиты. С Джинни мы не были знакомы, она оказалась невысокой брюнеткой с большими темными глазами, она говорила спокойно, спокойно же перебивала Уилла, положив руку на его руку, когда его начинало заносить. Мне вообще показалось удивительным, что такая милая женщина вышла замуж за такого зануду, который все время кряхтит, что-то бубнит себе под нос и к тому же вечно всем недоволен.

Джинни спрашивает мужа, позвонил ли он остальным родственникам.

— Конечно, нет, — закатывает глаза Уилл. — У тети, кроме нас, никого не было.

— А ваши родители не приедут? — спрашиваю я, Уилл только отмахивается:

— Я не стал их тревожить, сказал, что все возьму на себя.

— Зато я их потревожил, а еще дядю и соседку из дома напротив, с которой тетя общалась. Родители не смогут приехать: непогода, дорога долгая, тем более платная трасса на ремонте, а с пересадками на поезде — это не для них, а дядя приедет завтра к полудню...

— Только не говори, что с ним приедут еще и его дети, — раздраженно стучит кончиком вилки по столу Уилл.

— Может, и приедут, я не знаю, я пригласил их всех. Соседка придет утром, мы возьмем ее с собой в крематорий.

Уилл на это цокает языком:

— Ну кто тебя просил!?

— Я решил, что все нужно сделать по-человечески. Я нашел записную книжку, кстати, там еще пара номеров и пара имен, можно и им позвонить, оповестить, пригласить.

— Ты хочешь, чтобы в дом набились куча народу?

— Перестань, — говорю я. — То, что он говорит, действительно правильно, нужно дать людям возможность попрощаться с ней, а ей — попрощаться со знакомыми и родственниками.

— Ах, ну да, ты же всегда на его стороне. — Джинни пинает Уилла под столом ногой и смотрит многозначительно, тот немного успокаивается.

— Разделим обязанности, — предлагает несостоявшийся смотритель заброшенного маяка. — Мы, — он указывает на себя и меня, — обзваниваем оставшихся знакомых из записной книжки, а потом едем в крематорий, чтобы приготовить и купить все для завтра, Джинни будет готовить, а на подмогу ей ты, Уилл и соседка, она говорила, что поможет. Думаю, гостей человек десять точно наберется.

— А почему не арендовать ресторан? Кафе? Зачем тащить всех домой? — Уилл скидывает грязные тарелки в раковину.

— Ты можешь, конечно, поискать ресторан или кафе, но сегодня пятница, завтра — выходной, день, когда все планируют дни рождения, свадьбы и поминки тоже, тем более мы с Джинни обсуждали этот вопрос.

Вирджиния кивает:

— Мне будет только в радость.

— Я могу поехать с тобой в крематорий, — предлагает Уилл, перспектива топтаться на кухне его явно не прельщает.

— Нет-нет, — говорю я. — Мне нужно на кладбище, когда еще туда попаду, чтобы навестить деда?

— Завтра и попадешь, — ворчит Уилл.

Я качаю головой:

— Завтра явно будет не до этого.

Мы уходим на второй этаж подальше от зануды Уилла, слышно, как он гремит тарелками в раковине, продолжает причитать.

— Как долбаный полтергейст, — вздыхает он, снимая телефонную трубку и открывая старую записную книжку.

Гостей набирается, как он и говорил, без нас — десять человек, уходя из дома, мы говорим об этом Вирджинии, которая составляет список покупок. На улице продолжает лить дождь, пока мы бежим до машины без зонта, куртки промокают насквозь. Из Старого Города до крематория по пустым дорогам полтора часа езды, но город стоит, собственно, как и выезд в пригород. Мы заперты под дождем в машине с шипящим радио и тяжелой тишиной, я даже думаю, смотря сквозь залитое окно, пусть бы ехал Уилл, можно было бы остаться с Джинни, дойти до магазина и пусть даже промокнуть до нитки и замерзнуть, пусть тащить тяжелые пакеты, но хоть на душе не скребли бы кошки. Он молчит, сосредоточенно наблюдает за дворниками, отстукивает по рулю ритм песни по радио. Каждые выходные мы сбегали за город, садились на автобус или добирались на метро, а потом гуляли и гуляли, навещали моего деда на кладбище, а потом через поле спускались в деревню, где до самого заката сидели в одном пабе и болтали. Домой не хотелось совершенно.

Мы трогаемся с места, наконец выезжаем на трассу. Он молчит, молчу и я. Дома было как-то проще, был тот же Уилл, с которым препираться — развлечение, была Джинни, а один на один в замкнутом пространстве тяжело. Я не знаю, что сказать, он, вероятно, тоже, раньше с нами такого не было, раньше мы бы и представить себе не смогли, что расстанемся на такой долгий срок.

— Я нашел у нее в комнате нашу фотографию, стоит прямо на прикроватной тумбочке, прислоненная ко всем этим ее фигуркам, помнишь, она собирала всяких девочек и мальчиков с цветами из фарфора и стекла?

— Помню.

— А фото... В общем, фото с нашей свадьбы.

— Единственное и неповторимое. А мы думали, что потеряли его, — хмыкаю я.

— Все тогда обыскали, — вздыхает он. — Уилл еще нашел коробку под кроватью с нашими вещами: пластинка, помнишь, дед тебе подарил, твой серебряный браслет, мой свитер, любимый в полоску — в общем, все то, что благополучно и не очень благополучно пропадало у нас, все то, что мы искали, все то, из-за чего иногда ссорились.

— Ну мы же знали, что она ходит к нам, пока нас нет дома.

Он кивает:

— А еще ночами стучит по батареям, орет, истерит, периодически вызывает полицию, если вдруг ей покажется, что мы решили ее отравить или задушить.

— Она была больна. Твои родители же и попросили нас пожить у нее, присмотреть за ней.

— Помучить нас, — фыркает он.

— Ну пришлось совмещать приятное с полезным, — пожимаю я плечами, он улыбается.

Мы паркуемся у часовни — белые стены, острые и холодные, с высокими стрельчатыми окнами, из окон льется мягкий золотой свет, подрагивает пламя свечей с подсвечников на подоконниках. Часовня и чуть поодаль здание крематория с колумбарием — часть старого кладбища, где могилы жмутся друг к другу мокрыми покошенными плитами. Мы добегая до здания крематория под одним зонтом, найденным в бардачке, нас встречает молодая девушка, составляющая букет из живых цветов. Словно мы не в крематорий пришли, а в цветочный магазин. Девушка ставит цветы в массивную вазу, садится за стол и открывает одну из толстых папок.

— Документы у вас не все, так? — Он кивает, я киваю тоже, хотя вообще без понятия, что у нас с собой есть, а чего нет. — Завтра сможете привезти недостающие? — спрашивает она, достает из папки какие-то бланки, подает ему, он отдает ей файл с документами. — Можно было и копии, — улыбается она, он ничего не отвечает, заполняет бумаги. — На завтра время есть только на половину пятого, самое последнее. Если вы повезете вашу родственницу из больницы Святой Марии, то с документами проблем не возникнет — они все делают вовремя, перед панихидой сможете их принести мне.

Он отдает ей заполненные бланки. Она снимает копии со всех документов, ставит какие-то печати:

— Что касается необходимых вещей для кремации...

— Все, что необходимо, на ваше усмотрение. — Девушка кивает, записывает что-то в одном из заполненных им бланков.

Мы проводим там чуть больше получаса со всеми бумагами, оплатой и прочим, а потом спускаемся к могиле моего деда. По выложенной камнем дорожке течет дождевая вода, земля мягкая, и мы еле пробираемся к нужной надгробной плите.

— Сеанс психотерапии объявляют открытым, — шепчет он, я улыбаюсь. Мы приходили к деду, чтобы рассказать о своих бедах и переживаниях, пожаловаться на жизнь, на тетку-ведьму из пряничного домика, а сегодня вроде бы и сказать нечего. — Я помню, как вы каждую неделю ходили на мой спектакль в эдинбургском театре. — Я киваю, и как-то сами собой на глаза наворачиваются слезы. — Мы так ждали его на нашей свадьбе, созванивались же с утра, а он умер в тот самый момент, когда мы выходили из церкви.

— Так бывает, — шепчу я. — С некоторыми людьми случается так, что они умирают в день рождения одного из родственников, кто-то умирает в чей-то день свадьбы, чтобы точно не забыли, чтобы вспомнили.

Дождь усиливается, мы возвращаемся к машине, снова включаем радио и выезжаем на трассу, а на подъезде к дому, встав на светофоре, он говорит: «С годовщиной нашей свадьбы» — и из внутреннего кармана куртки достает пухлую пачку писем, накопившуюся за пять лет: «Никак не решался отправить, но раз уж мы здесь с тобой вдвоем, только вдвоем, без тех людей, которые, возможно, есть в нашей новой жизни, то как-то так». Я забираю у него письма, а потом из рюкзака достаю пачку открыток, перевязанных лентой: «Я не знаю, собираешь ли ты их еще или нет, но каждый раз, когда мне на глаза попадались интересные экземпляры, невозможно было пройти мимо. Они не пустые». Сзади сигналят, мы трогаемся с места.

Дома все кипит в прямом и переносном смысле этого слова, с кухни на первом этаже доносятся голоса Вирджинии и соседки, а еще ворчание Уилла. Мы присоединяемся к ним и до самого вечера пропадаем в готовке, препирательствах с Уиллом и историях, которые рассказывает наша соседка, присевшая на кресло в уголке у окна. Ближе к ночи мы провожаем ее домой, потом идем на свой второй этаж и разбредаемся по комнатам.

В спальне все осталось по-прежнему: два скрытых мутным тюлем окна, между ними — кресло, кровать у стены, комод с висящим над ним зеркалом, прикроватная тумбочка с высоким торшером на ней. Я достаю письма, они не давали покоя весь вечер. Слышно, как он все еще ходит по гостиной, слышно, как переговариваются Джинни и Уилл внизу, как разбивается о карнизы и оконные стекла дождевая вода.

«Дорогое сердце...» — так начинается каждое письмо. Раньше он всегда так меня называл, раньше он вообще много чего делал: пел в ванной, пока его тетка не начинала стучать клюшкой по потолку или батарее, придумывал истории про лучшую жизнь — однажды мы решили, что обязательно купим себе виллу в Италии, даже нарисовали ее во всех подробностях, правда, рисунок потом пропал, но, по крайней мере, сейчас мы знаем, что он может быть в коробке из-под кровати, которую нашел Уилл. Обо всем серьезном раньше он говорил исключительно шепотом, он читал вслух с чувством и с толком, а еще мог подойти вплотную, прижаться своей теплой щекой к моей и долго-долго так стоять и молчать. Я касаюсь рукой щеки. Удивительно, всего этого словно и не было в моей памяти, пока не возникло перед глазами «дорогое сердце», пока не возник перед глазами его почерк — крючки и петли, неровные строчки. Время — страшная вещь: тот, кто хочет что-то забыть, никак не может этого сделать даже спустя много лет, а тот, кто, наоборот, забывать ничего не хочет, хочет помнить как можно больше, постепенно утрачивает воспоминания и детали, которые раньше казались такими важными, хоть и вроде бы обычными. Я до рассвета читаю его письма, он тоже не спит — через щель под дверью видно, что у него все еще горит свет.

— Это будет очень долгий день, — говорит он вместо «доброго утра», когда я выхожу из спальни. Он прячет открытки в свою сумку с вещами, недолго смотрит в окно, а потом мы вместе спускаемся вниз.

Ближе к одиннадцати часам приезжает дядя (Уилл, увидев, что тот выходит из кеба один, говорит: «Слава богу», Вирджиния больно тычет его в бок локтем), телефон звонит беспрестанно: из-за погоды все те, кто вчера согласился прийти на похороны, сообщают, что не придут.

— Слава богу, — снова говорит Уилл, я наступаю ему на ногу. — Хватит меня избивать! — почти визжит он, а потом начинает ворчать по поводу того, что мы много вчера приготовили, много купили, зря только потратили силы, время и деньги, Джинни начинает с ним спорить.

Из больницы мы отправляемся в крематорий, с гробом едем вчетвером: я, смотритель маяка, Джинни и соседка, Уилл с дядей едет за нами на своем раритетном «фор-

дике». Отстаиваем панихиду, получаем урну с прахом, которую пристраиваем в колумбарии, и возвращаемся домой под дождем. Кремация переносится проще, чем традиционные похороны: нет всех этих процессий, нет опускания гроба в могилу. Когда хоронили деда, похороны были очень тяжелыми. Я все еще слышу, когда вспоминаю их, как защелкиваются замки гроба, как на крышку падает с лопаты земля, глухо, страшно. Я повожу плечами, смотритель маяка, теперь это приклеится к нему надолго, поворачивается ко мне и долго смотрит своими огромными голубыми глазами. Я мотаю головой, вроде как все хорошо. Сегодня проще: попрощались, постояли, пождали, получили урну с прахом, поставили на свое место в колумбарии и разошлись. Сегодня проще, потому что никакой особенной привязанности к тете никто из нас не чувствовал и не чувствует, разве что жалость: она всю жизнь была не от мира сего, а к старости все стало совсем плохо. Разве что жалость к самим себе — не выдержавшим ее болезнь, не абстрагировавшимся от нее. От нее, да и друг от друга сбежавших.

Дядя уезжает после ужина, говорит, что успеет на последний поезд — он боится, что город затопит и он не сможет выбраться отсюда. Уилл снова говорит свое: «Слава богу!», когда дядя садится в кеб.

— А вот теперь мы серьезно поговорим, — Уилл садится за стол на кухне, словно какой-то важный министр, и ждет, пока мы сделаем то же самое. — Тетя не оставила завещания, а это значит, что мы как ближайшие ее родственники получаем этот дом по закону.

— Подожди, вы — племянники, тем более вообще двоюродные, разве нет кого-то ближе? Мне кажется, ваша мама и ваш дядя в очереди на наследство будут стоять перед вами, — говорю я.

Уилл закатывает глаза:

— Мы ее ближайшие родственники. С родителями я уже все обсудил, они как жили в Фулборне, так там и останутся, им здесь дом ни к чему. Дядя прекрасно живет себе в Девоне, юг все-таки, красота, с ним я тоже все обговорил.

— И он просто так уступил тебе дом? Дом в Старом Городе Эдинбурга, в центре? Как-то это, знаешь... — подает голос смотритель маяка и скрещивает руки на груди.

— Если я сказал, что я все решил, значит, я все решил, — стучит пальцами по столешнице Уилл. — Остаются вы, — он кивает на нас. — У вас сейчас денег много, вы живете в Лондоне, зачем вам дом в Эдинбурге?

— Я вообще к этому дому и к завещанию, которого нет, никакого отношения не имею, — пожимаю я плечами.

— Имеешь, потому что вы с моим братом все еще женаты.

— А я думала, вы в разводе, просто в хороших отношениях, — бормочет Джинни, я мотаю головой.

— Ну так что? — выдыхает Уилл, мы молчим. — Нам надо решить все сейчас.

— Забавно, что родители не сказали мне об этом вашем разговоре, — говорит он.

— Они предположили, что тебе этот дом будет не нужен. А теперь ты мне скажи: нужен или нет?

— Нет, не нужен, — качает он головой.

— Замечательно, тогда вам нужно будет подписать отказ через полгода, хорошо?

— Ладно, — кивает он.

— А когда вы уезжаете? — продолжает тараторить Уилл.

— Не наглей вконец, — смеюсь я. — Точно не сегодня.

Мы поднимаемся на второй этаж, он садится на спинку дивана, я в кресло у окна.

— Чертов жучара, а я думаю, чего он никому не звонит, не сообщает о смерти тети, а он дом решил оккупировать в обход всех, — фыркает он, а потом улыбается: — Вмesto ведьмы в прыничном доме теперь будет жить упырь.

— Да, все-таки удивительно, вы — родные братья, а не похожи по всем фронтам, — говорю я, смотря, как на улице мерно помаргивают фонари.

— И это радует, — шепчет он. — Ты уезжаешь завтра?

Я киваю:

— В понедельник у нас запись на радио.

— Можем ехать вместе, все лучше, чем на поезде.

— Спасибо, — я встаю с кресла и собираюсь идти в спальню, но останавливаюсь рядом с ним. — Если честно, не могу смотреть фильмы с тобой, в «Глобус» тоже ходить не могу. Родители вот ходят постоянно, потом звонят, рассказывают, как ты там, а я не могу.

Он улыбается:

— Не переживай, это взаимно. У меня есть оба альбома твоей группы, но слушать я их не могу.

Я выдыхаю:

— Ну ладно. Как-то даже полегчало.

— Спокойной ночи, — выдыхает он.

— Спокойной, — я закрываюсь в спальне, спать не могу: слушаю дождь, слушаю, как в ванной бежит вода, как ворчит внизу Уилл — в доме невероятная слышимость. Я все никак не могу вспомнить, что происходило все эти пять лет: я прекрасно помню работу в редакции после универа: нас было всего трое, потом стало больше, мы занимались обзорами музыкальных альбомов, брали интервью у музыкантов, ходили на концерты, базировались недалеко от самого большого музыкального магазина в городе, где можно было играть на инструментах, а вечерами там проходили акустические сессии малоизвестных групп и исполнителей, а еще висела доска объявлений, на которой все время болтались бумажки, написанные от руки: искали барабанщиков, клавишников, гитаристов и вокалистов, обменивали одни гитары на другие, продавали инструменты, приглашали на концерты. Работа в редакции приносила радость, в выходные было репетиторство — английский и литература, ученики приходили все в ту же редакцию, потому что дома было невозможно заниматься. Он же начал играть в театре, темном, мрачном, там всегда был приглушенный свет, всегда полные залы, негласный дресс-код: приходи в темном под стать зданию и атмосфере. Он был Горацио, его первая серьезная роль, мы как раз ходили смотреть на него каждую неделю с дедом, потом наравне с «Гамлетом» были «Внесите тела», и «Алхимик», и «Комедия ошибок», и «Два веронца». Редакция, театр, репетиторство, бдения по городу, походы в тот особенный паб по выходным уже после смерти деда, возвращение домой, где мы прятались на чердаке и разговаривали шепотом до глубокой ночи в темноте, прячась от ведьмы, которая, думая, что нас нет дома, поднималась к нам на второй этаж, включала везде свет, ходила по квартире часами и разговаривала сама с собой. Сейчас плохое не вспоминается, не вспоминается напряжение, не вспоминается нежелание идти домой, видеть ее, ее болезнь. Жизнь с больным человеком бок о бок ни к чему хорошему не приводит. В перерывах между работой мы мчали домой, чтобы проверить, как она там, накормить, проверить, чтобы она выпила свои лекарства, и если удавалась напоить ее таблетками без истерик и обвинений в том, что мы якобы хотим ее отравить, значит, день проходил нормально. Уилл не приезжал совсем, если ему только что-то нужно было. И сейчас, много лет спустя, я думаю, что это было несправедливо по отношению к нам, таким слишком добрым и жалостливым, как сказал Уилл однажды. Ни он, ни их родители ни разу нас не подменили, не пожалели, не помогли нам. Мы были с тетей один на один, спасаясь работой, разговорами на чердаке шепотом. Мы постоянно прислушивались, как она там, внизу, когда сидит и смотрит телевизор на втором этаже, когда думает, что нас нет дома.

И как бы нам ни хотелось остаться подольше за городом, подольше погулять после спектакля или концерта, мы бежали домой, чтобы отпустить соседку, которая соглашалась посидеть с тетей иногда, чтобы проверить, все ли хорошо. Мы, как Гензель и Гретель, ходили по дремучему лесу кругами и каждый раз выходили к одному и тому же страшному проклятому дому. Потом ему предложили роль в фильме, большую, главную, а мне на глаза попало объявление у музыкального магазина, написанное моим бывшим однокурсником, его группа искала того, кто будет писать тексты песен и играть на гитаре — текстов у меня накопилось много, инструмент, подаренная дедом гитара, на которой удавалось поиграть в редакции, потому что дома это делать было невозможно, тоже был. Мы долго разговаривали, взвешивали все за и против, переругались с Уиллом и их родителями, потому что они считали, что мы нагло и эгоистично бросаем больную тетю ради каких-то призрачных планов и абсолютной ерунды. Мы долго разговаривали, а потом решили, что нужно наконец сделать что-то и для себя, ведь иначе можно заскорузнуть в этом городе, в театре, играя Горацио, в редакции, которая держится на добром слове. Он позвонил своему агенту, дал согласие на роль, его брали даже без проб, а мой однокурсник перезвонил мне сам, получив по почте тексты и кассеты с демо, мы договорились встретиться в Лондоне. Мы собрались за ночь, долго прощались на крыльце, обещали друг другу писать и звонить, хотя уезжали в никуда без телефонов, без адресов. Мы долго прощались, уговаривали друг друга, что все делаем правильно, что так будет лучше, потом мы сели в два разных кеба и разъехались в разные стороны. И все, и кажется, что за этим больше ничего не было.

Вопли Уилла и топот слышатся глубокой ночью. Мы выбегаем на лестницу в темноте.

— Что случилось? — спрашиваю я.

— Что случилось?! Из-под входной двери хлещет вода, кругом вода! — орет Уилл.

— Поднимайтесь к нам, — спокойно, как истинный смотритель заброшенного маяка, говорит он, опершись о перила.

Слышно, как ругается Уилл и смеется Джинни:

— Со мной такое впервые.

— В этом нет ничего смешного, — ворчит Уилл, она берет его под руку и целует в плечо, я даже морщусь — целовать этого придурка, ну не знаю.

Отовсюду слышится стук и звон дождя, где-то вдалеке — вой сирены, электричества нет.

— Где-то были свечи, — говорю я. — Целая коробка, мы же как-то уже сидели без света.

— На чердаке, — доносится из темноты, а потом во всполохе огонька из зажигалки появляется его лицо. И он уже не смотритель заброшенного маяка, а сам маяк. В его темных волосах дрожит и переливается жидким золотом пламя, в его глазах плещется дикий океан, а на губах играет улыбка. Он рад. Рад потоку и отсутствию света. — Ты идешь? — спрашивает он и идет к чердачной лестнице.

— Иду. — Мы оставляем Уилла и Джинни, осторожно поднимаемся по лестнице на чердак и там практически на ощупь находим коробку со свечами. На чердаке по-прежнему стопками стоят наши книги, старая софа с подушками, я провожу по ее спинке рукой — полно пыли, окно ничем не скрыто, не спрятано. На улице ничего, кроме дождя, не видно, я открываю окно, в лицо бьет резкий ветер, все бурлит и журчит.

— Как бы твою машину не смыло.

Он зажигает две свечи и подает мне одну, пожимает плечами:

— Да даже если и смое.

До рассвета мы успеваем перенести все вещи Уилла и Джинни с первого этажа на второй, а еще всю еду из холодильника.

— Получается, что не зря и готовили, — Джинни ставит чайник на каминную полку, а Уилл расставляет контейнеры с едой на столе. На втором этаже, прямо за гостиной (мы всегда называли ее недогостиной), распростерлась небольшая кухня. Когда мы переехали сюда, ее здесь не было, была одна большая комната, как и спальня, с двумя вытянутыми окнами, камином и узкой дверью в холодную кладовку. Мы повесили шкафчики, поставили круглый стол, обзавелись плитой, лишь бы не спускаться вниз на кухню к тете.

Еда прячется в кладовку, я наливаю в чайник воды, а Уилл со зрителем маяка пытаются разжечь камин.

— А нет к нему никакой инструкции? — бормочет Уилл.

— Нет, это же камин, какие инструкции? — он шебуршит в темноте, указывает Уиллу, держащему над ним свечу, куда светить.

— Не обижайся, но он похож на Коллинза из «Гордости и предубеждения», — говорю я Джинни.

Она качает головой:

— Нет, совсем нет. Это только кажется, на самом деле он хороший человек, со своими, конечно, тараканами, но... Я не знаю никого лучше его.

— Признаться, Уилли, ты ее приворожил, — говорю я, Уилл фыркает. — Ходил к какой-нибудь бабке-ведьме точно, — шепчу я уже Джинни, она улыбается.

В чайнике над огнем закипает вода, и вся эта тьма, разбавленная мерным потрескиванием поленьев в камине и мягким, теплым светом, так напоминает тот паб, до которого через кладбище и поле, вниз-вниз, а потом вдоль приземистых белых домиков с горбатыми серыми крышами и маленькими окнами.

— Мы застряли здесь надолго, — бормочет Уилл, и голос его не ворчливый, а совершенно ровный и серьезный. Он обнимает одной рукой заснувшую на диване Вирджинию, смотрит в огонь.

— Ну и что? Ты вообще, считай, в своем доме, — говорит зритель маяка, скрестив руки на груди, он сидит на подоконнике, я — в кресле. Медленно разгорается рассвет, черные тучи превращаются в серые, вдалеке, над крышами старых домов, возвышается шпиль часовой башни. В доме напротив такие же, как мы, неспящие смотрят в окно.

— Прекрати, — выдыхает Уилл. — У тебя все есть, чего тебе жаловаться.

— Я не жалуясь.

— Жалуешься, я слышу это в твоём голосе, а жаловаться впору мне. Тебе вот всегда все доставалось: учишься где хочешь, живи где хочешь, работай где хочешь, полная свобода действий. Захотел — свалил во Францию, захотел — вернулся в Англию. Младших всегда любят больше, да-да.

— А ничего, что ты был освобожден от помощи тети, от учебы в принципе, на работе сейчас не убился. Живи где хочешь?! Учишься где хочешь?! Ты всю жизнь, пока не женился, прожил с родителями, это очень удобно, это очень спокойно и приятно, а мне в шестнадцать лет было сказано, чтобы я шел себе своей дорогой, уже совсем большой и взрослый мальчик. Так что, дорогой брат, живя с родителями, учась в университете, где декан наша мамуля, работая в фирме, где глава наш папуля, очень легко рассуждать о жизни и свободе. Я не собираюсь воевать с тобой из-за этого дома, ты им хоть подавись... — Он замолкает, а Уилл открывает рот, чтобы сказать что-то еще, но я не даю ему это сделать:

— Все, хватит. Высказались? Замечательно.

Я снимаю с огня чайник, разливаю по кружкам чай.

— Вы с Джинни оставайтесь здесь, а мы займем чердак, да? — Все еще хмурый зритель маяка кивает. — Нужно отдохнуть, — говорю я. — Все устали.

Мы поднимаемся на чердак с чашками, садимся на софу.

— Иногда я его ненавижу, — шепчет он, я хмыкаю:

— А вот Джинни говорит, что не встречала человека лучше него.

— Пф-ф, а рассказала ли Джинни, что ее ему, считай, купили. Очень выгодная сделка ее родителей и наших.

— Да ну, — толкаю я его в плечо. — Сочиняешь?

— Нет, честно. Ее отец задолжал нашему огромную сумму денег, а потом, представь, прямо как в викторианском романе: мой благородный брат увидел Джинни, влюбился, выплатил долг своими деньгами, но ты же знаешь, что у него ничего своего нет и никогда не было, в общем, он выплатил долг отцу его же деньгами. Отец не особенно был рад, а Уилл же влюбился, ему по барабану, даже если его не любят.

— Так она же его любит. Сама же сказала.

— А ты много кому говоришь, что кого-то любишь? — спрашивает он, за его плечами расцветает дождливый рассвет. Я молчу. — Вот и я о том же. А потом завертелось-закрутилось, Уилл из кожи вон лез, чтобы Джинни досталась ему, а родители только радовались: надо же, любимый сын бьется в чувствах, по потолку готов ходить от счастья и радости, от любви. Так что простил папа долг, а родители Джинни на радостях отдали ее за Уилла.

— Средние века какие-то, — я ставлю чашку с чаем на пол и откидываюсь на спинку софы.

— Хуже, — бормочет он. — Где-то же тут у нас был надувной матрас, помнишь? Надуем его, я на нем буду спать, а тебе уступаю софу.

Я снова спускаюсь вниз, чтобы взять из спальни постельное белье, пару подушек и пледы. Уилл и Джинни спят на диване в гостиной. Я недолго смотрю на них, перебаривая всю эту историю. Их историю.

— Снова Гензель и Гретель в естественной среде обитания, — говорит он, помогая мне затащить на чердак подушки и все остальное. Он уже надул матрас, смахнул с софы пыль («Как мог», — смеется он), приоткрыл окно, чтобы было больше воздуха.

— Это вроде как осколки старого проклятия, — я смотрю в окно, пока он застилает постели. — Электричества нет, радио молчит, телефон тоже. Никто не позвонит, не придет, не приедет.

— Так это же хорошо. У тебя давно такое было? Было ли вообще когда-то? Когда никому ничего не надо доказывать, показывать, когда не нужно никуда торопиться, ни с кем, ни о чем договариваться. Ты и я сейчас — обычные заложники обстоятельств. И этим нужно пользоваться. Я вот даже рад, что все так складывается. А ты?

— А я не знаю. Вообще не знаю, что я тут снова делаю.

— Как что?! Живешь на чердаке. Снова. Снова со мной, — он улыбается, я тоже.

Он укладывается на надувной матрас, я — на софу, он смотрит в потолок, по которому ползут редкие лучи тусклого солнца.

— Слышишь? — шепчет вдруг он, я прислушиваюсь, слышно, как внизу храпит Уилл. Очень музыкально храпит. — Самый лучший в мире человек храпит. — Я смеюсь.

Когда я просыпаюсь, он сидит под окном и читает какую-то книгу, матрас пододвинут почти к самой моей софе. Мерно разбиваются капли воды о дно вазы, которая стоит у стены.

— Меня чуть не смыло, — кивает он на вазу. — Так что пришлось переехать ближе к тебе.

— Сколько времени?

— Почти двенадцать, — он откладывает книгу. — Я не хочу спускаться вниз, они уже не спят, — он ложится на пол и прислушивается, я делаю то же самое — внизу тихо, слышны только звуки шагов.

— Они что, просто молча там ходят? — спрашиваю я.

— Ага, как два привидения. А может, они танцуют?

— Может, и танцуют, — я встаю, осматриваюсь: здесь можно было бы жить всю жизнь, здесь можно было бы прятаться от всех кошмаров и невзгод. Тетка-ведьма не могла подняться по чердачной лестнице, она слишком крутая, она не могла бы открыть дверь, мы всегда запирали ее за собой, а когда было особенно плохо и страшно, мы пододвигали к ней вплотную пустой комод. Мы тоже сидели без света, жгли свечи, слушали музыку на проигрывателе тихо-тихо, разговаривали исключительно шепотом. И не было места лучше в мире, и не было в мире места хуже, чем этот чердак.

— Знаешь, нам все равно придется поговорить, — он продолжает шептать, сидя на полу и прижимая к себе книгу.

— Я принесу чего-нибудь пожевать, — я делаю вид, что не слышу его, и ухожу вниз, где Уилл ходит от одного окна к другому, а Джинни ходит по комнате с тряпкой и вытирает пыль. Это у них, наверное, нервное.

— Нас ведь должны приехать спасать, да? — говорит Уилл, подходя ко мне, я открываю кладовку. — Эвакуировать ведь нас должны? Что в такой ситуации должны делать?

— Не знаю, Уилл, — вздыхаю я. — Вы есть будете?

— Мы уже ели, — заводит его. — Налили горячей воды в термос.

— Молодцы, — я кладу еду на тарелку — зеленый салат и печеный картофель, мясо с сырной корочкой. Я смотрю на Джинни, которая натирает каминную полку уже, наверное, не в первый раз, и в груди что-то щемит. Снова эта доброта и жалостливость.

— Брось ты все это, не зарастем пылью, — говорю я Вирджинии, она улыбается.

Я возвращаюсь на чердак, ставлю тарелку на пол:

— За чаем потом ты пойдешь.

Он соглашается.

— Давай поговорим, — снова начинает он. — Вот ты в своих открытках только про природу да погоду пишешь, а о себе ни слова. «В Крема до ужаса тихо и спокойно, красиво, тепло. Тебе бы понравилось. Тебе бы это место очень подошло». А где про то, как ты в Крема? Что было в Крема? Кто был с тобой в Крема?

— Мы были там с группой, снимали видео, — отвечаю я и улыбаюсь. — Вот ты задаешь вопросы, а сам: «Дорогое сердце, видел пластинку Бадди Холли, точно такую же, как у нас на чердаке, не удержался и купил». Зачем купил? Слушал? Если слушал, то с кем слушал?

— Один дома и слушал, — фыркает он. — М-да, каким бы маленьким ни был Лондон, мы там ни разу друг с другом не столкнулись, странно, да?

— У нас просто разные сферы интересов: если мы что-то записываем, то по большей части пропадаем в какой-нибудь студии, если у нас тур, значит, мы пропадаем в разных городах, странах, а у тебя «Глобус», и ты тоже пропадаешь в городах и странах. Так что ничего удивительного, что мы ни разу не виделись.

— Твоя мама дала мне твой домашний телефон и адрес, — признается он.

— Она не говорила. Чего не позвонил?

— Ну сначала я, конечно, хотел, а потом, знаешь, я решил, что еще не время, да и страх того, что трубку возьмешь не ты, был силен. — Я на это киваю. — Плюс я утешал себя мыслью о том, что, если ты меня не ищешь, значит, разводиться тебе не хочется или, по крайней мере, пока не нужно.

Я смеюсь:

— У меня была та же отговорка. Мама дала мне твой номер и адрес, так что мы были куда ближе, чем казалось.

— А теперь? — шепчет он, яжимаю плечами.

А что теперь? Прошло так много времени, осталось ли что-нибудь от детей с чердака приличного дома? Я утыкаюсь лбом в его плечо:

— Мне было бы проще ответить на «А теперь?», если бы ты сюда приехал не один, если бы не отдал мне письма, если бы не потоп и не чердак. Мне было бы проще, если бы за пять лет мне удалось бы тебя возненавидеть или хотя бы обидеться на тебя, так ведь нет. Мне все кажется, что мы прощались на крыльце этого дома вчера, кажется, что люди кругом хуже тебя, мне кажется, что это судьба.

Больше мы об этом в этот день не разговариваем, он читает под окном, я — на своей софе. Когда надоедает читать, мы спускаемся вниз, чтобы выпить чаю. Уилл рассказывает по комнате в резиновых сапогах, найденных в шкафу в спальне.

— Я собираюсь пойти в полицию, — говорит он, все молчат: Джинни сидит за столом, опустив голову, а мы со зрителем маяка прилаживаем чайник над огнем в камине.

— Что случилось? На тебя кто-то напал? Кто-то тебя ограбил? Оскорбил? — не выдерживаю я.

— Нас никто не спасает.

— Уилл, вода уже уходит, — вздыхает Джинни, я открываю дверь на лестницу и смотрю, как на первом этаже стало действительно меньше воды.

— Она вся утекла в подвал, — спорит Уилл.

— Пусть идет, — подает голос зритель маяка. — Глядишь, уйдет вода, похороним и тебя рядом с тетей. Посмотри в окно, все сидят по домам, ничего критичного не случилось, что, не топило город никогда, что ли? Топило. Дня через три вода уйдет совсем, дожди пройдут, и можно будет возвращаться домой. Поверь мне, тебе скажут это же в полиции, если ты дойдешь до участка. Чего ты такой нервный, присядь, отдохни, расслабься, никуда не торопись — тебе некуда, и все. — Уилл, не снимая сапог, падает в кресло у окна и хватается с подоконника газету недельной давности.

— Чего он такой нервный? — спрашиваю я, когда мы снова оказываемся на чердаке, ставим на пол чашки с чаем и устраиваемся под окном.

— Я так думаю, что добиваться Джинни было веселее и интереснее, чем жить с ней под одной крышей, теперь ему вроде как скучно. Все цели пропали, он всего достиг, так что вот и дурит. Ставлю на то, что он ее бросит.

— Может, она его... Хотя ей, наверное, некуда деваться. Родители будут не в восторге, если она его бросит и вернется к ним.

— А своего у нее ничего, как и у него, нет, — шепчет он, а у меня к горлу подкапывает ком. Не доброта, не жалость, а тошнота. Как-то от всего этого противно. От отношений их, созданных искусственно, от хождений по комнате, бездумных и бессмысленных, от резиновых сапог, от истерик Уилла и молчания Джинни. Пять лет назад, когда нам казалось, что у нас тоже ничего своего нет, у нас было все: у нас были мы, у нас была у каждого работа, которая нам нравилась, у нас был наш чердак, хоть официально он, конечно же, был тети, но все же у нас были свои секреты, свои разговоры, свои мечты и цели. И этого было достаточно, чтобы не испытывать друг к другу отвращения, чтобы друг друга постоянно поддерживать, чтобы друг друга отпустить.

— Тебе нравится играть в театре? — Он кивает. — А в кино?

— И в кино, — он улыбается. — А тебе нравится играть в группе?

— Нравится, я ничем больше пока не хочу заниматься, кроме этого. Уилл и Джинни меня угнетают, — шепчу я. — Я от них болею, меня от них тошнит, я их не понимаю и не собираюсь даже понимать. Мне хочется бежать отсюда даже больше, чем раньше. Когда мы женились, то заключили устное соглашение, помнишь? Мы договорились, что если разлюбим друг друга, то скажем об этом друг другу честно, мы договорились разговаривать о чувствах, о мыслях, мы договорились друг друга не предавать и всегда быть друг другу друзьями, так?

— Так, — он облокачивается спиной о стену под окном.

— Ты меня разлюбил? — Он мотает головой. — И я тебя нет. Особенно это бьет по мне, когда я смотрю на этих двоих. Мы будем разводиться?

— Я не собираюсь с тобой разводиться, а ты? — говорит он.

— И я не собираюсь разводиться ни с тобой, ни с собой. И «ни с собой» — это к вопросам про театр и кино. Я точно знаю, что ты ни первое, ни второе бросить не сможешь, как и я не брошу музыку и группу, поэтому я предлагаю дополнить наше соглашение: если мы разлюбим друг друга, то скажем об этом прямо, мы продолжим говорить о чувствах и мыслях, мы друг друга никогда не предадим и друг другу вечность будем друзьями, а еще мы не будем попрекать друг друга работой, потому что, как говорится, любишь меня, люби и мою собаку. Согласен? — Он протягивает руку, чтобы скрепить согласие. Я обхватываю его пальцы своими, и он тянет меня на себя, обнимает за плечи и целует в висок:

— Представь, целый город ради этого затопило.

Я смеюсь ему в плечо, думая о том, что, наверное, всему свое время, тогда, пять лет назад, было не время, неподходящее время, тогда, пять лет назад, детям с заколдованного чердака нужно было разойтись в разные стороны, найти себя самих, а сейчас, когда ни с собой, ни друг с другом расходиться не хочется и не может, — самое время. И даже если ради этого топят целый город, даже если ради этого растает проклятый пряничный домик, — все равно.

Гензель и Гретель свободны от ведьмы, Гензель и Гретель вообще свободны, и вот закончатся дожди, уйдет вода, они спустятся с этого чердака в последний раз и уйдут в новую жизнь.

— Мне жалко сапоги, — вдруг шепчет он.

— Они, кстати, мои, — отвечаю я. Загадка, как он в них влез вообще.

Смотритель маяка смеется, обнимая меня крепче.

ЗА ДВЕРЬЮ

В комнате так и не прибавилось распакованных вещей — святая пустота, не считая коробок в углу. Кинутый на пол матрас, заменяющий кровать, завален одеждой, на рабочем столе — допотопный ноутбук, который гудит и жужжит так, словно готов вот-вот взлететь, книги, исписанные листы бумаги и куски перевода, которые еще править и править.

До Нового года остается каких-то шесть часов, медленно кружит снег, и прозрачные синие сумерки укрывают старый город; в соседнем доме в круглом окне под крышей разлит мягким золотом свет, и двое сидят за кухонным столом не так, как это вроде было бы удобнее, напротив друг друга, а плечом к плечу, они о чем-то увлеченно беседуют, иногда мне кажется, что я даже слышу обрывки их фраз, обрывки их мыслей, но это только кажется. Это всего лишь голос города. Города и его хронической пустоты. Переводить не хочется, разбирать вещи тоже не хочется, думать о том, что через каких-то шесть часов наступит Новый год, не хочется, хочется просто смотреть в окно.

Очередная пластинка перестает играть, а я даже не сразу это замечаю, по комнате разносится тихое потрескивание от иглы. В единственной открытой коробке стройным рядом стоят пластинки, я выбираю одну наугад, выуживаю из яркого конверта и ставлю в проигрыватель, снова трещит и поскрипывает игла, а потом комнату заливают музыка.

Сами собой весятся на вешалку свитера, рубашки, футболки и джинсы, становится как-то даже повеселей. На кухне ставлю чайник и изучаю коробочку, которую мне

подарила моя соседка сегодня утром, когда заходила позвонить; неделю назад, когда здесь оказались все эти коробки и вдобавок я, она пришла довольная и яркая — ее губы были ярче губ Харли Квин в комиксах про «Бэтмена», от ее длинного платья в мелкий цветочек рябило в глазах — такая психоделия бохо-шика. Она рассказала, что на лестничной клетке телефон есть только у меня и она, вообще-то, ходила сюда звонить каждый день, пока здесь жили другие хозяева, но они съехали три месяца назад, и «ты даже не представляешь, какой это был ад», я только киваю головой: ад так ад, звонить так звонить. В итоге в качестве подарка на новоселье и Новый год она подарила мне пахнущую специями и чем-то цитрусовым коробочку, перевязанную цветастыми нитками. В коробочке этой оказалась смесь для глинтвейна, в холодильнике нашлось вишневое вино. Сложив дважды два, мне подумалось о том, что можно было бы сварить глинтвейн на вечер или ночь, а можно просто оставить коробочку эту, пока не приедет третьего числа сестра, ей такие штуки нравятся. Вечер ленивый и томный.

К семи вместе со снегом начинает идти дождь, отовсюду стучит и бренчит, а в вентиляции завывает ветер, приходится сделать музыку громче. За дождем появляется что-то еще, словно далекие раскаты грома, я застываю с ножницами в руках рядом с одной из коробок. Гремит-гремит и замолкает, уступая место дождю и его ледяным каплям, разбивающимся об оконное стекло и карнизы. Снова гремит, я выхожу в прихожую, звук здесь громче, смотрю в глазок и замечаю у соседской квартиры, той самой Харли Квин, парня в зеленой обледеневшей парке с помятым букетом когда-то пышных ромашек. Он периодически стучит в дверь и переминается с ноги на ногу, холодно.

— Ее нет, — я выглядываю из-за двери с ножницами, он замирает, с меха на капюшоне на плотную темно-зеленую ткань стекает вода.

— Нет? — он переспрашивает как-то рассеянно; по ногам гуляет сквозняк. — Черт, а давно?

— Она ушла около одиннадцати, заходила ко мне позвонить, была в пальто. Она не возвращалась, у нее дверь скрипит, было бы слышно. — Парень легонько встряхивает букетом с ромашками, с него осыпается пара лепестков.

— Ясно, — говорит парень и смотрит в окно парадной, на нашем этаже по рифленому стеклу идет трещина, и сквозь нее просачивается ледяная дождевая вода. Я выхожу из-за двери прямо босиком. — Отпраздновали, блин, Новый год...

— Эм, там у меня в прихожей, у телефона, лежит листок, на нем написаны номера, куда она обычно звонит, может, тебе позвонить? Может, она забыла, или застряла где-нибудь, или...

Он усмехается и кивает головой:

— Спасибо.

— Да не за что.

— Холодно, — он кивает на мои босые ноги, яжимаю плечами. — А ножницы зачем?

— Да я это... Коробки просто открываю.

— С подарками, что ли?

— Нет, с вещами. У меня даже елки нет, праздновать буду позже с семьей, а сегодня вот так, — улыбаюсь я.

— А сегодня руки-ножницы, как у Бертон, — бормочет он и заходит со мной в квартиру.

Он обзванивает всех из списка с листка, но никто не дает ему ответа, где она и когда вернется. Он так и стоит в прихожей в парке, с которой стекает вода, и с букетом, который постепенно осыпается.

— Это что, Синатра?! — кричит он из прихожей, зажав трубку между плечом и ухом, слушает длинный гудок — оставшийся от последнего разговора печальный шлейф.

— Ага, — отвечаю я, бесцельно смотря в окно, — непогода бьет все рекорды. — Ну как оно?

Он не отвечает, просто вздыхает и кладет наконец трубку:

— Давай помогу с коробками? Раз уж мы не празднуем и не собираемся, да и вдруг она вернется.

— Ну давай, — пожимаю я плечами. — Скидывай ботинки и парку, будем сушить, для цветов сейчас найду банку или что-нибудь, прости, вазы у меня нет.

Рыжие ботинки отправляются под батарею, парку мы раскидываем, словно флаг, на спинке стула, а ободранный букет ромашек отправляется в найденный на кухне графин — привет от прошлых хозяев. Он остается в своих светлых джинсах и черной водолазке с закатанными до локтей рукавами, тербит браслет от своих массивных часов:

— Что по фронту работ?

— В одной из коробок — стеллаж, наверное, надо вытащить его и собрать, а потом раскладывать книги и что тут еще, не знаю. — Он только кивает; мы вскрываем все коробки, с горем пополам находим простенький стеллаж со всеми примыкающими к нему железками и инструкцией. До Нового года остается три с половиной часа.

Он разбирается со «строительством», пока я слоняюсь с ножницами между коробок и меняю пластинки.

— Поставь еще раз Синатру, — говорит он, оборачиваясь через плечо.

— Он тебе нравится?

— Не знаю, скорее всего, да, я просто вспомнил одну историю, у моего папы большая коллекция винила, они с дедом пластинки вместе собирали, и Синатра у них тоже был, как раз эта пластинка, и однажды к ним в гости пришел какой-то переводчик, это было давно, лет двадцать назад, и он попросил подарить ему эту пластинку, дед отказался, но бабушка вступилась за переводчика, наредила на вежливость и все такое, в общем, переводчик ушел с этой пластинкой, а дед с папой потом ее нигде найти так и не смогли, и вот она играет сегодня здесь. Не та самая, ушедшая с переводчиком, конечно, но все же, понимаешь? — Я киваю, шелкая ножницами, он взъерошивает свои и без этого лохматые светлые волосы, которые в свете лампочки, что скромно ютится под потолком, отдают золотом, таким же мягким, как то самое золото круглого окна, где двое сидят за столом; я вдруг поворачиваю голову к окну и вглядываюсь в черноту вечера, чтобы проверить, как они там, но из-за снега и дождя ничего не видно.

— У меня такое с одной песней. Ее, правда, никто никому не отдавал, но она как-то запала, а найти нигде не могу, в плане, диск — пожалуйста, кассета — хоть сейчас, даже пару раз по MTV ее крутили в различных вариациях, но на виниле ее нет.

— Что за песня? — он откладывает отвертку и осматривает собранную часть стеллажа. Стеллаж этот почти те же самые коробки — белые квадраты, стоящие друг на друге, у стены смотрятся словно соты — на первое время в самый раз.

— «Talk Tonight», это «Oasis». Мне твоя парка про нее напомнила, правда, парки носит Лиам, а не Ноэл, но это, знаешь, странные логические цепочки разума.

— Вот как, — кивает он. — Сюда его поставим? — он указывает на место между окном и вешалкой.

— Сюда, — соглашаюсь я.

Он не говорит о ней, Харли Квин, и, кажется, совершенно не прислушивается к звукам из парадной, где периодически гремит лифт и кто-то топает ногами по лестнице, видимо пытаясь избавиться от мокрого снега. Вероятно, он наверняка знает, как

скрипит ее дверь. Он сосредоточенно перебирает книги, а еще меняет пластинки, потому что стоит ближе к проигрывателю, он читает стихи с чувством и с толком, когда натывается на Бродского, которого зовет просто Бродский, а потом читает Лермонтова, которого зовет Михаил Юрьевич.

— Это что-то вроде подчеркнутого уважения? — спрашиваю я, когда он протягивает мне очередную книгу из коробки.

— Не знаю, просто Бродский — это Бродский, Маяковский — тоже Маяковский, Есенин, Блок, а все эти парни далекого прошлого: Михаилы Юрьевичи, Александры Сергеевичи, Кондратии Федоровичи — это вроде по старшинству. Я не знаю, кого из них я люблю больше.

— Это все под настроение.

— Точно. Значит, из вещей у тебя только вешалка, книги, пластинки и какие-то бумажки на столе?

— Бумажки — это по работе.

— И где ты с этими бумажками работаешь?

— В одном издательстве перевожу книги с английского на русский.

— Неужели осталось что-то, что еще не перевели? — он садится на пол, скрестив ноги по-турецки, я смотрю на его темно-зеленые носки, а потом на бледные руки с длинными пальцами, которые начинают складывать пустые коробки, на мой вопросительный взгляд он отвечает: — Сейчас разберем их, сложим, поставишь куда-нибудь, может, потом пригодятся, а если нет, выкидывать будет проще.

— А ты хозяйственный человек, я смотрю, — смеюсь я. — А насчет работы — ты даже не представляешь, как много еще не переведено, как много всего нового появляется каждый год.

— Про новое я как-то не подумал, заикнулся на старом после Михаила Юрьевича. Значит, ты и сейчас что-то переводишь?

— Да, один роман из новых. Александра Томаса Тибэ¹.

— Я о таком даже не слышал, — хмурится он и смахивает со лба мешающую челку — трудно представить на его голове порядок, он похож на безумца со своей лохматостью, угловатой ломкостью лица — свет играет на нем просто невообразимо, в зависимости от того, как он поворачивает голову, тени пляшут и обрисовывают все острые и резкие углы — его скулы и линия челюсти, прямой нос и подбородок.

В один момент он похож на ангела, тогда свет укрывает его лицо почти полностью, бледность превращается в перламутр и оседает на его ресницах и волосах, но стоит ему повернуться, и он превращается в черно-белого демона, скуластого и пугающего, седого. Ангелом он смеется и подпевает какой-нибудь песне, смешно коверкая слова или интонации, демоном он выпадает из реальности в свои собственные мысли и долго молчит, может быть, именно в эти моменты он прислушивается, не скрипнула ли соседская дверь.

— Его роман называется «Бумага», и в нем совершенно нет диалогов.

— Он от первого лица?

— Нет, от третьего. Мы все видим, все слышим, особенно какие-то посторонние звуки, которые, казалось бы, ничего не значат, мы по выражению лица догадываемся, что чувствует герой, но герой молчит, он ни с кем не говорит, он просто есть — и все, а вместе с ним есть и история.

— И что же, ни слова не произносит?

— Не произносит.

¹ Александр Томас Тибэ — выдуманный автор выдуманного романа (Александр в честь фронтмена «Arctic Monkeys», Алекса Тернера, Томас в честь валлийского поэта Дилана Томаса).

— И ты сидишь и целыми днями переводишь его выражение лица? — он склоняет голову к плечу.

— Да, есть там момент, где герой сидит в полицейском участке в Лидсе, смотрит на свои окровавленные руки и силится заплакать, но у него не получается, и лицо его автор сравнивает со смятым листом бумаги, грязным и рваным, просто кошмарным.

— А бывает белая бумага?

— Да, она была дважды: в первый раз главный герой улыбался в начале книги, и это была белая бумага, а в конце он умирает с такой же улыбкой, и это та же самая белая бумага. — Он долго молчит, периодически повторяя: «Белая бумага, белая бумага», стоит в самом центре комнаты, рассматривая голые, как назло, белые стены.

— Тебе бы, знаешь, побольше цвета, — вздыхает он, теребит браслет от своих часов. — Подушки, там, цветастые, картину какую-нибудь странную. Ты что больше любишь — квадраты или круги?

— Треугольники, — хмыкаю я, он смеется, а потом садится на край моего рабочего стола и всматривается в исписанные листы.

— Вот тебе не страшно впускать незнакомцев в дом? — он скрещивает руки на груди и смотрит пристально демоном.

— Ты смотрел «Влюблен по собственному желанию»? Меня всегда удивляло, почему главная героиня пошла к нему домой.

— А он еще и с другом.

— Звучит как криминал, — смеюсь я. — Так вот, она же пошла.

— Ну это какой год-то был. И это фильм, художественный вымысел, как-никак.

— А ты почему не отказываешься заходить в чужие квартиры?

— Резонно, — кивает он. — У тебя вообще руки-ножницы были, кстати, может, ты меня уберешь.

— Обязательно.

До Нового года остается час, и я все смотрю и смотрю на часы.

— Может, чаю? — предлагаю я, а к горлу подкатывает ком, ощущение того, что скоро должно что-то произойти, обрушивается на меня цунами. Люди сейчас, наверное, сидят себя за столами или носятся по кухням, пытаются доделать к празднику то, что осталось, а я: «Может, чаю?»

— Можно, — отвечает он, мы идем на кухню, где пахнет специями из подаренной коробочки.

— Вообще-то, у меня есть вино, и можно сварить глинтвейн, как думаешь? Праздник все-таки.

— Все-таки да, — говорит он, и чувство ожидания сменяется суетой, мы ищем кастрюлю для глинтвейна, который он берет на себя («Я все эти ее коробочки знаю»), я заглядываю в холодильник, где, по сути, кроме сыра, пары помидоров и яиц, ничего нет.

— Эм, яичница? — спрашиваю я.

— Новогодняя яичница, — поправляет он и помешивает глинтвейн в кастрюльке.

К без десяти двенадцать мы возвращаемся в комнату с глинтвейном, разлитым по огромным кружкам, и тарелками с яичницей, делаем музыку чуть тише, выключаем свет и открываем окно.

— Что ж, — начинает он, когда на часах красуется ноль-ноль-ноль-ноль. — Это мой самый странный Новый год.

— Мой тоже, — киваю головой я, смотря в открытое окно, за которым развивается бурная деятельность: над обледеневшими крышами разрываются фейерверки, люди кричат и поздравляют друг друга, пытаются перекричать дождь.

— Наверное, самый приятный и необычный, так что спасибо, я тридцать первого декабря еще ни разу не собирал стеллажи, и не разбирал книги, и не слушал столько винила.

— Взаимно, — киваю я и смотрю на его профиль в отблесках нескончаемых фейерверков — не ангел и не демон, просто человек, который застрял в чужой квартире с ободраным и помятым букетом ромашек.

До рассвета мы сидим на кухне, допиваем глинтвейн и обсуждаем тех двоих, что живут в соседнем доме с круглым окном.

— Иногда они танцуют, — говорю я, кивая на темное окно; по крыше тихо крадется утро нового года, светлое и спокойное. От ледяного дождя не остается и следа, собственно, как и от криков. Синатра продолжает крутиться в проигрывателе снова и снова, самое то для настроения. В прозрачном морозном воздухе медленно начинает кружиться снег.

— Правда? — спрашивает он, укладывая голову на свои руки, его явно клонит в сон, он бездумно гладит бок все еще теплой чашки — мы подогревали глинтвейн дважды.

— Да, часами, иногда попадают в мою музыку, даже странно, словно слышат. У меня раньше были ужасные соседи, а теперь вот: эти двое танцуют или просто сидят на кухне и болтают, здесь коробочки эти с глинтвейном и звонки по листочку.

— Веселье? — шепчет он.

— Веселье, — киваю я, последняя песня на стороне «А» гаснет, и надо бы сходить и перевернуть пластинку, но двигаться совершенно не хочется. Проигрыватель замолкает, и именно в этот момент, когда не слышно ничего, кроме тиканья его наручных часов, скрипит соседская дверь, протяжно и невероятно громко, словно кто-то с силой проводит по стеклу ногтем. И хочется зажать руками уши, перевернуть чертову пластинку, сделать звук громче, поставить чайник или сказать хоть что-нибудь вразумительное, но получается только: «Вернулась», — у него не получается ничего, он только кивает, поднимает голову и, подперев ее рукой, смотрит в окно демоном, хмурит брови и кусает нижнюю губу.

— Я пойду, — говорит он себе под нос.

— Да, — шепчу я, он встает, идет в комнату, забирает из-под батареи свои рыжие ботинки, носки которых украсила соль, стаскивает со спинки стула парку, встряхнув ее пару раз, и выходит в прихожую. Он путается в шнурах, потом залезает в рукава парки и выдыхает. — Букет, — напоминаю я, приношу помятые ромашки, а он улыбается.

— Черт с ним, с букетом, — взмахивает рукой, а потом зарывается пальцами в волосы. — Спасибо, — говорит тихо, словно не хочет, чтобы кто-нибудь услышал. — Кхм, я рад, что ты приглашаешь незнакомцев в дом, а я не боюсь людей с ножницами в руках.

— Руки-ножницы, — смеюсь я. — И тебе спасибо за все и с Новым годом.

— С новым счастьем, — шепчет он и выходит, закрыв за собой дверь. Я смотрю на темное дерево, а потом не выдерживаю и припадаю к глазку. Он стоит напротив соседской двери, пару раз заносит руку, чтобы постучать, смотрит демоном, кусает губу, а потом, так и не постучав, уходит по лестнице вниз, а я все стою и смотрю в глазок на пустую лестничную клетку и кованую стенку шахты старого лифта — считай, музейный экспонат.

Новый год наступил почти шесть часов назад, я снова включаю Синатру и падаю на матрас, кутаясь в одеяло и думая, что надо было подарить эту пластинку ему. Было бы символично.

Новый год шагает семимильными шагами, сменяя один день на другой: соседка, Харли Квин, приходит звонить по своему листку каждый день, и я стараюсь не прислушиваться к ее разговорам, приезжает семья, и три дня квартира гудит и шумит от раз-

говоров и смеха, потом все снова стихает, снова накатывают переводы и редактора, снегопады с мокрым дождем и прогулки от работы до дома. В одну из таких прогулок, когда солнце все еще висит высоко в небе и красит серый старый город в золото и отголоски предзакатного нежно-розового, я замечаю ее — картину со странными цветастыми треугольниками — прямо на улице, у одного художника у парка, он смеется и говорит, что ее никто брать не хотел, ей даже не интересовались, всем подавай портреты, а тут я. Треугольники эти я вешаю над матрасом, который так и не сменился диваном, пластинку Синатры зачем-то заворачиваю в подарочную упаковку, где-то на задворках сознания надеюсь увидеть его снова и подарить, эти задворки сознания не дают нормально спать, как и пластинка, и треугольники, с которыми, кстати, действительно ярче и уютнее.

Я снова ухожу в перевод «Бумаги», хожу кругами вокруг одного простенького эпизода, часами торчу на телефоне, разговаривая со своим сопереводитчиком, с которым никак не получается найти общий язык, он предлагает этот эпизод вообще убрать, я предлагаю его оставить, и так до бесконечности.

К концу января от Нового года как от праздника не остается ни намек: все живые осыпавшиеся елки давным-давно отправились на свалки, фейерверки больше не запускают и не гуляют ночами, распевая песни в арке между домами, потому что так громче. К концу января у меня появляется приличный белый диван, треугольники по-прежнему кажутся уютными и до одури яркими, как и новые полосатые подушки. Пластинка Синатры так и лежит в упаковке, и можно было бы спросить у соседки про него, но язык не поворачивается, потому что это я загоняюсь с Синатрой, треугольниками и подушками этими диванными, добавляющими в белое цвета, а он?

В первый понедельник февраля, в шесть вечера, когда на плите закипает чайник, а спор с эпизодом из «Бумаги» наконец решен, в дверь кто-то уверенно стучит. Стучит раз, а потом еще и еще. Я выхожу в прихожую и, не смотря в глазок, открываю дверь, на пороге стоит он в шапке, сдвинутой на затылок, распахнутой парке, поверх которой намотан красный шарф, к рюжым ботинкам подобран такой же рюжий, почти ржавый свитер, а из-под светлых джинсов выглядывают ярко-фиолетовые носки. Мне сразу вспоминаются треугольники над диваном — несуразные, яркие, но такие уютные и теплые.

— Твоя «Talk Tonight» засветилась на новой пластинке «Oasis», которая вышла в Англии второго ноября, сегодня первое февраля, мой друг отыскал ее в Лос-Анджелесе, передал еще одному другу, который живет в Амстердаме, тот передал ее моей сестре, которая была проездом в Будапеште, и вот она у меня, точнее, у тебя, — выдает он и шумно дышит.

— Ты бежал, что ли? — Он кивает, я улыбаюсь. — Проходи, я меняю «Oasis» на Синатру, ты как?

— Я только за, — он словно привычно скидывает ботинки и ставит их под батарею в комнате, парку кидает на спинку моего рабочего стула и осматривается. — Треугольники.

— Они самые.

— Хорошо смотрятся.

— Я знаю, — хмыкаю я и открываю крышку проигрывателя.

— Она третья по счету на первой стороне. — Я ставлю иглу в нужное место, и вот она, словно живая, песня, засевшая в моей голове.

— Ужинать будешь? — спрашиваю я и делаю громче, он улыбается, смотрит ангелом, у которого в ресницах путается перламутр, и отвечает: «Буду», снимая с пластинки Синатры подарочную обертку.

Фарид ХАЙРУЛЛИН

СТИХИ О ЛЮБВИ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Не думай обо мне.
Не думай ни о ком.
Пусть с легкостью душа
Покинет оболочку.
Отчаянье пройдет.
Мы все переживем.
Любовь моя, поверь:
Не время ставить точку.

Я слышу в темноте
Пульсацию часов.
Так тикает в груди
Непрожитое мною.
Забудься и плыви
Туда, где нет следов,
Где тяжесть и печаль
Исчезнут под водою.

Там хлещет океан
По пристани пустой
И пляшут журавли
На лунном побережье.
Там к югу от земли
Мы встретимся с тобой,
Открытые теплу,
Рассветам и надежде...

И может быть, поймем
Беспечность облаков,
Цепляющих сердца
Отсутствием предела.
И станем, как они,
В том смысле, что любовь
Есть метод воспарить
Над циферблатом тела.

Фарид Хайруллин родился в Казани в 1986 году. Юрист, выпускник юридического факультета Казанского государственного университета и экономического факультета Казанского государственного аграрного университета. Живет в Казани.

* * *

Слово в начале. Слово в конце.
Я говорю на чужом языке
И плачу
Без слез.
Мимо меня проплывают мосты.
Все как один переходят на «ты»,
Но кто я...
Вопрос.
И нет никого, кто бы мог объяснить,
Как научиться правильно жить,
Гуляя
Вдоль крыш.
Если нет сил продолжать этот бой
Или хотя бы остаться собой,
А ты все
Молчишь.
Но потеряв все опоры к чертям,
Став наконец одинок, как шаман,
Что-то внутри
Гаснет само.
И не надеясь больше спастись,
Ты почему-то падаешь ввысь
И легко.

* * *

Все, что нам нужно, — это любовь,
пели «Битлы».
С годами я понял: нет ничего
важнее любви.
Как ни старайся все просчитать,
быть в стороне,
Под натиском волн не устоять
самой крепкой стене.

Это знал Шиндлер, рыдая,
что не сумел всех спасти.
Это знал Корчак в газовой камере
вместе с детьми.
Это знал Гейтс, жертвуя
все состоянье другим.
Это знал я, пока не решил
притвориться слепым.
Жизнь — это знак явленной нам
безусловной любви.

Чем больше отдашь, тем больше ее
обнаружишь внутри.
Этот секрет понятен лишь сердцу,
но не уму.
Как хорошо говорить, не боясь:
Я вас люблю.
Я вас люблю...

* * *

Время быть сильным
И время прощать.
Память не в силах
Тебя удержать.
Солнце садится,
И волны, спеша,
Ловят следы уходящего дня.

Все, что казалось важным и жгло,
Перегорело, сплыло, прошло.
Что говорить, если ясно и так:
Мир и без нас обошелся. Good Luck —

Как говорят в голливудском кино.
Ты исчезаешь. Мне все равно.
Ну, или я просто делаю вид.
Нопфлер играет «On Every Street».

Александр ОЛЕКСЮК

ПРЕДМЕТЫ

Цикл миниатюр

Старый дорожный каток

На тупиковой улице, упирающейся в городской сквер, в пространстве между киоском Респечати и железным скворечником с табличкой «Ремонт обуви», стоял старый автодорожный каток.

Он был брошен уже давно и успел как следует заржаветь и пустить корни. Когда-то рабочие, строившие дорогу, аккуратно оставили желтого крепыша у забора и удалились. Каток стоял день, два, три, никто его не забирал. Наступила осень. Сиденье катка, обитое бордовым дерматином, осыпали желтые листья, которые сначала превратились в пожухлую крошку, однако со временем подмерзли и смешались с грязью. Машину по-прежнему не забирали.

Зимой каток укрыло снегом — детали конструкции стали неразличимы, поэтому издалека его можно было принять за какую-то военную инженерную машину. Наверное, катку нравился этот бал-маскарад.

Неуклюжий, брошенный тяжеловес дремал под одеялом из снега и видел себя на полях сражений. Вот он мчится по вспаханной Родине, расплющивая врагов своим могучим цилиндром, прыгая через окопы и блиндажи. Свистят пули, рвутся снаряды, а ему все трын-трава — он несется вперед и раскатывает неприятеля в тонкое, пестрое полотно.

Под его цилиндром хрустят Вена и Цюрих, Берлин и Баден-Баден, Нью-Йорк и Тель-Авив. Города и страны, попавшие под каток, превращаются в яркие, красочные ковры, в фотообои для старой кухни на даче, в картинки с почтовых марок, в воспоминания.

Однажды наступает победа: верхом на катке торжественно едут счастливые дети с флажками и шариками, женщины осыпают его нелепые колеса цветами.

В реальности все было иначе: весной каток обгадили птицы, покрыв металлический торс белыми кляксами. Он стоял никому не нужный, всеми забытый, тяжелый и одинокий, как могильная плита. В какой-то момент каток окончательно утратил строительную идентичность: «Машина растеряла свое естество», — мог написать бы Андрей Платонов.

Это случилось в июне, когда, задыхаясь от тополиного пуха, забивающегося во все щели, каток лениво наблюдал за тем, как худощавый мужчина в вытянутой футболке ловко облил его бочок клеем и припечатал объявление: «Дискотека башкирской молодежи, выступают модные диск-жокеи!»

Александр Сергеевич Олексюк родился в городе Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) в 1986 году. Главный редактор сайта hornews.com. Публиковался в журналах «Урал» и «Нева». Живет в Челябинске.

«Начало конца», — грустно подумал каток.

Вскоре объявления посыпались как из рога изобилия. Каток медленно покрывался предложениями купить волосы, аккумуляторы, олени рога, снять квартиру посуточно. Все больше он ассоциировался с вечностью. Вечность пахнет не нефтью, а объявлениями о продаже участка в СНТ «Медик».

Однако всегда был кто-то, кто очищал желтое брюхо катка от рекламного сора. Незнакомец приходил ночью и отколупывал бумажки от проржавевшего туловища. Все, кроме той первой, с анонсом башкирской дискотеки. Эта была печать вечности.

Спустя несколько зим каток заметил, что дорога, над которой он когда-то пыхтел, уже постарела, покрылась глубокими морщинами, из них росли васильки и трава. Каток решил больше никогда не просыпаться и заснул навеки. Когда-нибудь его изъеденное ржой тело заберут, выбросят на металлолом и, возможно, переплавят. Каток превратится в лучший в мире танк Т-90 «Прорыв» и с боями вкатится в город Берлин.

Я любил бывать у катка, часто проходил мимо и говорил: «Привет, братец каток. Как твои дела?» — «Как обычно», — всегда отвечал каток. И только один раз он спросил у меня:

— Как ты думаешь, насколько долго тебе нужно стоять, прислонившись к столбу у дороги, чтобы объявления стали приклеивать не только на столб, но и на тебя?

— Не знаю, наверное, месяц, — ответил я.

— Угу, — промычал, каток. Он был мудрый и сразу понял, что я соврал, ведь хватит и всего пары дней.

Пни из каслинского литья

Мужчина, похожий на сильнопьющего Сергея Эйзенштейна, угрюмо стоял возле памятника Первой учительнице и продавал всякую чепуху. У продавца были всклокоченные кудрявые волосы, высокий лоб и лицо в серых, глубоких рытвинах. Казалось, будто в Эйзенштейна выстрелили мелкой дробью, перепутав его с лисицей или глухарем. В нем, кстати, имелось что-то от глухаря — хорошо заметная строгость, несмотря на довольно ветхий, унылый вид.

Брат-близнец режиссера разложил товар прямо на бордюре, поверх бархатного знамени какого-то артиллерийского полка. На полотне поблескивал стандартный набор уличного старьевщика: значки, старинный подстаканник, столовое серебро, швейная машинка «Зингер» и пеньки из каслинского литья. Это был самый странный товар в ассортименте Сергея Эйзенштейна — три увесистых чугунных пня.

Каслинский завод архитектурно-художественного литья за полтора столетия отлил множество статуэток, тысячи вариантов. Например, чугунный павильон, выставленный в Париже в 1900 году. Громадина с изысканными узорами настолько очаровала французов, что они отдали павильону гран-при на всемирной выставке. Или маленького крепыша мамонта с откручивающимися бивнями, который несколько лет стоял у нас на подоконнике. Мамонта мне отдал сосед — пожилой урка дядя Миша. Однажды ему очень хотелось выпить, и он под залог мамонта попросил у меня триста рублей на бутылку. Когда я ссудил деньги, дядя Миша бодро достал статуэтку из внутреннего кармана безразмерной куртки и наспех рассказал, в чем же прелесть железного каслинца. «Это мы еще в семидесятые делали, по молодости лет. Берешь слона, вот так в шарф заворачиваешь, узлом, — объяснял дядя Миша, — и получается кистень». Деньги сосед не вернул, поскольку, прикончив бутылку, той же ночью взломал ларек и уже на следующий день поехал в СИЗО. Мамонт остался у меня, в минуты печали я брал его с подоконника, заворачивал в шарф, как учил дядя Миша, и размахивал получившимся кистенем, словно нунчаками. Убивал чугунным мамонтом демонов уныния.

А тут, значит, пни. Если к мамонту не имелось вопросов — он практичный и красивый, — то пни казались монструозными и нелепыми. Кому придет в голову поставить в сервант три иссиня-черных пней? «А это что такое?» — спросят гости. «А это, знаете ли, пни», — ответите вы. Сложно сказать, чем руководствовался скульптор завода, когда решил отлить подобный сюжет. Наверное, подозревал что-то. Что-то подозревать начал и я.

Пенек — символ умиротворения — сухой, кряжистый пенёк. Он никуда не спешит, никуда не растёт, он завершился, закончился. Когда-то в его ветвях гнездились птицы, а теперь они улетели — ни птиц, ни ветвей, ни ствола. Дерево сожгли в печке или наделали из него скалок, гробов и колотушек. Остался один пенек, из него ничего делать не стали. А зачем же он тогда нужен? А чтобы на нем сидеть! Когда весь мир начнет лететь в тартарары, можно бегать туда-сюда, как дурак, а можно сесть на пенек и тихо поглядывать по сторонам. Это всяко лучше бесплодной суеты и истерик.

Чугунные пенёчки напоминают о том, что все завершается. И птицы прекращают петь, и ветви более не шумят, и ноги ходят с трудом, зато есть удобный пенёк. Пожалуй, набор каслинских пней — это лучший подарок на день рождения! Он поможет имениннику не размениваться по мелочам и настроиться на особый философский лад.

Сергей Эйзенштейн продавал их по четыреста рублей за штуку.

— А на фик они нужны, эти пни? — на всякий случай спросил я, понимая, что обязательно куплю их и поставлю в сервант.

— Да это так-то — карандашницы, — ответил продавец. — А еще их как стопки можно использовать, там граммов по семьдесят примерно. У меня дома такие, так мы из пней водку пьем.

Сергей Эйзенштейн явно повеселел, заметив, что я достаю портмоне. Придет домой, никуда не будет спешить, порежет сало с лучком и накатит огненной воды из чугунных каслинских пней. В этот вечер он замедлит жизнь и будет созерцать в тишине.

Конь с изгородью

В современном городе тысячи лавочек звенят дверными колокольчиками, шумят кондиционерами и пестрят вывесками. Улица покрыта ими, словно ветрянкой: «Та-туаж бровей» соседствует с пирожковой, рядом — «Салон кофе и чая», еще через два метра — «Копии. Фото на паспорт». Немилосердный капитализм откусил у народа часть сердца и две трети времени, а взамен упаковал в глянцевую бумагу возможность организовать какую-нибудь невразумительную торговлю блесками и чехлами для телефонов. Шанс дается почти любому — вне зависимости от навыков, талантов и средств человека. «Возьми кредит, открой дело, стань бизнесменом и не работай на дядю», — говорит хитрый капитализм и облизывается.

Каждый второй несостоявшийся буржуа, оформляя статус ИП в налоговой инспекции, лелеет надежду, что именно его блески и именно его салон педикюра станут фундаментом для будущей империи Генри Форда. Но мир устроен иначе, а потому — вывески меняются чаще, чем к ним успевают привыкнуть дворники и почтальоны. И если сетевые магазины еще могут долго работать, не меняя прописки, то микробизнес лопаается, будто пузырьки в упаковке с машинкой для удаления катышков. Вот ты торгуешь блесками, не успел оглянуться — а уже блески торгуют тобой. Спустя несколько недель на окне лавки появится наклейка: «Аренда».

Однажды я задумался: а сколько инкарнаций может выдерживать типичная квартира в брежневке, переделанная под «нежилое»? Сотни? Тысячи? Жилище, задуманное для чаепитий и семейных советов, вынуждено пропускать через себя чьи-то несконча-

емые проекты, как дешевая проститутка, которая не выбирает клиентов. В доме аккуратно шелестели тапочками по паркету и бегали босыми ногами, но прошло время, и теперь какие-то пронырливые люди заходят туда в грязных ботинках, вносят стеллажи, выносят стеллажи, что-то вечно городят, перестраивают, приколачивают и сносят. Если бы стены могли — они бы выли: слишком много злых теней отпечатывается на них. А вместе с тенями отпечатываются надежды, радости, человеческие сомнения и разочарования. Бетон чаёт монументального постоянства, один хозяин — одна судьба, но после перевода в «нежилое» его ожидает свальный грех и изнуряющая суета.

В небольшом офисе, мимо которого я часто ходил туда-сюда, одно время принимал клиентов мануальный терапевт Марат, потом там продавали сухофрукты крикливые азербайджанцы. Вскоре они съехали, и на их место пришла молодящаяся бабуля с мелочовкой из «Икеи». Сегодня — это кальянная, от которой на много метров вокруг пахнет чем-то сладким и стыдным.

Рядом с кальянной — еще одно заведение. Пару лет назад его занимали киргизы, торгующие шаурмой. Они работали круглосуточно и в принципе ничем особенным не отличались. Разве что спали прямо там же, где и готовили — в одной из комнат, деликатно прикрытой ширмой. Мне почему-то казалось, что киргизы влезли в почти невинное помещение, превращенное к «коммерческую недвижимость» совсем недавно. Его стены еще помнили старый ковер, когти кота, острые плечи хозяйки и запах лекарств. Классическая ситуация: квадратные метры могли принадлежать дедушке с бабушкой, они умерли, предприимчивые внуки решили не продавать их жилье, а оформили все документы, получили разрешение, принарядили квартиру, ярко ее покрасили и выставили на панель.

Заехавшие туда киргизы особенно не церемонились ни с ремонтом, ни с чем бы то ни было — воткнули посреди зала барную стойку, поставили печку, холодильник и вертел для мясных туш. Над их головой чернела эпитафия антресолей — память от прошлых хозяев. Архитектурная особенность комнаты делала эту нишу почти незаметной, едва уловимой в темном углу, но если приглядеться, то там можно было различить несколько клетчатых баулов и чугунную статуэтку коня с изгородью.

Киргизы работали ловко и ладно. Зажимая шаурму в горячих тисках, рассказывали мне о волнениях в Оше и исламистах.

В один прекрасный день история восточного павильона закончилась. Как всегда в таких случаях — внезапно: просто однажды его двери оказались закрыты. Вскоре убрали вывеску «Шаурма», и через несколько недель какие-то девочки открыли там кафе с хачапури. Девушки тщательно выскребли-вымыли помещение, прогнали киргизский дух и сделали место модным и крафтовым. Стены расписали портретами веселых грузинов с усами, но нишу антресолей почему-то не заметили и коня не убрали. Он стоял все там же — монументальный друг монументальных бетонных стен, тяжелое, чугунное постоянство посреди дискотеки.

Девочки были деятельными, бодрыми, но немного экзальтированными: выставили пару столиков на улицу, примостили рядом плетеные кресла, подавали молодые вина и, очевидно, думали, будто в нашем пролетарском районе возымеют шумный успех. Несложно догадаться, что они ошибались — надо было открыть очередную пивную.

Однажды, проходя мимо, я зашел к ним на огонек, заказал хачапури по-аджарски и спросил: а где же киргизы? Те рассказали, что киргизы куда-то смылись, причем бежали так быстро, что впопыхах бросили свои вещи. Бросили и машину — «Жигули»-семерку, которую всего за год малолетняя шпана сумела превратить в металлические руины.

Периодически я заходил к девочкам — посмотреть, не убрали ли они коня с изгородью. Лошадь неизменно оказывалась на месте, успокаивая меня, фыркая в ухо железными губами: «Не переживай, братец, пустое, суетное пройдет, а ты не пройдешь, не пройду и я». Так продолжалось несколько лет, и все это время меня не покидало тяжелое предчувствие, что хозяйки грузинской пекарни вот-вот разорятся, квартиру вновь выставят на панель и новые владельцы выбросят коня с изгородью.

Недавно это случилось: пекарня закрылась, а на ее месте в кратчайшие сроки воткнули микрофинансовую организацию «Быстроденьги» — из тех, что дает кредиты под десять тысяч процентов, а потом продает долги коллекторам. Я зашел посмотреть, не убрали ли они нишу с конем, оказывается — убрали: нишу заложили, поверх нее повесили плазменную панель с курсом валюты. Рано или поздно это должно было случиться: суетное и зыбкое окончательно победило постоянное, ковер забылся, когти кота забылись, стены выровняли и покрасили, заплаканная профурсетка с потекшей тушью побежала вдоль трассы.

Торба

Принты на торбах всегда трескаются по-особенному, как краска на картине Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», как скорлупа на пасхальных яйцах, как чьи-то кособокие судьбы. Один знакомый рассказал трогательную историю о говорящей торбе, которая тоже потрескалась перед тем, как окончательно умолкнуть.

Это был мешок с портретом Курта Кобейна из группы «Нирвана». Кобейн всему радовался, все принимал, ничего не чурался и неизменно участвовал в клокочущей юности братца.

«Клади молоток прямо в торбу, — по-хозяйски советовал Кобейн с заляпанной мешковины, — пригодится, нам через КПЗиС идти».

«Сложи в меня куртку, вместо подушки будет, спи, вон, в кустах, не волнуйся, не холодно», — весело подбадривал человек с шальным взглядом.

«Сейчас нам, кажется, навалеют», — предупреждал американский панк и косил глазом в сторону двух хмурых парней в спортивных костюмах.

Однако если парнишка от ночевки в пустых и холодных парках крепчал телом и духом, его верный ординарец постепенно чах и разваливался. Каждая пластиковая бутылка с пивом, воткнутая в торбу, укорачивала недолгий век дешевого принта. Лицо на торбе постепенно трескалось, смазывалось и медленно осыпалось синеватой пылью, как бы повторяя участь всамделишной головы Кобейна, простреленной из ружья весной 1994 года.

Когда кумир молодежи почти исчез и остался лишь один его рот, он спросил у братца:

— Расскажи мне, откуда я взялся?

Мой знакомый сидел на большом бетонном сундуке, зачем-то поставленном в центре двора, и курил сигареты «Святой Георгий» из мягкой пачки.

— Я купил тебя в магазине для говнарей, — грустно ответил братец. — Ради этого я целый месяц измерял температуру крысам и кроликам.

— Зачем ты это делал? — поинтересовался рот.

— Деньги на торбу я заработал в вивариуме при медакадемии. Там разводили крыс и кроликов, которых потом потрошили студенты. У меня был свой любимец — большой белый кролик с красными глазами, похожими на бруснику.

— Как звали этого кролика?

— Его звали Курт Кобейн.

— Что с ним случилось?

— То же, что и со всеми. Его выпотрошил студент третьего курса по фамилии Шах-базян. После этого я взял расчет и пошел в магазин за торбой.

Курт Кобейн замолчал, а спустя несколько дней его рот ровно посередине прорезала широкая брешь: братец попытался засунуть в торбу средних размеров собачью конуру и не рассчитал габаритов. Брешь залатали, и торба с бледным пятном, оставшимся от портрета Кобейна, еще какое-то время служила семейству нашего братца. Обычно в конце августа в ней привозили из сада картофель, пучки свежей моркови, огурцы и бесчисленное количество кислейшей антоновки.

«Я не могу понять, почему в эту торбу вмещается так много яблок? Навскидку — килограммов двадцать-тридцать», — удивлялась мама братца, с опаской косясь на мешок в углу.

«Потому что это волшебная торба», — отвечал мой знакомый.

Плюшевая голова

Под старым тополем, в куче пожухлых листьев лежала огромная голова плюшевого медведя. Старая, грязная, бесконечно унылая, впитавшая в себя ведро мутной дождевой воды. Издалека она напоминала свернутый в аккуратный кругляш тулупчик: женский или, может быть, детский.

На голове отсутствовала фабричная морда, ее как бы стерли, имелись лишь короткие, немного кривые уши. Но зато были пуговицы. По несколько пуговиц обозначали глаза медведя — с красными, как рябина, зрачками, — две зеленых пуговицы рисовали нос, и всего одна — рот. Все они были круглыми, поэтому казалось, будто голова широко открыла пасть и выпучила глаза. От удивления или ужаса.

Когда-то она крепко сидела на пухлом косматом туловище, ночуя в углу детской комнаты или на двухъярусной кровати, разрисованной фломастерами, на подоконнике или маленьком деревянном стульчике из «Икеи». Потом кто-то умыл ее волшебной водой, и вместо добродушной и глупой морды остался лишь волосяной шар. Тонкие детские пальцы старательно пришивали к нему пуговицы, взятые в жестяной банке из-под конфет монпансье. Неумело, вкривь и вкось.

Этот странный медведь мог жить в детской или на худой конец дремать под потолком, на пыльной оконечности шифоньера. Туда часто отправляются доживать свой век плюшевые великаны, вышедшие в тираж — более никому не нужные, забытые, с грязным слипшимся ворсом, как у больных зверей. Их жалко выбросить, но они занимают слишком много места, а значит, их депортируют на платяной шкаф — в тихий, утробный лимб. Однако медведя ждала другая судьба.

Его голову усекновили и бросили с этими трогательными пуговицами под старый тополь: мучительно долго перегибать, превращаться в гумус и торф.

Мне стало жалко голову. Я отряхнул ее от налипших окурков с листьями и водрузил на металлический столб у забора. Пусть стоит, словно огородное пугало. Это будет беззвучно кричащий памятник исколотым пальцам и кукольным чаепитиям, пуговицам в баночке и фее Драже. Памятник прожитому, невозвратному детству, ушедшему в подсознание. Детство посадили на шифоньер, а голову мишки бросили под старый тополь.

Много раз я видел таких пыльных медведей на шифоньерах. Особенно когда работал репортером на телевидении и часто бывал дома у разных людей — чаще всего несчастных, которые пытались добиться правды через прессу. Зачастую люди сидели за столом, раскладывали на нем, как пасьянс, различные документы и старые фо-

тографии из альбомов, а со шкафов за ними с любопытством следили забытые медведи, розовые слоны и зеленые зайцы. Молчаливые свидетели основательно прожитой жизни.

В квартирах, где больше не живут дети, эти подпотолочные жители смотрятся жутко. Дети выросли и разбежались, словно капельки ртути, а их друзья продолжают сидеть и ждать кукольного чаепития, которое никогда не наступит.

Монумент просуществовал недолго. Сегодня я проходил мимо и не обнаружил голову на столбе, она лежала рядом, и ее припорошило снегом. Возможно, голову случайно сбил плечом худой подросток-акселерат. Шел, не заметил голову на столбе — бац плечом — и вот она уже покатилась, будто ее снова срубили. Подросток прошел мимо, а голова осталась лежать под деревом.

Скоро наступит зима, кругляш затвердеет, превратится в булыжник и полностью покроется снегом. Станет горкой у тополя. Мимо него будут проходить сотни и тысячи человек, и никто не подумает, что в этой снежной берлоге спит медвежья голова с лицом из пуговиц — печальный памятник забытому детству.

Когда придет весна, я разбужу голову и снова поставлю ее на столб.

Плакаты Монро

Когда-то мы жили мужской коммуной, и нашу холостяцкую кухню, пропахшую бычками в томате, куревом и подгоревшим хлебом, согревала томная улыбка Мэрилин Монро.

Заморская актриса весело наблюдала за суровым, прогорклым бытом с большого черно-белого плаката и олицетворяла женское начало в мужском коллективе. Она полужела на кушетке с бокалом аперитива в руках и тихо шептала каждому из нас: «Happy Birthday, Mr. President». — «И тебя, мать, с праздником!» — отвечал ей кто-нибудь, чокаясь с красавицей стопкой рябины на коньяке, щербатой кружкой с крепкой «Охотой» или стаканом чая.

Иногда мне было жалко Мэрилин, мне казалось, будто она заснула в своих калифорнийских апартаментах, а когда проснулась — обнаружила себя в нашем душном полупритоне. Ей бы закричать, но лицо сковала пришитая улыбка, а руку приклеили к стакану с виски. Но потом я внимательно вглядывался в ее глаза — порочные, видевшие всякое, готовые ко всему — и успокаивался: Мэрилин ночевала у нас добровольно. Как условно съедобный гриб-синявка, прыгнувший в лукошко, откуда не видит грибник, как Белоснежка в гостях у гномов.

Несмотря на трогательное отношение к американке, мы почему-то повесили ее аккуратно над плитой. Видимо, проявив таким образом бессознательную мизогинию, как модно сейчас говорить, дремучий мужской шовинизм и другие сексистские мыслепреступления. Мол, знай, баба, свое место.

Место, кстати, было не самое завидное. У нас стояла и коптила старая дешевая плитка о двух конфорках, с проводами, перевязанными синей изолентой. Неудивительно, что вскоре Мэрилин Монро закапало жиром.

Поначалу жирные пятна покрыли кушетку, на которой блондинка возлежала в игровой позе, потом ее брюки, топик, волосы. Спустя полгода жир от жареной колбасы, картошки, яиц и прочей бесполезной холестериновой, мужской еды добрался и до томной улыбки... Она расплылась, искривилась, стала походить на черт-те что такое, казалось, будто Мэрилин разбил инсульт.

«А подружка-то наша, того, подурнела, вся в жирных пятнах. Фу! Давайте же снимем ее, братцы, а то срань какая-то получается, противно смотреть», — немилосердно сказал кто-то из нас и полез снимать красавицу со стены.

Плакат засунули под диван. Он лежал, скрученный в подозрную трубу, стянутый резинкой, и никто не решался его выбросить. Как будто все думали, мол, полежит девица в темноте и покое, проспится, и ее вновь можно будет вернуть на кухню. Там было скучно без Мэрилин. Место над плитой обозначал пустой, одинокий прямоугольник — четыре белых отметины по углам, возникших из-за сорванных скотчем обоев. Символ небытия — след прямоугольника над плитой.

После ухода калифорнийской дивы кухня, да и вся квартира вдруг сделались пустыми и страшными: не с кем было чокаться рябиной на коньяке, не перед кем стало зачесывать волосы на пробор, как у Фрэнка Синатры, никто не смотрел томно.

Мы могли бы, конечно, разбудить красотку или повесить такую же, только новую, но что-то надломилось, треснуло. Коммуна еще немного пожила, погрузила, попела печальных мужичьих песен, а потом братцы ушли из холодной, горькой квартиры кто куда, а Мэрилин так и осталась лежать под диваном, наверное, до сих пор там лежит.

Чертово колесо

Однажды вечером мне позвонили. Незнакомый мужчина спросил:

— Алло, это чертово колесо?

— Нет, это, это... — я немного замешкался, меня впервые принимали за чертово колесо, — это человек.

Мой голос прозвучал неуверенно.

— Вот как...

— Ага.

— Извините.

— Ничего страшного.

— До свидания.

— До свидания. С праздничком, — в тот день что-то отмечали.

— И вас с праздничком.

Я повесил трубку и подумал, что незнакомец на другом конце провода наверняка звонил чертовому колесу в парке Пушкина. Слишком печальным и сочувствующим казался его голос.

Это колесо было старым, относительно невысоким и ржавым. Разноцветные кабинки с облупившейся краской скрипели, покачиваясь на ветру. Внутри стояли истерзанные, исцарапанные ножичками лавки, которые можно было читать как летопись.

Кривыми бороздами темнели даты чьих-то веселых катаний. Многие из них записывались еще на старорежимный манер, например, 05/VII.89 — с обязательной римской цифрой, обозначающей месяц, и косой чертой, отделяющей его от дня. Года с 1995-го произошел слом эпох, Рим окончательно пал, и месяц в дате начали обозначать, как мы привыкли — арабскими цифрами. Примерно до «нулевых» их усердно царапали и выскребывали на пластиковых сиденьях, а после уже рисовали фломастерами, лаком для ногтей и белым школьным «штрихом-замазкой».

В центре кабинки из пола торчал круглый штурвал на длинной, словно у поганки, ножке. Его предназначение оставалось для меня загадкой, и я думал, что за этот железный обруч следует держаться, если колесо решит куда-нибудь ускориться.

Конструкция в парке Пушкина походила на чертово колесо из Припяти и вызывала затхлые, потертые и какие-то позавчерашние эмоции, будто катилось назад — во времена, когда месяц в дате записывали римскими цифрами.

Впрочем, в последние годы на нем почти не катались: конкуренция согнала клиентов с истыканных сидений, и люди предпочитали улетать под облака верхом на современных, высоких колесах обозрения с музыкой, Wi-Fi и мягкими креслами. При

желании прямо в закрытые, безопасные кабинки подавали шампанское и ананасы. В городе работало несколько таких каруселей — лощеных и актуальных, на их фоне колесо в парке Пушкина выглядело приспущенным.

В какой-то момент мне казалось, что я являюсь единственным человеком, который пользуется аттракционом. По неким иррациональным, неведомым причинам колесо, поскрипывая и гудя, крутилось, даже несмотря на ничтожный спрос. Железная ось вращалась и вращала планету, а я платил восемьдесят рублей и с удовольствием вращался в бледно-желтой кабине.

Принципиальной проблемой колеса обозрения в парке Пушкина являлась даже не его унылость и отсутствие Wi-Fi, а то, что нечего было обозревать. Дело в том, что рядом с парком, на месте бывшего танкового училища, построили жилой комплекс — поляну траурно-серых, однотипных панелек.

Одна из них шестнадцатизэтажным параллелепипедом выросла буквально впри-тык колесу, которое оказалось ниже здания, поэтому у человека в кабине имелся выбор: либо смотреть на фасад дома, либо в другую сторону, где ничего интересного.

Я предпочитал в тишине смотреть на панельку: без особого интереса, безучастно, наблюдая за жизнью большого дома. В этом медленном, скрипучем вращении мне казалось, будто моя жизнь отматывается назад, словно в нее, как в старую кассету, засунули карандаш и крутят, крутят, крутят, экономя заряд батареек в аудиоплеере. Перемотка успокаивала, настраивала на философский лад, позволяла посмотреть на себя сквозь время. На себя до ошибок, до спотыканий, до жизненных прорех и колдобин — на себя в окружении фонариков и гирлянд.

Почему-то мне часто махали руками и улыбались жильцы этой скучной панельки: дети, девушки, даже мужчины. Они показывали пальцами и передавали невербальные приветы, кто-то хлопал в ладоши, кто-то звал домашних, указывая на меня, как на необычное оптическое явление или комету. Было непонятно, кто все-таки пользуется аттракционом: я или они?

Мои катания вскоре закончились — наступила зима, колесо покрылось пушистым инеем, на красные, желтые, зеленые кабины нахлобучили снежные ермолки. А ближе к весне колесо разобрали и, вероятно, сдали на металлолом — сеанс окончился, и я ходил грустный. И вот — внезапный звонок!

На следующий день после него я решил перезвонить человеку и сказать что-то вроде: «Вчера вы звонили на чертово колесо. Я, конечно, не оно, но мне кажется, я понимаю о чем вы. Мне тоже не хватает этой вращающейся ностальгии, давайте обсудим это, пообщаемся, кофе попьем или сидро».

Набрал сохраненный номер, но металлический женский голос сказал: «Абонент в сети не зарегистрирован». Возможно, мне позвонило само чертово колесо из прошлого. В конце концов, начало беседы было таким: «Алло, это чертово колесо».

Серп и молот

На крыше серой хрущевки возвышался железный серп и молот — последний солдат империи. Под ним с утра до вечера kloкотали скороварки капитализма: ларьки с шаурмой, торговые центры и спа-салоны. Они чадили и шумели, а он одиноко висел, как тот лермонтовский парус, и тихо ржавел.

Металлические серпы и молоты почти везде в городе сбили и разломали, а про этот забыли.

В один осенний день его основание окончательно разъела ржа, подул северный ветер, и железный серп и молот глухо упал на голову начальника департамента экосистем и точек устойчивого развития.

Тело увез катафалк с надписью «Вечный зов». Торговцы шаурмой гортанно галдели и с разных ракурсов фотографировали на телефоны железного убийцу, который безучастно лежал в луже. Рядом стоял начальник местного ЖЭКа. Он переживал, что всех собак спустят на него, и, чтобы отогнать тревожные мысли, стал размышлять, что бы такое приладить на освободившееся место.

«Снеговика, наверное, повесим из светодиодов», — бормотал про себя начальник ЖЭКа, теребя в руках «жириновку».

А тем временем неповоротливая система начала скрипеть шестеренками. Завели уголовное дело, ведь кто-то должен ответить за несчастный случай, кто-то же выращивал этого ржавого динозавра на крыше. Кто-то его вовремя не снял, проглядел, прошляпил.

Серп и молот вытащили из лужи, погрузили в бортовую «газель» и в качестве вещдока привезли в полицейский участок.

— Семеныч, ты что, хочешь, чтобы у меня эта хрень в кабинете стояла? Она ж все пространство займет! — в сердцах сказал следователь районного УВД майор Иван Подкорытов своему коллеге — капитану Федору Семеновичу Паучкову.

Паучков вместе с курсантами академии МВД притащил огромный серп и молот к кабинету на втором этаже. Конструкция грязная и колючая, пока они ее тащили — в нескольких местах порвали казенный линолеум и перепачкали коридор ржавой кашей.

— И куда ж мне его? Это ж вещдок! — сказал Семеныч.

— Уносите его. Куда-нибудь во двор, где у нас, это самое, однорукие бандиты конфискованные стоят. Там под навесом есть место, — ответил ему следователь и подумал, что до пенсии по выслуге осталось два года, точнее, целых два года.

Следствие ни к чему не пришло. Поначалу хотели обвинить начальника ЖЭКа, ведомство которого должно было следить за крышей, но вскоре выяснилось, что по документам на этом месте уже пять лет висит баннер с рекламой ежегодного конкурса «Народный участковый», заказчиком которого является ГУВД.

Куда делся рекламный баннер, никто не знал, как не знал, был ли он вообще. В последний раз, когда начальство потребовало предоставить отчет о подготовке к конкурсу, Подкорытов попросил старшую дочку Полину прифотошопить баннер к фотографии дома.

Чтобы не подставляться под проверки, дело спешно закрыли.

— Человека ж не вернешь, — философски заметил Подкорытов, когда курил с Паучковым на лестнице. — Тем более, это самое, директор департамента экосистем и точек устойчивого развития, у него ж прописка московская, мы запросы делали, они нам какую-то хрень в ответ отправляют. Что, дескать, в базах такого человека нет. То есть как бы его вообще не существует.

— Труп есть, а человека нет? — спросил Паучков. — Я лично труп видел. Мужик такой среднего возраста, полноватый, в синем пиджаке, брюки со стрелками, портфельчик, пустой почему-то.

— Первый раз, что ли? Просто обычно это со всякими бомжами случается, а тут целый директор департамента экосистем и точек устойчивого развития. Хотя знаешь, а ведь и с департаментом этим черт-те что происходит. Непонятно, кто их учредитель, вроде они к области относятся, а вроде и федеральная структура. Звоним — трубку не берут, с офиса куда-то переехали. По документам тоже ничего не понятно. Чем они только занимались?

— Да фигней какой-то. Ничем. Понятно ж из названия.

— Ага, — Подкорытов подкурил еще одну сигарету и прислонился спиной к перилам.

Однажды весной, во время ежегодного ведомственного субботника железный серп и молот вместе с другим металлоломом отправили на переплавку.

Он еще несколько лет пролежал, придавленный старым холодильником и карданным валом, прежде чем попал на Волгоградский тракторный завод, где из него сделали... трактор? Нет, трактора там больше не делают. Из серпа и молота, убившего директора департамента экосистем и точек устойчивого развития, изготовят замечательную орешницу: запекать орешки со сгущенкой. На предприятии вместо тракторов делают орешницы.

Таким образом повторился сюжет сказки Ганса Христиана Андерсена «Старый фонарь». Старый уличный фонарь — друг звездочки, ветра и селедочной головы — после смерти стал подсвечником, а ржавый серп и молот стал орешницей.

В первый день пенсии следователь районного УВД Иван Подкорытов проснулся очень рано, было еще темно. Тихо, буквально на цыпочках, чтобы не разбудить жену, прошел на кухню. Достал из холодильника початую бутылку водки, выпил сто грамм, закусил огурцом, сел за стол и раскрыл ноутбук.

— Теперь с утра пить будешь? — жена все-таки проснулась и заворчала.

— Слушай, мать, знаешь, хочу орешков со сгущенкой, как в детстве, помнишь? В магазине фуфло какое-то, мы с мужиками покупали. Приготовишь, а? Вот тут на «Вайлдберисе», я вижу, продаются, Волгоградский тракторный завод делает, представляешь. А в войну танки делал.

Иван Подкорытов еще какое-то время посидел в сети, а потом снова выпил и проспал до обеда. Спешить ему было некуда. Майору приснилось детство. Советский Семипалатинск, и он маленький на залитой солнцем кухне ест обжигающие орешки со сгущенкой.

*К 80-летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады*

Евгений ЛУКИН

БЛОКАДНЫЕ ФРЕСКИ

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ

«Вода, мука и молитва» — так определяли состав блокадного хлеба ленинградцы. Для увеличения его выпечки в муку добавляли отруби, жмых, березовые почки, даже пищевую целлюлозу. Старый пекарь Даниил Иванович Кютинен, всю жизнь проработавший на хлебозаводе, умер от голода у печей с горячим хлебом.

Для блокадного хлеба святого
По сусекам муку собирал,
Из мешка высыпал холстяного
И пылинки со стен соскребал.

Добавлял и березовых почек,
И подсолнечный жмых добавлял.
Словом сдабривал каждый кусочек
И горячий слезой окроплял.

Был на глину похож хлеб блокадный
И от горького горя тяжел.
Но в нем теплился дух благодатный,
Чтобы каждый надежду обрел.

Старый пекарь как ангел алтарный,
Добрый пастырь при всякой судьбе,
Он от голода умер в пекарне,
Но не взял ни крупички себе.

Евгений Валентинович Лукин родился в 1956 году. Петербургский поэт, писатель, переводчик, историк. Окончил Педагогический институт имени А. И. Герцена. Работал учителем, журналистом, проходил военную службу. Автор 40 книг поэзии и прозы. Член Союза писателей. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Санкт-Петербурге.

ГОЛОД

В каждой ленинградской семье сохранился рассказ о страшном блокадном голоде. Когда началась война, актрисе Алисе Бруновне Фрейндлих было шесть лет. Хозяйство в семье вела бабушка Шарлотта. Получив по карточкам хлеб, она запирала его в шкафу и выдавала строго по часам. «Я, маленькая, сижу перед шкафом, — вспоминала актриса, — и умоляю стрелку часов двигаться быстрее — настолько хотелось кушать».

Был шкаф похож на истукана —
Угрюм и мрачен, груб и слеп.
Достоин печки был жестяной,
Но в нем всегда хранился хлеб.

Хранился он за мощной дверцей,
Которую не отворить.
У шкафа не имелось сердца —
Он не способен был любить.

Затем Алиса и молилась
Не истукану, а часам,
Чтоб дверца поскорей открылась
От заклинания: «Сезам!»

И в долгожданную минуту
Лишалась дверца мощных скреп:
Являлось сказочное чудо —
Блокадный ленинградский хлеб.

На деле бабушка Шарлотта,
Владея золотым ключом,
Дарила девочке голодной
Картину с радостным концом.

БЛОКАДНАЯ ЭКСКУРСИЯ

С началом войны бесценные картины Эрмитажа были эвакуированы на Урал. На стенах остались висеть только рамы. Весной 1942 года начальник охраны Павел Филиппович Губчевский провел для сибирских призывников, отправлявшихся на фронт, экскурсию по пустым залам Эрмитажа.

Укрыла на Урале стража,
Подальше от враждебных стран,
Сокровища из Эрмитажа —
Джорджоне, Рембрандт, Тициан.

Не стало ни полотен ценных,
Ни изваяний по углам.
Лишь рамы на музейных стенах
Раскинулись то тут, то там.

И вдруг солдаты строем важным
Вошли сюда — за взводом взвод.
Их вел по залам эрмитажным
Единственный экскурсовод.

Вставал у рамы опустелой:
«Вот — Тициан! Великий дар!
Взгляните: крест несет тяжелый
Христос — небесный комиссар».

Он воздавал хвалу Джорджоне:
«Представьте: юная Юдифь
Повергла фюрера на троне,
Мечом могучим поразив».

Он так живописал словами,
Что рембрантовский Авраам
Как бы сникал перед глазами
И острый нож бросал к ногам.

И каждый из солдат не даром
Вскипал от ярости, сравнив
Себя с распятым комиссаром
Или с разведчицей Юдифь.

Ведь каждый был готов из мрака
Идти сквозь огненный буран,
Где поведут его в атаку
Джорджоне, Рембрандт, Тициан.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ

Зимой 1942 года дирижеру Карлу Ильичу Элиасбергу поручили исполнить «Ленинградскую» симфонию композитора Д. Д. Шостаковича, посвященную осажденному городу. Дирижер собирал музыкантов повсюду — от передовой до госпиталей и даже моргов. Премьера симфонии состоялась 9 августа 1942 года.

Симфония подобна чуду!
Ее сыграть — большая честь.
И дирижер собрал повсюду
Всех скрипачей — какие есть.

Трубач из роты пулеметной,
Хоть страшная метель мела,
Явился к сроку в зал холодный,
Где репетиция была.

Туда же валторнист роскошный,
Боец зенитного полка,

Спешил по наледи дорожной,
Поглядывая в облака.

На санках, будто на карете,
Доставили флейтиста в зал.
Альтист, лежавший в лазарете,
На костылях приковылял.

— А где ударник молодецкий? —
Осведомился дирижер.
Ему ответили: — В мертвецкой!
Там слушает небесный хор.

И отыскав в мертвецкой тело,
«Воскресни!» — дирижер шепнул.
И вдруг мертвец заиндевелой
Рукою тихо шевельнул...

А в день премьеры среди лета
Он так симфонию сыграл,
Словно с того вернувшись света,
Он смертью смерть опять пограл.

КАБИНЕТ ФАУСТА

В годы блокады читальный зал Публичной библиотеки находился в так называемом кабинете Фауста, похожем на средневековую монастырскую келью. Здесь хранились редкие книги, а посередине стояла статуя немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга. Однажды сюда попал немецкий снаряд...

Из тьмы блокадной, бесконечной,
Не зная никаких преград,
Ворвался в зал библиотечный
Крупнокалиберный снаряд.

Немецкий канонир, наверно,
Не просто так сюда стрелял,
А по наводке дальномерной —
Туда, где тихий свет сиял.

Он круг старинных фолиантов
Разрушил бы в единый миг.
Ему был ад милее Дантов,
Чем райский сад ученых книг.

Как варвар, темен, злобен, меток,
Он просвещение отверг.
Ему был чужд далекий предок —
Первопечатник Гутенберг.

Но тут — «Остановись, мгновенье!» —
Ученый секретарь сказал...
И вдруг снаряд, прервав движение,
Болванкою свалился в зал.

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА

Осенью 1941 года немцы, оккупировав Царское Село, похитили Янтарную комнату из Екатерининского дворца. Она предназначалась для музея мирового искусства, который задумал создать Гитлер. Временно ее разместили в Кёнигсбергском замке. Во время штурма Кёнигсберга советскими войсками Янтарная комната таинственным образом исчезла. Современные исследователи полагают, что она находится в США.

Гремя подковою железной,
Сверхчеловек вошел сюда
И обмер от красы чудесной,
Где слились пламень и вода.

Пред ним на зеркале паркета
Сиял янтарный кабинет,
Словно восьмое чудо света,
Которого прекрасней нет,

Сказал: «Не может варвар русский
Таким сокровищем владеть.
Едва ли высшее искусство
Ему дано уразуметь.

В музее всех народов мира,
Как наш великий вождь изрек,
Ему отыщется квартира,
Ему найдется уголок».

И вот восьмое чудо света,
Сокрытое под груз иной,
Доставил грузовик секретный
В тевтонский замок ледяной.

И с той поры над грузом ценным,
Как бы исчезнувшим навек,
В музее мира сокровенном
Трясется тот сверхчеловек.

А нам завещано отныне
Найти янтарный кабинет
И тайны отыскать иные
В пустыне отпылавших лет.

НОЧНОЙ ТАРАН

Ночью 4 ноября 1941 года младший лейтенант Алексей Севастьянов совершил первый ночной таран немецкого бомбардировщика в небе над Ленинградом. На допросе пленный немецкий ас заявил: «Русские сами виноваты, что мы бомбим их города. Почему они не сдаются?»

Идя на невскую столицу,
Он каждый камень ведал тут.
Еще лихой тевтонский рыцарь
Сюда прокладывал маршрут.

Фриц говорил: «Мечи куются
Затем, чтоб в битве победить.
Пусть лучше русские сдаются,
И мы не станем их бомбить».

Фриц говорил: «Отдайте земли,
Отдайте сад, отдайте град.
Все эти вотчины издревле
Нам, избранным, принадлежат».

Бомбил его бомбардировщик,
Хотя кругом царила тьма,
Подряд вокзалы, рынок, площадь,
Больницы, мирные дома.

Вдруг под ночными небесами
Взметнулся русский ястребок,
И протаранил лопастями
Залетному тевтону бок.

Среди Таврического сада
Пришлось налетчику упасть.
Другой земли теперь не надо —
Он этой нахлебался всласть.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

В воскресенье 31 мая 1942 года в Ленинграде состоялся первый футбольный матч. Его провели наперекор фашистской пропаганде, которая объявила Ленинград «городом мертвецов». Трансляция футбольного матча в эфире произвела сильное впечатление на немецких солдат, осаждавших город на Неве.

Ефрейтор был не при параде.
Слух до ефрейтора дошел,

Что в осажденном Ленинграде
Играют мертвецы в футбол.

Он пояснял: «Нам говорили,
Что Ленинград отдал концы,
А тут передают в эфире:
В футбол играют мертвецы».

Был гауптман не при параде,
Ему общаться было лень:
«Что ж, в осажденном Ленинграде
Настал, видать, воскресный день!

У русских все не по-немецки:
Умом их не понять — хоть плачь.
У них живые спят мертвецы,
А мертвые играют в мяч!»

Ефрейтор был в недоуменье.
Он в морг прифронтовой полез.
Узнал, что в это воскресенье
Никто из фрицев не воскрес.

КАЗАНСКАЯ ИКОНА

По преданию, зимой 1942 года Антиохийскому митрополиту явилась Богородица, Которая предрекла, что осажденный Ленинград будет спасен, если его обнесут по кругу чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Вскоре с Комендантского аэродрома взлетел самолет со святыней на борту...

Пророк сказал, вещая,
Что город устоит,
Когда его святая
Икона защитит.

Винтом взметая вьюгу,
Поднялся самолет,
Чтоб совершить по кругу
Спасительный полет.

С иконою Казанской,
Сиявшей ярче дня,
Он полетел с опаской
Вдоль линии огня.

Но сквозь огонь ударный,
Сквозь вспышки, грохот, дым
Летел он, светозарный,
Как ангел, невредим.

Круг очертив священный,
Спустился наземь он,
И город осажденный
Был от врага спасен.

БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ

Перед самой войной часовня Ксении Блаженной, что на Смоленском кладбище, была закрыта и разграблена. Однако в годы блокады к поруганной святыне непрерывным потоком шли изможденные люди, целовали холодный камень и оставляли записки с мольбой о спасении и победе над врагом.

Есть у Смоленки, тихой речки,
Блаженной Ксении приют.
Пылают восковые свечи
Огнем неугасимым тут.

А накануне тьмы блокадной
Был этот храм опустошен.
Но все ж струился свет лампадный
Из заколоченных окон.

Видать, там Ксения святая
Творила чудеса свои,
Отчаявшийся люд спасая
Великой силою любви.

И люди ей несли записки
Сквозь мрак блокадный без конца,
Моля спасти от смерти близких —
И мать, и сына, и отца.

Она записки их читала
И перечитывала вновь,
А после кротко отвечала,
Что смерти нет, а есть любовь.

И каждый, кто за жизнь сражался,
Кто слышал благодный ответ,
Воочию тот убеждался,
Что есть любовь, а смерти нет.

И потому теперь у речки,
Где Ксении святой приют,
Пылают восковые свечи
Огнем неугасимым тут.

РАССКАЗЫ

РОЗОВЫЙ БАНКОМАТ

(Сказ об одном паникере)

— Надя, ты спишь?

— А? Что? Сколько время-то? На работу встаем же утром, — промяукала девушка.

— После такого разве уснешь?..

Молодая пара средних лет ворочалась в помятой кровати: он от закипающих в голове планов, она от прерванного сна.

— В общем, ты как хочешь, а я уже точно не усну, — заявил Григорий, продолжая нервно водить пальцем вверх-вниз по потертому экрану американско-китайского смартфона, заикливо хмуря облысевший лоб при перечитывании взбудоражившей и без того беспокойный ум новости. — На вон, я тебе сейчас процитирую.

— А чего прям сейчас обязательно? До утра никак не потерпит? — хрипло пробурчала Надя. — Ладно, валяй, все равно и так уже разбудил.

— Читаю: «Банк России с девятого марта по девятое сентября две тысячи двадцать второго года запретил банкам выдавать клиентам больше десяти тысяч долларов и продавать им наличную валюту». Между прочим, новость от «BBC News», — и тихо добавил: — По ходу дела реально всё.

— Чего все-то? Ну, запретил и запретил. Дальше-то что? Или ты от меня за границу бежать собрался со всеми деньгами? — спросила она. — А вот и не выпустят тебя со всеми твоими неоплаченными штрафами и просроченными платежами по алиментам. Хотя сегодня на поезде все равно далеко не уедешь, — и ухмылка отразилась на ее модных гиалуроновых губах.

— Давай вот сейчас не будем приплетать. Настроение совсем не то. Да и, если честно, объяснять вообще неохота. Опять начнешь тормозить и задавать дурацкие вопросы.

— Нет уж. Давай объясняй, раз такое дело, — и она улеглась на спину.

Гриша, как обычно бывало в подобных случаях, пришел в раздражение, но психовать не стал, а собрался с силами и начал доносить созревшую идею до подружки. Печально вздохнув, он выдал скороговоркой заправского телеведущего:

— Если без особых подробностей, то пока не поздно, пока остальные не очнулись, нам с тобой надо все рублевые накопления перевести в доллары или лучше даже евро и сразу же их снять в ближайшем банкомате, потому что это точно всё!

— Ничего не понимаю, — Надя морщила бледный лоб. — «Точно всё» — это ты сейчас про что конкретно?

— Это было ожидаемо и предсказуемо.

— Ну, извините. Моя фамилия не Кашпировская, мысли не читаю.

— А он их и не читал. Он лечил. Давал установку по телевизору.

— Не знаю, мне казалось, что читал.

— Ладно, проехали. Поясняю еще раз: агентство «Moody's» уже все давно просчитало на несколько месяцев вперед и пришло к выводу, что пятнадцатого апреля в России будет дефолт! Как тогда, в девяносто восьмом году, когда доллар вместо шести рублей стал стоить тридцать и цены на товары выросли во много раз. Только сейчас он будет стоить не сто, а все пятьсот. Теперь понимаешь?

— Про «Moody's» ты мне ничего до этого не рассказывал, первый раз про них слышу. Это вообще что?

— Агентство, — сухо процедил Григорий.

— Ну, хорошо. Совсем не убедил, но пусть будет так. И чего теперь делать-то? — поинтересовалась девушка.

— Одеваться и ехать! — сказал он с решимостью знатока игры «Что? Где? Когда?», дающего досрочный ответ.

— Вот здорово придумал! Ну-у-у... одевайся и езжай! Только маленький вопрос: а куда? Время полпервого ночи, а круглосуточных отделений банков даже в Москве пока вроде не существует. Или, может, я опять чего-то не знаю? В общем, все это странно, очень странно.

— Еще раз тебе повторяю, — раздражение Гриши усиливалось с каждым вопросом, — мы поедem не в банк. Мы поедem в банкомат, а точнее, в банкоматы.

— А я-то тебе чем смогу помочь? Думаю, что с набором ПИН-кода ты и без меня прекрасно справишься.

— Ха! Если бы все было так просто, — огрызнулся Гриша. — Эти, скорее всего, введут ограничения на снятие по одной конкретной карте.

— Так возьми и мою. Ее ПИН-код ты тоже знаешь.

— Боюсь, что исключительно нашими картами мы с тобой не обойдемся.

— Нашими? Мы? — брови Нади приняли форму домика. — Мне тоже все-таки ехать?

— Ехать, — строго ответил Григорий, — обязательно ехать. Но в другой машине.

— О, господи! Чего задумал-то? — растерянность Нади набирала обороты.

— Потом. Все потом.

Гриша уже успел облачиться в джинсы и перебирал свитера, аккуратно сложенные в стопку, от темного к светлому, подбирая наряд для этого важного и в каком-то смысле торжественного мероприятия. Мысль о том, что он умнее, хитрее и проворнее всех, возбуждала азарт, умноженный на победное чувство обладателя тайного знания, которое значительной части населения столицы станет доступно лишь утром.

По крайней мере, он сам себя уверил, что везде и все должен успеть, но нервозность неприятно колола, а сомнение гулко отзывалось: а вдруг я не один такой?

Несмотря на смятение, решение было принято, так что оставалось только надеть пригетые на батареи носки, развешанные с вечера заботливой Надей, обуть «тимберленды», накинуть короткую куртку, в которой водить ему было комфортно, и отправиться в ночь. Григорий имел нюх на приличные вещи, слыл завсегдатаем дисконт-центров и, хоть и не был записным модником, одевался со вкусом.

— Так в чем смысл-то? Может, все-таки расскажешь? — спрашивала Надежда.

Тайная ухмылка не сходила с его лица, свитер-кардиган застегивался не на тот ряд брендированных мелким шрифтом пуговиц, что, собственно, Гришу не смущало, так как мысль его была уже далеко за пределами брежневской девятиэтажки. Ему так не хотелось делиться сокровенным, даже несмотря на то, что она скоро сама обо всем до-

гадается, да и логично было бы все-таки посвятить Надю в курс дела, если уж рассчитываешь на ее безоговорочную помощь. Смирившись с неизбежностью, он выдавил из себя:

— Значит так. Я спускаюсь вниз, начинаю прогревать обе машины, а ты в ускоренном темпе надеваешь на себя первое попавшееся. А то я знаю, как ты обычно собираешься. Ты, кстати, где свою запарковала?

— Ну, там, с торца дома. И то не с первого круга. Еще перед праздниками. Других мест и не было, — возмущение пробежало по ее лицу, — опять ты мне ничего не объяснил...

— Потом, — глухо донеслось из-за дверей скрипящего лифта. — Бли-и-ин, сигареты не взял, — нервно шаря по карманам, негодовал пассажир и резким движением застегнулся до подбородка.

В открывшуюся дверь прибывшего лифта просунулась черная морда пса средних размеров и уткнулась в пах спешащего Гриши.

— Намордник носить надо! — вспылil Григорий.

— Да пошел ты! Сам носи, — флегматично отозвался хозяин лабрадора, задорно и безобидно вилявшего хвостом.

— Как вы, собачники, достали! Весь парк нам загадили, идиоты паршивые! Что, так трудно убрать, что ли? Я тебе это все в ящик почтовый положу! Понял?! Ладно, с тобой потом пообщаемся, — последняя фраза была выплюнута уже в закрытые двери, так что вряд ли от нее был какой-то практический толк, так, чисто для выпуска пара.

«Надо бы тете Гале с девятого позвонить и рассказать, какой придурочный колхозный хам к ней заехал», — размышлял Гриша, выходя из подъезда.

Мартовская ночь была безоблачна и морозна. Редкие прохожие, идущие с остановки, виднелись на другом конце вытянутого зеленым батоном дома. Улица спала.

Электронный сигнал «вольво» противно пропищал на весь двор, дверь с тихим хлопком закрылась. Гриша остывшими руками заправлял ключ в замок зажигания.

— Так. Надо бы в приложении посмотреть, куда конкретно ехать за евро. Может, тут у нас в районе есть варианты? Тогда Надю, в общем-то, можно было и не поднимать, — рассуждал он сам с собой, пока шведский двигатель бесшумно разгонял холодное масло по цилиндрам.

Мобильный телефонный аппарат, который сам по себе часто бывает гораздо умнее своего хозяина, способен оказывать неоценимую помощь и поддержку, а также служить верой и правдой, пока упавший заряд батареи не разлучит вас и все эти мессенджеры, музыкальные приложения, социальные сети (порой частично запрещенные), карты, навигаторы, новостные ленты, VPN-сервис (Гриша был готов к любым ограничениям), кино, ненавистное ЖКХ, такси, каршеринг. А сколько игр! Но сейчас важнее и нужнее банковского приложения ничего быть не может. Введя цифры числа и месяца своего рождения, он уставился в экран, сосредоточенно сжав губы.

— Вот те раз. Рано понадеялся. У нас поблизости банкоматы с одними только рублями, придется все-таки пилить в центр. Да где она там застряла-то? — рука занеслась над клаксоном, но вовремя остановилась. — А, вот она идет, копуша!

Знакомая куртка, усеянная латинскими буквами F, рябила в глазах.

«Хорошо, что не Z, — подумал томящийся в ожидании, — я бы этого не пережил».

— Можешь чуть вперед проехать, я тут не сяду, — языком жестов объясняла Надя.

«Ага. Щас тебе», — про себя пробурчал Гриша, но сурдопросьбу выполнил.

— А дверь ты так и не научилась нормально закрывать! В своей машине так же хлопаешь?

— Отстань. Давай лучше ближе к делу. Я так понимаю, до нее ты пока что не добрался.

— Нет, я банкоматы фильтровал.

— Так мне с тобой ехать или как?

— Или как. Будем на связи, пиши в «Телегу» или звони. По ситуации, короче. А вот и «мазда» твоя, ключи забирай и выходи, а я дальше поехал — все инструкции по телефону.

Дверь хлопнула, Гриша, не медля, надавил на педаль газа и скрылся за поворотом, оставив ненакрашенную Надю (что для нее было чем-то из ряда вон выходящим) наедине с ее красной японской подругой, мирно дремлющей в переулке среди металлических собратьев.

«Ближайший на Тимирязевской... Хммм... Нет, этот и на Войковской я оставляю для нее, чтоб ей в центре Москвы не заплутать, а сам начну с Белорусского вокзала», — маршрут был построен в голове Григория, работавшей в ту ночь не хуже любого навигатора.

Светофоры Дмитровского шоссе местами уже перешли в желто-мигающий режим, что, конечно, ускоряло процесс перемещения. Наимжоны, Алиджоны и Мирзабеки, вероятно, завершали многочисленные послепраздничные заказы. Через каких-нибудь шесть-семь часов здесь снова будет не протолкнуться, но пока что детище шведского автопрома радостно, уверенно и безопасно везло Гришу по направлению к Третьему транспортному кольцу.

— Алло, ну, я завелась, прогрелась и даже немного накрасилась, — доложила Надя, — куда ехать-то?

— Твои цели — Тимирязевская и Войковская. Так, подожди, я перезвоню, — и Гриша стал соображать по поводу режима работы этих банкоматов.

«Вот кидалово! Закрыто до утра. Все-таки придется засылать эту курицу на охоту в дальние края, — разочарованно пронеслось и ударилось в его черепной коробке. — Ладно, будем надеяться, что разберется. Уже не маленькая. Салоны-то красоты она ведь как-то находит».

— Короче, Тимирязевская и Войковская отменяются. Придется ехать на Автозаводскую. Навигатор включи, там бизнес-центр есть, вот туда.

— Ого! Так далеко! Но я доеду сама, дорогу знаю, не потеряюсь.

— Да ладно? Это каким таким образом?

— Ну, ты забыл, что ли? Помнишь, я тебе про массажный салон «Тайский слон» рассказывала, вот он как раз там, неподалеку. Я туда, вообще-то, почти с полгода периодически хожу.

«И я тоже», — подумал Григорий, но о своих походах на массаж в салон «Игривый Буратино» умолчал.

Савеловский вокзал уже остался позади. Автомобильная свобода ночной Москвы. Бутырский Вал был пройден на грани штрафных санкций, хотя разве можно было забивать себе голову такими пустяками? Но Гриша, несмотря на возбужденное состояние, бдительности не терял и правила худо-бедно, но соблюдал.

«Еще бы было где бесплатно воткнуться, — сокрушался шофер, про себя считая, во сколько ему обойдутся эти минуты на парковке у Белорусского вокзала, — вроде пятнадцать минут есть неоплачиваемых? Или пять? Да олень его знает, этого ханты-мансийского градоначальника. Курить хочется».

Выйдя из машины, Гриша стрельнул сигарету у скучающего таксиста, который, к его счастью, еще не успел перейти на электронные, да и вряд ли перейдет.

«Курение вызывает инфаркты и инсульты», — успел прочитать наш герой на пачке.

«Новости от нашего ЦБ вызывают инфаркты и инсульты, — сам себе сказал он, — и импотенцию, разумеется».

Синий «Честер» моментально впитался в легкие. Смятый фильтр щелчком был отправлен догорать в мусорный бак. Никотиновый удар напряжение не снял, но немного отвлек. А розовый банкомат уже виднелся в стройном ряду своих товарищей из конкурирующих фирм.

Чрезвычайное людское оживление несколько смутило Гришу. Очередь смотрелась неестественно и пугающе. Где это видано, чтоб в полвторого ночи за наличными средствами организовывалась такая внушительная толпа! Понятное дело, что вокзал, но откуда столько?

Публика с чемоданами и без хаотично курсировала в окрестностях банкоматного дворика. Отделить на глаз пассажиров от ожидающих своей очереди не представлялось возможным. За всем этим столпотворением с суровым выражением лица с росписи потолка наблюдал Георгий Победоносец, сражающий змия. Христианскому святому было явно не до всей этой мирской суеты.

— Кто последний? Крайний? Замыкающий? — поинтересовался Григорий у бородатого мужика в красном синтетическом пуховике до самых кед. В античные времена он легко бы сошел за римского легионера.

— Я, — односложно и понятно по-военно-спортивному отозвался тот.

— За вами тогда буду.

— Ну-ну, — так же однообразно ответил бородач.

Каким-то подозрительным это «ну-ну» показалось Грише. «Ну-ну» с подвохом. Открыв приложение ПИНК-банка, он с досадой обнаружил, что наличные евро тают, как грязный мартовский снег — медленно, но неумолимо.

Стояние в ожидании цветных западных бумажек не имело уже никакого смысла, так что Гриша, плюнув про себя и про себя же выругавшись, двинул в сторону автомобиля, парковку которого он в своем обменном угаре оплатить забыл.

— Алло, ну ты где там? — поинтересовалась боевая подруга, подрулившая к Автозаводской.

— На Белорусском вокзале я.

— Все-таки решил от меня свинтить? — то ли в шутку, то ли всерьез спросила Надя.

— Банкомат тут есть, а толку от него нет.

— В смысле? Не поняла?

— Пока мы там с тобой копались, народ уже все доступные евро снял. ОказываетсЯ, не я один такой, кто новости по ночам читает.

— Обалдеть! И чего теперь делать?

— Сам не знаю. Поеду в другое место, может, там поспокойней будет.

Неоплаченная стоянка так и осталось неоплаченной, а Гриша уже спешил к следующей точке. Вообще, вся эта гонка напоминала компьютерную игру, в которой необходимо было мотаться по городу, выполняя различные задания, только сейчас все было взаправду. Пожалуй, отнесись он к своему приключению как к многозадачному квесту с двумя героями, дело бы пошло куда веселей, а пока что оно ему было в тягость. Ведь выполнять миссии в игре, сидя с джойстиком в руках, нам почему-то нравится, а делать то же самое в реальной жизни — оставьте в покое. Не говоря уж про посещение органов государственной власти и многофункциональных центров. Хотя, надо сказать, уже во взрослом возрасте он компьютерные игры не особенно любил.

— Так, ладно. На вокзале не срослось. Поеду на Мантулинскую. Более пяти тысяч в наличии. Должен успеть, — успокаивал себя Григорий.

Какой-то очкарик на «шkode» особо не спешил по Грузинскому Валу, заняв единственную полосу для движения.

— Давай резче, козлина! — со злобой гудел Гриша. — Тормоз, лошара!

Миновав «ботаника», гонщик прорвался на Пресненский Вал, где было посвободней. Опять раздался телефонный звонок:

- Ну я в бизнес-центре, тут нет никого. Сколько денег снимать?
- Все снимай! Все, что есть на твоём долларовом счету.
- У меня только полторы тысячи.
- Снимай полторы, а дальше будем думать. Отбой!

Светофор на Пресне мучительно долго краснел, отсчитывая секунды до старта, но стыдно перед Григорием ему абсолютно не было.

Огни «Сити» деловито сверкали. Размышления о розовом банкомате играли в голове Гриши вместо радио, второпях забытого и невключенного. Часовая стрелка указывала на двойку. Многоэтажка Центра международной торговли в эту минуту казалась ему роднее дома.

Пропустив пару забитых автомобилями рядов, водитель чуть не свернул под кирпич, но, вовремя опомнившись, увидел освобождающееся парковочное место (ну хоть в чем-то повезло), технично заехав в установленную, хоть и потертую за зиму разметку, нехотя оплатил час и в темпе охотящегося гепарда устремился к зданию центра.

Еще издали он приметил подозрительное людское оживление у вращающихся стеклянных дверей.

- Ну ё-моё, тут тоже, что ли, такая подстава, как и на вокзале? — негодовал Григорий.

Проскочив мимо охранника, бдящего у металлоискателя, он сперва сунулся не в ту дверь, но в конечном счете, миновав незамысловатый лабиринт коридоров, пристроился за тем самым очкариком, которому он так злобно сигнализировал на Грузинском Валу.

«Вот тебе и тише едешь — дальше будешь, — припомнил народную мудрость Гриша, — однако интересно, как этот лох так быстро смог здесь очутиться? Я ж его еще на Пресненском сделал. Ерунда какая-то!»

— Извините, давно стоите-то? — поддельно вежливо поинтересовался Григорий, и что-то похожее на улыбку появилось на его лице.

Очкарик в дешевом пальто с катышками загадочно хранил молчание, глядя в сторону розового банкомата. Кивая в такт своим мысленным подсчетам, он на глаз определял количество человек, томящихся в очереди, а по губам читалось: «Один, два, три, четыре...»

«Обиделся, наверное, — предположил Григорий, — хотя с такими окулярами вряд ли он мог меня разглядеть. Чучело!»

Обойдя бывшего дорожного конкурента со стороны, он более настойчиво спросил:

- Скажите, как очередь-то? Двигается? Нет? Долго стоять?

— Я сам только что подошел, — раздался глухой бас, так что Гриша даже моргнул от неожиданности и слегка отстранился.

«Вот урод, а! С виду глиста глистой, а голос как у амбала вышибалы Вити из ночного клуба. Чудо природы! Давненько я, кстати, в клубе не был, — и мечтательно подумал: — Надо бы с Жанкой туда, как в старые-добрые...»

— Все зависит от того, кто сколько снимает, — вдруг отозвался молодой парень в коротких штанишках, стоящий на два человека впереди, — я вот уже минут десять здесь, пока что только двое прошли.

Народ в очереди, согнув спины, залипал в смартфонах. По движениям больших пальцев было понятно, что банковские приложения обновляются с невероятной частотой.

«У этого-то молокососа откуда валюта? — недоумевал Гриша. — Мамка, что ли, перевела? Айфон вот, я смотрю, тринадцатый — шикает. В мое студенчество такого и близко не было. Лазили все с кнопочными, и ничего».

— Ну, в принципе, логично, — ответил он с интонацией старшего и умудренного жизненными опытом человека, вступив в несодержательный диалог с юнцом.

— Доллары закончились! — громко, практически в один голос, как приговор, огласила пара (вероятно, супружеская), снимавшая в этот момент наличные средства.

По организованной, до настоящего момента молчаливой толпе прокатился гул разочарования. Были слышны отчетливые ругательства. Как по команде, часть скрюченных (среди которых числился и «ботаник») покинула занятые позиции и, не прекращая нецензурно выражаться, вяло побрела в сторону выхода. Другая же часть, чуть поменьше, продолжала вести осаду.

«Так тебе и надо, пугало! — ехидничал евроман. — Проваливай давай в свою лабораторию!»

Минуты казались часами. Григорий в ожидании переминался с ноги на ногу. Больше не в силах обновлять приложение и экономя заряд батареи, он сунул мобильник в задний карман джинсов.

«И туалета-то нет, — оглядываясь по сторонам в поисках указателя WC, скулил про себя Гриша, — ну сколько ждать-то можно?»

В кармане зажужжало — телефонировала Надя. С докладом:

— Ты там совсем про меня забыл? Как дела? Я все сделала, как ты сказал. Полторы тысячи на руках. Сажу в машину. Куда дальше ехать?

«Действительно. А куда дальше ехать? Если там свободно, то пускай и снимает тогда дальше. И не надо ей никуда кататься», — план вырисовывался сам собой.

— Запоминай. Заходишь в приложение и со своего рублевого счета перекидываешь средства на долларовый, — инструктировал Гриша свою удачливую подругу, — со всеми вопросами и запросами соглашаешься. Как поступят, сразу же иди обратно к банкомату и снимай по максимуму, сколько даст. Сейчас сможешь при мне это сделать?

— Если Интернет доступен, то попробую.

— Давай, я жду.

— Та-а-ак. Вроде работает. Захожу. Ага. Два, ноль, один, девять.

— Мне это все озвучивать необязательно, — раздражался он.

— Ну это ж мой ПИН-код. Кстати, год нашего с тобой знакомства. У меня везде такой стоит, одинаковый, — и благодарным голосом добавила: — Как ты и учил.

«Вот дура! — мысленно плюнул Гриша. — Конечно, если будет разный стоять, то все перепутает. Проходили. Знаем».

Преодолев злобу, он ответил:

— Молодец! Все правильно, так и надо, — ругаться с девушкой сейчас было бы контрпродуктивно, — что там дальше?

— У меня на рублевом сто пятьдесят тысяч с копейками. Сейчас гляну, почем банк предлагает купить баксы. Ого! Гришенька! Ты видел цену? Сто тридцать рублей за один доллар! Обалдеть! Что делать?

— Лучше бы не видел, — едва слышно произнес тот, — что делать?! Придется брать.

— Прямо на все?

— Не мелочись, Наденька, — процитировал он из всем известной новогодней комедии с интонацией Ипполита. Правда, шутки этой Надежда не поняла. — Тысяч десять можешь оставить. На мелкие расходы.

— Ок, как скажешь.

Тем временем настал Гришин черед вводить ПИН в розовом банкомате.

— Все. Я отключаюсь, буду евро снимать. Дальше сама. На связи.

— Пока-пока! — задорно отозвалось в трубке.

Прислонив яркую глянцевую карту к электронному датчику, он ударил четыре раза по клавишам, как по кнопкам игрового автомата, и с азартом заядлого посетителя казино принялся шарить по меню трясущимися пальцами. На его евросчете, откры-

том уже достаточно давно, лежало около четырех тысяч, купленных еще тогда, до всей канители, по девяносто рублей за штуку. В эту же сумасшедшую ночь банк предлагал не виданную ранее цену — сто сорок рублей!

«Совсем озверели! — негодовал Григорий. — Продажа по сто сорок, а покупка по сто пять! Это не просто грабеж! Это продуманный грабеж! Грабеж спланированный! Хотя какая, к черту, разница, — успокаивал он сам себя, — через месяц эти сто сорок превратятся в пятьсот! Надо менять. Все менять!»

И он принялся пересчитывать в уме (надо отметить, считать он умел очень хорошо), какое количество западной твердой, как ему казалось, валюты получится взять на отложенные два миллиона российских деревянных. Итого получалось более четырнадцати тысяч. Сам Гриша понимал, что из-за ограничений, введенных Центральным банком, заполучить наличными ему удастся всего-то лишь чуть более девяти, а остальное придется хранить на счету, но даже и эта перспектива рисовалась ему радужной и манящей.

На экране банкомата светилось, как призовое, итоговое число — восемнадцать тысяч двести восемьдесят пять. Дрожащей рукой игрок ввел желаемую сумму — девять тысяч. Аппарат, взяв несколько секунд на размышление, моргнул и, как бы извиняясь, выдавил: «Недостаточно наличных средств, введите другую сумму».

«Вот тварь! Так и знал, что мне уже ничего не достанется! — лицо Григория пошло багровыми пятнами. — И какую другую сумму прикажешь мне ввести?!»

Шаг на понижение он выбрал в одну тысячу. На восемь бездушная машина, больше не церемонясь, выдала ту же фразу, что и полминуты ранее. На семь — аналогично. Тогда Григорий, не без сожаления, пошел на уступки и набил четыре. Банкомат ненадолго призадумался, но через мгновение клиент, услышав характерное приятное шуршание, испытал долгожданную радость облегчения: в лотке, переливаясь фиолетовым и желтым, лежали заветные бумажки.

Молниеносно выхватив пачку из пасти, как будто опасаясь, что розовое механическое чудовище проглотит ее обратно, он, не пересчитывая, сунул деньги во внутренний карман куртки и вновь посмотрел на монитор. «Хотите продолжить операцию?» — как бы издеваясь, вопрошала металлическая жадина.

«Само собой хочу, да только есть ли смысл? — констатировал Гриша, слегка опомнившись. — Больше-то ты мне все равно не дашь».

Понимая, что лимит не исчерпан даже наполовину, Григорий на ходу, ссутулившись над голубым экраном мобильного гаджета, в который раз за ночь загружал приложение ПИНК-банка.

«Ну и куда теперь? — терзался он в сомнениях. — Поеду в какую-нибудь круглосточную „Азбуку вкуса“ в центре, так там уже местные богатеи все сняли, в бизнес-центрах, скорее всего, тоже ловить нечего. Хорошо бы по спальным районам прокатиться, но туда валюту не отгружают...»

Как витязь на распутье, со смартфоном вместо копья наперевес, наш герой мучился актуальной проблемой выбора: вроде бы он есть, а вроде и нет. Шагая неуверенно, словно пьяный, он даже и не заметил, как оказался в своей машине.

Заряд батареи приближался к опасному минимуму. Спасительный белый шнур, перемотанный изолентой на двух концах, функционировал с перебоями. Остаться без связи означало провалить всю операцию. Необходимо было рисковать.

— Ладно. Попробую на Таганке. А там уж как повезет, — наконец-таки решился Гриша.

Серебристая «вольво» зашуршала шипами по асфальту. Весь маршрут, по его расчетам, должен был занять минут двадцать. Свернув на набережную Москвы-реки, он

краем глаза полюбовался на одну из семи ярко подсвеченных мощными прожекторами сталинских высоток — гостиницу «Украина». Название ее громко произносить в общественных местах нынче не рекомендовалось.

«Красиво, конечно, но сколько электричества жгут, да еще и за мои налоги», — одновременно похвалив и поругав столичных управителей, выруливал он на Новый Арбат. Миновав короткий его отрезок, ночной гонщик встроился в предпоследний левый ряд на Садовом и, помня о двадцатикилометровом люфте, держал стрелку спидометра в районе восьмидесяти. Тем временем часовая стрелка уже ложилась на тройку.

Немного придя в себя, Гриша только сейчас осознал, что все это время ездит в абсолютной тишине, и рука потянулась к кнопке запуска радио, всегда настроенного на одну и ту же частоту.

«Эхо Москвы» в ответ лишь зашипело. Стукнув кулаком по рулю, он коротко выругался, вспомнив, что его радиоволна-фаворитка теперь находится в опале.

«Вот гады, — возмущение рвалось наружу, — взяли да и просто ни за что, — эту фразу Григорий протянул медленно и с выражением, — отрубили волну, которая столько лет героически оборонялась от нападков режима, донося до слушателей лишь правду. Пускай только попробуют мне заикнуться о свободе слова!» — и, огорченный, погрозил кулаком в сторону высотки МИДа, мимо которой он как раз проезжал.

Фонари дружно, во всю силу, заливали дорогу искусственным светом. Слева Григорий оставил бегущую по фасаду здания новостную строку, на которую даже и не подумал взглянуть, демонстративно отвернув голову в противоположную сторону. Пересекая Крымский мост (какое ненавистное наименование!), он бросил взгляд на спящий Парк Горького, в который когда-то в юности любил приглашать девушек на свидания.

«Да-а-а... было дело», — сладко причмокнув, он ненадолго погрузился в приятные воспоминания.

Порой его накрывали сентиментальные чувства, хоть и нечасто, но случалось. Тогда он доставал с запылившейся полки CD-диски с оцифрованными записями последнего школьного звонка или выпускного и, включив видео, с упоением комментировал (часто самому себе) уже не один десяток раз просмотренные кадры, заученные практически наизусть, сопровождая действо звонками бывшим одноклассникам, которые не особо-то и разделяли подобные восторги и, ссылаясь на занятость по работе или какие-нибудь домашние хлопоты, старались поскорей кончить разговор.

В зеркалах заднего вида промелькнул Павелецкий вокзал, а следом и Дом музыки. Машина двигалась по мосту, во второй раз преодолевая реку, а по левую руку вдалеке виднелась третья за ночь высотка, которая навеяла Грише мысль об одном из обожаемых российских фильмов — втором «Брате». Кино он посещал очень редко, но если во что-то и влюблялся, то навсегда. Хотя, как ни странно, его авантюрное приключение абсолютно иначе отвечало, пожалуй, на один из главных вопросов киноленты: в чем же все-таки сила?

Григорий очутился здесь не впервой, на этой умопомрачительной развязке Таганки, которая даже опытного водителя способна поставить в неловкое положение и запутать, так что заранее юркнул на Народную улицу, развернулся на Больших Каменщиках и, хорошо зная местную обстановку, по-царски запарковался на отдельной стоянке практически у самого входа в заветный супермаркет.

Очередь, начинавшаяся за стеклянными дверьми, его вовсе не напугала и теперь казалась чем-то привычным, обыденным. Гриша даже в каком-то смысле смирился с тем, что ему предстоит отморозить уши, ведь шапку оставил на крючке в прихожей, не прогнозируя исхода, при котором придется стоять на девятиградусном морозе, пританцовывая не от радости. При этом было жизненно необходимо беречь заряд те-

лефона, болезненно реагировавшего на низкие российские температуры, и, сунув его к себе в рукав, как бандит, скрывающий ножик, он принялся осматривать скучающую публику.

«Судя по шмоткам, денег у них не должно быть много... хотя, — он шнырял глазами, считывая информацию, как Терминатор, — „ботаник“ на богатея тоже не сильно смахивал. Короче, бред какой-то».

Ожидание на холоде усилило желание посетить комнату для мальчиков троекратно. К счастью, практически во всех «Азбуках» для удобства элитных посетителей в распоряжении имеется туалет, в который замерзший стремительно направился, предупредив стоящего впереди мужчину, что он ненадолго и скоро вернется.

— Куда без очереди-то ломимся? — возмутился стоящий у самого входа пуховик средних лет.

— Да мне не сюда, мне в туалет, то есть в магазин, — виновато отвечал Гриша, потерявший способность к колким высказываниям.

Справив нужду, Григорий, соблюдая обряд гигиенических процедур, чуть не выронил в раковину мобильник, подло выскользнувший из рукава, но вовремя пойманный.

Озираясь с некоторой досадой на полки, заставленные всякого рода заморскими деликатесами, он хмыкнул (на лице его читалось: «Последние недели две-три этим питаемся») и торопливо вернулся на свою позицию замыкающего, поскольку за время его вынужденного отсутствия новых желающих попытать удачу в получении валюты не прибавилось.

Облегченному и повеселевшему, ему оставалось выстоять всего-то пару человек, как в рукаве завибрировало.

— Алло, Гришенька, ну я дома, даже машину удалось на прежнее место поставить. Лягу еще немножко поспать, на пару-тройку часиков. Ты там как?

— Дома?! — переходя на крик, он продолжал: — Мы разве так договаривались?

— Ты сказал, чтобы дальше я сама, и пропал, хотя я пару раз тебе набирала, ты не отвечал... ну а потом домой поехала, — и миролюбиво добавила: — Не злись, дорогой, все равно у меня свободных денег на карте больше не оставалось, кроме тех, что на мелкие расходы.

«Ладно, и на том спасибо», — остывал вспыльчивый Гриша. — Пока что не очень. Стою у очередного банкомата, народу везде тьма. Телефон еще садится, так что с беседой закругляемся. Напишу позже.

— Удачи, любимый! Я спать!

С момента прибытия на Таганку прошло уже с полчаса. Созерцание столичной архитектуры и топтание на одном месте без дела поспособствовали движению философской мысли, пусть и весьма причудливой. Стоя здесь, перед дверьми роскошного супермаркета, который обходят стороной местные пенсионерки, волоча за собой увесистые тележки на скрипучих колесиках, он думал о том, как примерно в это же самое время в соседней стране люди выстраиваются в очереди за элементарными, а не буржуйскими продуктами, тамошние автомобилисты торчат в километровых пробках на заправках в надежде заполучить свои десять литров бензина, а многие из них так и уезжают ни с чем. Все это казалось ему какой-то дикостью, варварством и средневековьем, давно забытым, но вернувшимся сегодня. Почему-то подобные мысли не навещали его сознание весной две тысячи четырнадцатого.

Григорий не пытался отследить количество оставшихся денег в аппарате через приложение ПИНК-банка, потому что успел понять, что обновляется оно не сразу и проще наблюдать за наличием необходимой валюты, так сказать, не отходя от кассы. В диалоги с собратьями по охоте на кэш он больше не вступал, к смартфону не обращался и лишь изредка поглядывал на часы: стрелка приближалась к четверке.

Отстояв вахту, Гриша механически поднес карту и совершил ряд необходимых действий, чтобы добраться до меню выдачи евро. На этот раз он решил начать с мелочи, введя смехотворную, по его представлению, сумму номиналом в пятьсот единиц. Автомат, не думая долго, выдал запрашиваемый куш, на что Григорий зачем-то одобрительно кивнул ему, как живому, и запустил операцию по новой.

Две желтые и одна зеленая купюра приятно ласкали глаз. Он вновь вошел в раж и запросил у банкомата тысячу, но получил вежливый отказ.

— Опять, что ли, наличные закончились? — не предполагая нового подвоха, возмущался Гриша. — И как это понять-то? В прошлый раз писалось о недостаточности денежных средств. А теперь что? — повторив процедуру и не получив суммы, он отошел в сторону, пропуская следующего посетителя до выяснения обстоятельств.

— У меня точно такая же история была на другом адресе: больше одной тысячи не дает снимать, — кстати пояснил новый клиент в дорогой стеганой куртке, подошедший к аппарату, — по ходу дела сам банк ввел ограничения на снятие, а их онлайн-поддержка ничего вразумительного написать не может: дают ссылку на новость ЦБ, но в этой новости ничего про ограничения в тысячу нет! Короче говоря, сами чего-то там мутят. Может быть, просто хотят, чтобы всем хоть и по чуть-чуть, но наличной валюты досталось. Заботливые, однако.

«Знатная дичь получается! То есть буквально недавно народ снимал без ограничений, а теперь нарисовался какой-то лимит. А как Наде выдали всю запрашиваемую сумму? Я вообще ничего не понимаю! Мура полнейшая!»

Подобная рачительность финансовой организации его не приободрила. Нахмурившись, он даже начал звонить по номеру круглосуточной горячей линии, но сбросил вызов, так и не дождавшись ответа оператора, поверив на слово осведомленному гражданину в джинсах с красным ярлыком от бренда, временно приостановившего работу в России.

«И чего теперь делать? Как снимать-то купленные евро? Время — четыре часа утра. Кому звонить? Кого просить? — не прекращал задавать себе вопросы Гриша, пожалуй, заранее зная на них ответ, потому что звонить было решительно некому. — Ну если только Леха не спит».

Леха имел профессию рабочую, крутил руль «газели», добывая трудовой хлеб, и на погрузку товара прибывал рано утром. Рассчитывать на то, что у него в ПИНК-банке мог быть открыт счет в иностранной валюте, было верхом глупости, но попробовать стоило. По крайней мере, исключена вероятность попасть под обстрел из невнятных сонных ругательств, он, скорее всего, уже на ногах, а может быть, даже и в кресле своего малотоннажного грузового автомобиля.

— Да, Грих, здорово, случилось чего? — достаточно бодро заговорил Леха на фоне простецкой, мужицкой песни, доносящейся из хриплых колонок.

— Здорово, Леха! Извини, что так рано, знаю, что не спишь, — слегка заискивающим тоном начал подкапывать Гриша под старого товарища. — Тут такое дело, в общем, долго объяснять. Короче. Нет ли у тебя случайно валютного счета в ПИНК-банке? Мне прям очень надо!

— Однако удивил! Я уж испугался, что что-то серьезное случилось, — добродушно выдохнул Алексей.

«Куда еще серьезней-то?» — подумал Григорий. — Да нет, все в порядке, просто возникла острая необходимость снять наличные, а банкомат больше одной тысячи евро по одной конкретной карте на руки не выдает. Сможешь помочь?

— Ну, у нас с женой полторы тысячи на счету, мы как раз с ней в Турцию летом планировали, она сказала мне, чтобы перевел деньги, пока курс в космос не улетел.

Дальновидная она у меня, и не поспоришь. Не знаю вот только, полетим ли мы с ней в эту Турцию, сам видишь, что сейчас в мире творится.

«Да уж, за новостями он явно не следит так, как его жена», — констатировал Гриша. — В общем, если тебе не сложно, я бы прям сейчас пересекся где-нибудь по твоему маршруту, и мы бы вместе евро сняли, а я бы тебе сразу же их обратно на карту перевел. Идет?

— Ну-у-у... в принципе, можем попробовать, — немного смущаясь, соглашался простак, — хотя мне б с женой сперва посоветоваться.

— Да чего тут советовать-то? На вашем счету будет лежать абсолютно такая же сумма, копейка в копейку, то есть цент в цент, — не раскрывая всех деталей, дабы не смущать доверчивого друга, наседали Григорий.

— А ты где хочешь встретиться-то? Я сам пока что у нас в районе, на Ижорской, загружусь и поеду в сторону Марьиной Рощи. Тебе как?

— Сейчас, Лех, повиси минуту, я в приложение гляну, какой там расклад, — и то ли по счастливой случайности, то ли по удачному совпадению, но в названном районе на карте розовой точкой светилась отметка, подтверждающая наличие круглосуточного банкомата, в котором при всем этом числилась желаемая валюта. Не скрывая радостного оживления, Гриша с подогретым энтузиазмом вернулся к разговору. — Да, отлично, давай там и встретимся на месте, на Олимпийском проспекте.

— Олимпийский проспект — он длинный, — слегка бравируя знанием столичных улиц, уточнял тот, — дом-то какой?

— Дом с таким же номером, как и тебе лет. У «Азбуки вкуса». Буду ждать тебя там.

— Понятно, дом тридцать. Ну, я думаю, что только после пяти часов подъеду. Будешь ждать?

— Естественно, буду! До встречи! — с восторгом отозвался Григорий.

Закончив топтаться в предбаннике «Азбуки», он вышел на пустую улицу и с удовольствием вдохнул морозный утренний воздух, наслаждаясь тихим моментом бездействия. Сделав пару-тройку шагов, Гриша остановился, бросил взгляд на безумную развязку Таганской площади, решительно выдохнул и направился к автомобилю.

Совершив традиционный обряд с запуском двигателя, водитель переждал несколько минут (непозволительная до этого роскошь), давая прогреться системе, потому что торопиться было некуда и незачем. Не спеша, плавно вращая рулевое колесо, Григорий оказался на Садовом. Слева проплыл, отдавая кирпично-персиковым, знаменитый московский театр. Панорама подсвеченных домов рисовалась по обе стороны кольца. Оставив позади Язу, он все-таки решил прервать радиомолчание и начал тыкать в клавиши в поисках подходящей под настроение мелодии, хотя поиск этого большого смысла не имел ввиду крайней переменчивости состояния. Пройдя два круга, на третьем он остановил свой выбор на какой-то залихватской попсе девяностых, к которой имел тайную слабость. Курский вокзал, спрятавшийся за «Атриумом», отдавал рельсами и бездомными, запах которых Гриша точно знал с зеленого детства, когда родители за неимением личного транспортного средства таскали его на дачу на пригородных электричках. Что его раздражало больше: тошнотворные запахи на платформе или грядки с сорняками, которые обязательно нужно было изничтожать, в то время когда все его сверстники сидели по компьютерным клубам, неизвестно. В любом случае воспоминания эти приятными назвать было нельзя. От этих мыслей у него зачесалось лицо, а на глаза стала опускаться дрема. Адреналиновый угар встал на паузу.

— Это ж сколько сейчас братского народу по всей Европе по вокзалам болтается, — посетовал Григорий, — очуметь! Это хорошо еще, если удастся выбраться мужику в женском платье, а если развернут обратно?! Ну его! — и он, нахмурившись, резко мотнул головой.

Очередная сталинка маячила на горизонте, уже четвертая за ночь.

— У меня, по ходу дела, сегодня экскурсия по теме советской архитектуры, — с сарказмом произнес он.

Красные ворота, а вместе с ними и дом-утюг (мини-вариант того, что в Нью-Йорке) остались за спиной, Минсельхоз, проспект Академика Сахарова, на котором в десятых Гриша мирно топтался с единомышленниками под лозунгом «За честные выборы!». Где теперь все это?

Проехав пышное здание Склифа, он повернул на улицу Щепкина, а на Дурова золотым куполом и голубовато-зелеными минаретами с ним поздоровалась Московская соборная мечеть.

Печально нависшие над пустотой строительные краны сонно клевали, сообщая, что от некогда популярного «Олимпийского» пока что сохранилось одно только название. Впереди лежала обыкновенная, без изысков, финишная прямая перед заключительной «Азбукой».

Прибыв заранее в условленную точку на самую границу центра, в окрестности Третьего кольца, Гриша без труда нашел стояночное место, уперевшись в стену шестнадцатизатяжки. Заглушив мотор, он сладко откинулся в скандинавском кресле и принялся размышлять о судьбах страны и мира.

— Ну, вот запретили джинсы к нам возить, чего дальше? Будто штанов у меня других нет, вон шкаф от них ломится, класть некуда. Еще и Надькино барахло тоннами складировается. Другое дело, какие это джинсы: я к ним привык, размер свой наизусть знаю, могу покупать, не примеряя. Хотя других заморских брендов тоже полно, выбирай — не хочу. Ладно, проживем как-нибудь.

Немного поерзав, Григорий смачно зевнул во весь рот и начал вращать головой влево-вправо, разминая уставшие позвонки. В процессе тренировки он заметил знакомый логотип на борту медленно крадущейся «газели». Это был Леха. Выскочив из машины, Гриша замахал обеими руками, подавая сигнал, как спасшийся после кораблекрушения, и сразу же был обнаружен наблюдательным газелистом. По-соседски встав рядом с автомобилем старого товарища, Алексей с доброй улыбкой вынес свои сто двадцать килограммов массы из кабины и бодро зашагал в сторону друга, раскинув рабочие руки в попытке радостно его приобнять. Грише пришлось поучаствовать в этом акте товарищеской солидарности.

— Здорово, брат! Сколько лет не виделись?! — риторически начал живую беседу Алексей.

— Да уж года два точно, до ковида еще встречались, по-моему, — Григорий не хотел тратить время на пустую болтовню. — Ну что, приступим?

— Как дела-то вообще? — не унимался товарищ.

— Да, в общем, нормально все. Работа, дом. Иногда командировки. Но сейчас их совсем не стало, сам понимаешь.

— Да-а-а... понимаю, брат, — Леше хотелось называть его братом на кавказский манер. — А помнишь, как мы с тобой на рыбалку на дикую речку гоняли? Очень весело было! — и Алексей закатился хриплым грудным смехом, прерываемым кашлем почетного курильщика.

— Да, такое не забудешь, было забавно, — достаточно сдержанно ответил Гриша и торопливо спросил: — Ну что, идем?

— Ну пошли, — задорный смех, убывая, оставлял след причудливой улыбки на его лице.

У дверей «Азбуки вкуса» не было ни души. Банкомат располагался у самого входа в супермаркет. Гриша с болью наблюдал за медлительными действиями своего товарища.

Город просыпался. Москва скоро снова задохнется в выхлопных газах. Гриша ехал в сторону области против основного движения. Чувство выполненного долга переполняло его. Непосильная задача была решена.

Парковочных мест в тесном дворе оказалось предостаточно: народ убывал по делам. Григорий, войдя в подъезд, вновь столкнулся с веселым лабрадором, которого на этот раз выводила на прогулку женщина. Поднявшись на ленивом лифте, он открыл дверь ключом, ожидая, что Наде хватит сообразительности не закрываться на щеколду. Не включая свет в прихожей, он заботливо прикрыл дверь в спальню, в которой мило сопела его боевая подруга.

Ботинки были сняты, куртка повешена, руки вымыты. Гриша насыпал ароматный кофе в металлический рожок. Смартфон, давно мечтавший о зарядке, тихо лежал в углу кухни, присосавшись к белому проводу. Раздался звонок.

— Чего хотел мне сказать в такую рань? — зазвенел голос в трубке.

— Софрон, здорово! Да хотел с одной просьбой небольшой к тебе обратиться, но думаю, что сейчас уже неактуально.

— Интересно, какая такая просьба может быть в шесть утра? Машина, что ли, не заводится?

— Да нет, с машиной все ровно. Это же шведский автопром. Хотел денег снять европейских с твоей карты, — без прежнего энтузиазма озвучивал свои желания Гриша.

— Отлично придумано! Только у меня их там нет.

— Ну, я бы перевел. Дело техники, — как бы подмигивал в телефонную трубку Григорий.

— Благородно, однако. Делай так почаще. А еще лучше — всегда. Так чего хотел-то?

— А ты новости не читаешь, что ли?

— Ты про ограничения от ЦБ до сентября? Естественно, читал. Но мне это все параллельно.

— Смотри сам, конечно, но я свои рублевые накопления перевел в евро. Так надежней.

— Если бы они у меня были, эти накопления, — с легким оттенком грусти произнес Софрон. — А зачем? Ты дефолта, что ли, опасаться? Не будет его у нас. Сейчас время другое и страна другая, уже далеко не лихие девяностые.

— Не знаю, я на «Эхе» слышал, пока их еще не отрубили, и на «Медузе»¹ и в «Новой газете» читал, что он неизбежен, — уверенно парировал Григорий.

— А я читал и слышал абсолютно противоположные мнения. Все это бред полнейший и чушь несусветная. Разводят панику на ровном месте, а по сути, никакой фактуры, одни только слухи и домыслы. Если бы у бабушки был бы, то она была бы дедушкой. Ну, ты в курсе.

— Мы с тобой все-таки не экономисты, а я этим источникам доверяю, — придавая мнимую уверенность сказанному, подытожил дискуссию Гриша.

— В общем, посмотрим. Время покажет. Сейчас об этом рассуждать бессмысленно. Но что-то мне подсказывает, что ты все-таки поторопился, — вывел свой итог Софрон. Григорий коротко пересказал, опустив детали, историю минувшей ночи.

— Ну ты, конечно, авантюрист адреналиновый, — резюмировал Софрон.

— Ладно, пока. Буду на работу собираться, а то уже скоро выходить.

— Ну давай, успехов!

В спальне сработал и звенел, не переставая, будильник на Надином телефоне. Гриша, бережно выключив сигнал, прильнул губами к щеке девушки.

— Наденька, вставай. Утро пришло, — ласково прошептал он.

¹ Генеральная прокуратура РФ признала организацию нежелательной на территории РФ.

- Ой, так неохота! — сквозь сон отозвалась подруга. — Голова болит.
- Потихоньку поднимайся, я кофейку сейчас сооружу. Выпьешь — и все пройдет. Ты у меня умничка, — не отрываясь, он продолжал покрывать ее поцелуями.
- Ну как? Все получилось? — поинтересовалась Надежда.
- Получилось, — спокойно проговорил Гриша, — но не все. Потом расскажу.

* * *

Пережившие дождливый, зябкий май москвичи наконец-то наслаждались летом, как календарным, так и погодным. Модные горожанки поскидывали с себя утепленную одежду, предоставив на всеобщее обозрение пока еще бледные ноги. Рестораны быстрого питания и магазины косметики готовились возобновить свою работу под новыми брендами. Город жил прежней жизнью. Ну, почти.

А вот жизнь Григория с той мартовской ночи сильно изменилась. Нервные расстройства обступали его со всех сторон. Степень истеричности была рекорды. Каждый день по несколько раз он дрожащими от злобы руками проверял биржевые курсы заморской валюты, матерясь и ругая то ли себя, то ли банки, то ли страну, в которой родился и вырос, а может быть, и самого главного.

Достигнув своего пика в двадцатых числах марта, в конце месяца курс иностранной валюты пошел на стремительное снижение: в начале апреля за один евро уже давали меньше сотни, а к концу мая случилось так, что и всего-то шестьдесят российских рублей.

Обещанный когда-то агентством «Moody's» дефолт, запланированный аккурат на середину апреля, так и не случился. Мечты о евро по пятьсот улетучивались.

Григорий сам себя успокаивал мыслями о том, что весь этот курс абсолютно необъективен и нисколько не отражает реального положения дел, что вот-вот произойдет нечто грандиозное и прогноз, в который он так свято поверил, сбудется. Но ничего такого сверхъестественного не происходило.

Центральный банк постепенно снимал введенные ранее ограничения, ключевая ставка понижалась, но для Гриши это ровным счетом ничего не меняло.

— Получается, что те, кто нес деньги на рублевые вклады под волшебные проценты, остаются в плюсе, а я в дураках? — вопрошал он, в очередной раз закрывая страничку с биржевыми курсами валют, которая в его браузере светилась на первом месте. — Вот я болван, конечно. Лучше бы в покупку квартиры эти деньги вложил, все только собирался...

Новый мир рождался на глазах, и все в какой-то степени были его акушерами. Кто-то бегал по магазинам, в панике сменяя гречку и туалетную бумагу, как когда-то в начале ковида. Кто-то густо намазал лыжи и уже катался по городам не шибко дружественных государств, работая удаленно. Каждый день с сумасшедшей частотой очередная новость сменяла предыдущую, уследить за этим мог только морально стойкий и усидчивый читатель. На кого-то, как на Гришу, они оказывали пагубное влияние. Некоторые проявляли мудрость и на провокации не поддавались. Одна явная отрада: телефонные жулики наконец-то уgomонились и не достают народонаселение якобы от лица служб безопасности банков и следователей из полиции.

Бродя по кругу в уютном парке в выходной день, которых стало чуть больше, чем раньше, Григорий предавался развешивающим мыслям. Он старался гнать их прочь, но снова к ним возвращался. Знакомый пес отвлек его внимание.

- Нет, я точно когда-нибудь утоплю всех этих собаководов!

ЗАВЕТНАЯ СУБСИДИЯ

Поздним вечером уставшего понедельника притихший рабочий чат отдела молочно-мясного скотоводства был ошарашен печальным известием: скоропостижно скончалась многоуважаемая Элла Рудольфовна Ш.

Новость, по правде, для всех неожиданная, поскольку боевая тетя, совсем недавно отметившая пятидесятилетний юбилей, была известна своим неумолимым трудолюбием, чрезвычайными организаторскими способностями, неиссякаемой бодростью духа и по-юношески горящими глазами. Никто и не мог предположить, что подобное случится. Но у коварного геморрагического инсульта, как говорится, были свои планы. Подоспевшая врачебная бригада, несмотря на все предпринятые меры, ничем помочь не смогла.

Проработав в отделе добрых двадцать восемь лет, придя молодой, подающей надежды девушкой, только что окончившей сельхозакадемию, и дослужившись до его начальника (принимая во внимание всевозможные слияния, преобразования и ликвидации), она была живой легендой всего департамента животноводства, да чего уж там скромничать — министерства.

И стар и млад регулярно обращались к ней за мудрым советом и помощью, а та в свою очередь всегда была готова посодействовать и словом, и делом. Под ее чутким руководством была воспитана не одна плеяда блестящих специалистов, будущих руководителей департаментов и заместителей министра, и только лишь природная скромность Эллы Рудольфовны не позволила ей самой занять столь высокую должность.

Мы все понесли невосполнимую утрату, ведь на таких профессионалах держится государственная служба в нашей стране! Память о ней будет вечно жить в сердцах.

О времени и месте прощания с Эллой Рудольфовной будет сообщено дополнительно.

Примерно что-то подобное, но в более официальном стиле мог прочесть каждый входивший в здание Минсельхоза на следующее утро после столь трагического и непредвиденного события. Траурную тумбу с некрологом и фотографией, на которой ныне усопшая выглядела лет на десять моложе, расположили в холле, напротив стеклянных дверей, для всеобщего ознакомления, хотя внушительная часть работников и служащих была уже и так в курсе произошедшего.

Заместитель начальника отдела молочно-мясного скотоводства, сам того не предполагая, превратившийся во ВРИО, начал трудовой день с неуклюжей минуты молчания и объявления:

— Ну, в общем, я сейчас до руководства департамента отойду...

«Еще одного отошедшего нам не хватало», — подумал вечно шутящий Стасик, с трудом сдержавшийся от озвучивания подобной мысли вслух.

— Надо переговорить по поводу организации похорон, поминок, там, и так далее, — продолжал Роман Александрович. — Думаю, что всем нам сегодня не до работы. Короче говоря, как оно обычно бывает у нашего Станислава — берем с него пример.

Стасик с ухмылкой, обозначающей «уметь надо», посмотрел в сторону уходящего зама.

Повздыхав пару-тройку минут о безвременной кончине бессменной шефины, народ принялся заниматься своими делами, далекими от исполнения служебных обязанностей: кто-то уткнулся в экран смартфона, штудирруя новостную ленту, а те, у кого монитор рабочего компьютера смотрел в стену, усердно защелкали мышками, рассекая по бескрайним просторам Интернета в поисках технологичных товаров для дома, туристических путевок, модных весенне-летних коллекций одежды, параллельно им-

портированных автомобилей и прочих прелестей современности по потребностям, пусть и в ограниченном масштабе, но достаточно представленных для того, чтобы убить час-другой рабочего времени. Из чайного уголка доносился диалог:

— Да-а-а... жалко тетку. Вот так вот живешь себе, работаешь, планы какие-то строишь. И тут раз, в один момент, и все — приехали, — философствовал Илья, не так давно устроившийся в отдел и не успевший толком познакомиться с покойной. — Вот только буквально вчера из кабинета выходили с тобой, а она тут еще за столом сидела, кому-то названивала. А сегодня возвращаемся, а она нас не за столом, а у входа встречает. И не она, а ее фотография черно-белая. Жесть!

— И не говори. Так внезапно. Энергичная она у нас была, по врачам не ходила. Может быть, и зря не ходила? Как думаешь?

— Да кто ж его знает, Мих? В этом вопросе никак не угадаешь. В любой момент может что угодно приключиться.

— Ну, раз в три года хотя бы стоит проверяться, как мне кажется.

— Ну может. Не знаю.

В кабинет резко ворвался возбужденный Роман Александрович. Народ в быстром темпе попрятал гаджеты и позакрывал любопытные вкладки браузера, создавая видимость пусть и не бурной, но более-менее рабочей деятельности.

— Короче, заканчивайте тут. Помощь ваша нужна.

Илья и Миша переглянулись, ВРИО распорядился:

— Илья, хорош чаи гонять, садись за комп, ищи венки. Сказали, чтоб с лентой от отдела был обязательно. Текст я тебе потом продиктую. А ты, Михаил, давай со мной, по дороге расскажу.

Пол-литровая белая кружка с надписью «Планы на день» и каким-то схематичным рисунком осталась остывать неотпитой. Илья, захватив с рабочего места свой зеленый чай с жасмином, принялся выполнять нестандартное поручение.

За подготовительной суетой и решением всяческих организационных вопросов, большую часть которых взяли на себя Роман Александрович и руководство департамента, пролетело три дня.

Ранним утром солнечного весеннего четверга сотрудники министерства от мала до велика потянулись к дверям культурного центра, куда из морга доставили тело бывшей начальницы отдела. По пышности и важности церемонии можно было бы предположить, что хоронить собираются самого министра — таким уважением и авторитетом пользовалась при жизни Элла Рудольфовна.

Она, облаченная в строгий костюм, не производила впечатления мертвой, а выглядела так, будто сейчас полежит немного, передохнет и совсем скоро встанет раздавать команды и поручения в своем непревзойденном артистичном стиле. Подходящие проститься все как один отмечали начальственное выражение лица и серьезный вид, будто бы она не лежала в гробу, а готовилась выступить на важном совещании.

Барражировали слухи о прибытии высшего начальства. Заместитель министра, непосредственно курирующий департамент, появился с букетом красных роз в черной непрозрачной пленке. В зале собралось внушительное количество сотрудников и родственников. Зачитали речь, примерно такую же по содержанию, как было выписано в некрологе.

Работники отдела, временно оставшиеся без руководителя, сгруппировались в одном из концов зала. Было принято коллективное решение ехать на кладбище всем, оставив лишь одного Илью на хозяйстве как самого молодого.

— Интересно, сколько сейчас по пробкам тащиться? — шептал Миша потерянной Лере, смотревшей куда-то в одну точку и занятой своими собственными размышлениями.

- Час точно будем ехать, я думаю, — через паузу ответила она.
- Пауэрбанк есть? — не унимался он. — А то с утра забыл зарядиться.
- У Стасика спроси. Он у нас вечно из телефона не вылезит.

Станислав, в коем веке надевший приличный костюм, елозил пальцем по экрану мобильного, освещавшего его сосредоточенную физиономию.

Церемония прощания подходила к концу. Большая часть народа, отдав дань уважения, разошлась по рабочим местам. Несколько крепких, специально обученных ребят под одиночные женские всхлипывания вынесли гроб с телом на улицу и погрузили в катафалк. Предстояла долгая последняя земная дорога за пределы города к месту отпевания и погребения.

Расторопные сотрудники отделов министерства и родственники усопшей без особых промедлений расселись по машинам. Комфортных мест в автомобилях, как оно обычно бывает в результате ряда организационных упущений, хватило не всем. Стоя у выхода из культурного центра, припозднившиеся Лера, Миша и Стасик решали, кто поедет в «ауди», а кто... с бывшей руководительницей.

— Не, ребят, не знаю, как вы, а я покойников вообще не перевариваю, — плакался Стасик. — Ну то есть если там где-нибудь в сторонке постоять посмотреть, это еще куда ни шло, но так, чтобы целый час, а то и больше в таком тесном соприкосновении. Нет! Я этого не переживу. Давайте без меня. Ладно?

— Вот так джентльмен у нас нашелся, — парировала Лера, — совсем не хочешь уступить даме место?

— Ага. Совсем не хочу. И между прочим, подобная поездка сейчас полностью в твоих интересах, — кивнул он в сторону залегающего в траурный микроавтобус мужчины средних лет в черном пиджаке.

Квартирный вопрос, как нам известно, сильно испортил москвичей. Но помимо москвичей он еще изрядно попортил всяческого рода чиновников, служащих, военных и прочих очередников, дожидаящихся волшебного дня зачисления райской суммы на банковский счет с целью приобретения собственного жилья. Никто из страждущих точно не знает, когда это произойдет и на кого распределят искомые денежные средства. О заветной субсидии мечтали все, кто хоть каким-то образом мог на нее претендовать — не за зря же столько лет горбатиться на службе за сравнительно небольшие зарплаты, а тут есть шанс, хоть и небольшой, но он есть, загрести целую кучу денег на покупку квартиры. Это же мечта! А без мечты человеку ну никак нельзя.

Валерия Круглова исключением не являлась и уже несколько лет хранила надежду на сказочное зачисление. Но будучи далеко не самой пробивной и наглой фигурой, она смиренно ждала счастливого случая, не прибегая к каким-то дополнительным ухищрениям, чтобы замаслить главного титана всей этой жилищной эпопеи — секретаря магической комиссии, на которого так настойчиво указывал Стасик.

Лера проводила взглядом ловкого бюрократа, расположившегося в темно-печальном транспортном средстве, покрутила в голове всевозможные варианты некомфортабельной поездки и решила последовать наставлению Станислава, которому в силу природной лени, во-вторых, и наличию солидной бабушкиной трешки в Сокольниках, во-первых, такое путешествие однозначно было ни к чему.

— Потом еще спасибо скажешь! — запулил он вслед уверенно шагающей Лере. — На новоселье не забудь пригласить!

Валерия, обернувшись, постучала пальцем у виска, мол, зачем так орать-то, и села в автобус к бравому секретарю.

— Стало быть, вдвоем поедем, — ни капли не смущаясь, начал разговор Эдуард Артемович. — Или втроем? — чуть подумав, добавил он.

— Да уж. Как-то так, — неловко улыбнулась Лера.

Водила похоронной «газели», дымя противной сигаретой, захлопнул задние двери, создав в салоне угрюмое освещение, обогнул машину, долбанул пару раз грязным ботинком по переднему колесу, отряхивая то ли колесо, то ли ботинок, и залез в кабину. Траурная процессия отправлялась в путь.

Некоторые малоопытные работники министерства легкомысленно полагают, что самым значимым лицом в работе любой комиссии (в том числе и жилищной) является ее председатель. Как далеки они от истины! Ведь самая значительная должность — это должность ее секретаря. Секретарь проверяет, секретарь направляет, он же принимает и ведет учет, вносит предложения, выдает справки и совершает целый ряд иных казенных, но чрезвычайно необходимых формальностей, из-за которых ценность его возрастает до заоблачных вершин. Члены же комиссии, несмотря на куда больший должностной статус, в подавляющем количестве случаев выступают в роли кивал, безропотно выполняющих волю всеильного мужа.

Не каждому простому смертному выпадает шанс добиться аудиенции у столь представительного товарища, и многие, несомненно, позавидовали бы неожиданно свалившейся на Леру возможности пообщаться с самим Эдуардом Артемовичем, пусть и в весьма, так сказать, необычной обстановке. Но Лера, как мы уже отмечали, в силу характера, воспитания, ну, и, безусловно, сложившейся ситуации не решалась заводить беседу первой. Неудобное молчание прервал сам секретарь:

— Давно под ее началом-то работали? — интересовался он, одновременно смотря на Леру и поворотом головы указывая на богатый гроб с телом Эллы Рудольфовны.

— Да где-то лет восемь, — полушепотом, как будто стесняясь бывшей начальницы, отвечала она.

— Целая бесконечность, — пытался шутить Эдуард Артемович.

— А, да. Поняла, — уже более уверенно улыбнулась Лера, — можно и так сказать.

Помолчали еще. Всемогуший бюрократ, проникнутый симпатией к обаятельной Лере, одинокой матери двоих детей, продолжал проявлять словесную инициативу:

— Я, кстати, сам в свое время мог у нее в отделе оказаться. Но там то ли должностей свободных не было, то ли за счет других не захотели назначать, как оно у нас обычно бывает не для нужных людей, — рассказывал он, демонстрируя Лере свое крестьянское происхождение. — В итоге получилось, как получилось, я не расстроился.

«Еще бы он расстроился — в жилищной комиссии сидеть», — подумала Валерия. — Да и у меня, в общем-то, дела неплохо идут в отделе, много чему у нее научилась, хорошая женщина была, справедливая.

— Да. Соглашусь. Сам не раз с ней пересекался по различным вопросам. Таких людей у нас мало... и все меньше.

Повисла очередная пауза. Лера краем глаза, обернувшись через плечо, наблюдала за улицей: автомобилисты на Садовом традиционно тыркались в дневной пробке (интересно, куда они все время едут?), по правому ряду, синее, ввиду отсутствия выделенной полосы пробивалась легендарная «букашка», ныне электробус. Миновали нарядное здание Склифа.

— О! А вот здесь раньше ресторан «Огни» был, — Эдуард Артемович сменил тему с героической на гастрономическую, — помню, отличные завтраки готовили за триста пятьдесят рублей. После бессонной клубной ночи самое то! Да-а-а... было время, — и на губах его проявилась едва заметная блаженная улыбка.

«Ах, ты ж тусовщик лохматый» — так оценила Лера данное откровение из прошлого.

— Интересно, что сейчас на этом месте?

— По-моему, «Ламбик», — присмотревшись, считала Валерия.

— Ох уж мне этот вездесущий «Ламбик», по всей Москве понаоткрывались.

— Ну, рядом слева до сих пор «Курвуазье», — блистала знанием столичных заведений Круглова.

— Ой, правда? Ну дай бог ему здоровья! — с неподдельным энтузиазмом выдал Эдуард Артемович. Ресторанная тема была ему особенно близка. — А вы-то как сами? Частенько бываете?

— Ну-у-у... сейчас уже не так часто, — смущаясь, выговорила она, — в основном дома едим. Я вот стараюсь в театр выбираться, по возможности, конечно.

— В театр? Очень интересно! Сто лет там не был. И чего там сейчас показывают? — вполне себе искренне любопытствовал секретарь.

— Да чего только не показывают! В Москве их более ста — точное число вряд ли кому-то известно. Мы вот с подругами МХТ Чехова любим. Практически все там посмотрели уже.

— И что посоветуете?

— Если из современного, то «Механику любви». Сам спектакль хоть и больше для женщин, как мне кажется, но и некоторым мужчинам тоже нравится. По крайней мере, текст пьесы, в отличие от многих других аналогичных, прописан адекватно и с юмором. Без этих...

— Маточных рыданий?

— Ну да, можно и так сказать, — слегка сконфузившись, подтвердила Лера. — А вам, мне почему-то кажется, может «Игра в городки» со Стояновым понравиться. Ну и «Мастер и Маргарита» на основной сцене. Тут как бы и так все понятно — в этом театре плохо ставить Булгакова просто нельзя.

— Ладно. Спасибо. Буду иметь в виду. Может быть, и меня с собой как-нибудь возьмете? — неожиданно для Леры закидывал удочку секретарь комиссии и, как ей показалось, даже немного придвинулся в ее сторону, нисколько не смущаясь присутствия усопшей Эллы Рудольфовны.

— Ну да, конечно, почему бы и нет, — растерявшись, соглашалась она.

— Отлично! Вот и договорились, — и Эдуард Артемович легонько положил (но сразу же убрал) ладонь на изящную ручку с тонкими длинными пальцами, которую Валерия держала у себе на колене.

Сердце ее заколотилось с удвоенной частотой, к щекам подступила краска, и если бы не глухая тонировка, создававшая в салоне непробиваемую темноту, государственный муж без труда бы заметил накотившее смущение.

— Вы заходите ко мне. Не стесняйтесь. И о деле вашем тоже переговорим, — как бы подмигивал он ей. — Так. Завтра у нас что? — рассуждал он сам с собой. — Пятница. Не, в пятницу не надо, неприятный день. А вот в понедельник в самый раз. Часиков так в десять. Идет?

От быстрых переходов Лера потеряла нить беседы. «Рестораны», «театр», «прикосновение теплой руки», «неприятный день» звенели у нее в голове.

Опомнившись, она посмотрела на Эдуарда Артемовича и кивнула в знак согласия.

— Вы вот, Валерия, скромничаете, а некоторые наиболее ушлые служащие, в том числе из категории руководителей, вообще не сомневаются в своем успехе.

Лера, моргнув от очередного непрогнозируемого поворота, приоткрыв рот с пухлыми губками, принялась внимательно слушать.

— Мне вот рассказывали, что в Минэке, по-моему самом фантастическом министерстве из всех, что у нас вообще существуют, есть один заместитель директора департамента по фамилии Таракашкин. Так вот этот самый Таракашкин, как настоящий

жук, пару-тройку лет назад получил ни много ни мало, а субсидию практически в пятнадцать миллионов. Неплохо, да?

— Ну да. Я бы даже сказала, что очень хорошо.

— Но ладно бы он был нуждающимся. Ну, то есть по бумагам он таковым и являлся, потому что ни у него, ни у жены, ни тем более у малолетнего ребенка не было достаточного по нормативу количества метража в собственности. Но по факту они уже и так жили в трехкомнатной квартире, где-то на юго-западе, которая досталась отцу жены, бывшему вояке, от государства и просто была на него оформлена. То есть наш, ну то есть их, Таракашкин, по сути, получил деньги у государства на покупку же государственной квартиры у самих себя и таким образом тупо их обналичил.

— Может, там с родственниками не все так просто было? — проявляла веру в российское чиновничество Круглова.

— Сомневаюсь. Знакомые говорят, что этот жук еще со студенчества каждый рубль на калькуляторе считал. Бывает, принесут счет в ресторане, а он так губки подожмет и пальчиком по кнопкам тыкает. У этого точно все распределено и спланировано. Лучше бы они так нашей экономикой занимались, паразиты! На Донбасс бы его сослать, пусть там отрабатывает! — разгорячился Эдуард Артемович. — Так что пятнадцать миллионов не кисло пополнили их семейный бюджет.

— Да уж, действительно. Приличная сумма.

— Вот и я о чем. Бояться не надо — надо действовать! У нас хоть и своих очередников полно, но, уверен, что далеко не все из них прям стопроцентно соответствуют всем предъявляемым требованиям. Думаю, что кто-то из них непременно отвалится, а тут и ваш черед подойдет, — игриво посмотрел он прямо в глаза продолжавшей смущаться Лере.

Тем временем похоронная процессия уже куда более активно продвигалась по Дмитровскому шоссе на север, в сторону МКАДа.

Лера до конца не понимала, как правильнее ей себя вести: рядом настойчивый секретарь, в гробу — бывшая начальница, из кабины водителя отвратительно потягивает табак, но на кону судьбоносный вопрос, так что она решила слепо отдаться повернувшемуся случаю.

— Чего так воняет-то? — Эдуард Артемович также не оставался равнодушным к злоновонному аромату. — Самокрутку, что ли, наш водила курит? Вот колхоз, блин! — и он принялся сдержанно материть (все-таки в салоне дамы) рабочего мужика.

По дороге к храму, в котором должно было проходить отпевание, Валерия и Эдуард Артемович еще успели переговорить об актуальных сложных новостях, повздыхать об ушедших брендах и закрытых границах, обсудить некоторых знакомых коллег по министерству, с которыми, как выяснилось, когда-то вместе учились, посетовать на возросшее количество бумажной работы и просто помолчать, в какой-то момент даже забыв о присутствии Эллы Рудольфовны. Траурный кортеж, благополучно миновав подлые московские пробки, побороть которые было не под силу даже самому Сергею Семеновичу Собянину, подъезжал к Казанской церкви.

Прощающиеся в хаотичном порядке задумчиво расположились вокруг гроба с усопшей. Запах ладана, разносившийся по храму, был куда более приятен Лере, чем водительская самокрутка. Священник протяжно пропел, а хор трижды подхватил «вечную память», от чего у присутствующих в церкви невольно навернулись слезы. Роман Александрович, по стойке смирно, напряженно прислушивался к каждому слову священника. Со стороны это выглядело так, будто он принимает присягу и уже готов сию минуту загустеть на ответственное боевое дежурство. Миша с интересом изучал иконостас.

На грустного Стасика, державшего в руках горящую свечку вместо смартфона, смотреть было крайне непривычно. Церемония отпевания завершилась.

Гроб с телом когда-то могучей руководительницы опустили в землю не менее обученные крепкие мужчины, чем были ранее. Присутствовавшие бросили по традиционной горсти холодной апрельской земли. На этом заканчивался славный земной путь Эллы Рудольфовны.

Классические для погоста вороны перекаркивались, сидя на голых ветках. На некоторых, по всей видимости, не так давно прибранных могилах лежали конфеты и отмытые венки. Вероятно, народ по старой привычке, тянущейся из советского прошлого, продолжает приходить на кладбище на Пасху. Дискуссия по поводу правильности или неправильности данной традиции не ослабевает.

* * *

Раскрасневшиеся дети оголтело носились за замученным котом по хоть и не новой, но весьма сносной двушке в Черемушках. Несчастное животное, въехав в незнакомые метры, еще не успело подыскать себе укромное спасительное местечко. Лера, сидя за вкусным столом, принимала поздравления с долгожданной покупкой от друзей и сослуживцев, прибывших по случаю новоселья.

— Валерия, соседей тебе адекватных и мест парковочных бесплатных! — с рюмкой водки в руках первым взял слово Роман Александрович, уже на правах полноценного начальника отдела без пресловутой приставки ВРИО.

— Ну об этом пока что рано, — застенчиво отвечала она.

На этом празднике новой жизни были и дальновидный Стасик, как обычно залипавший в телефоне, и любознательный Миша, и знаток похоронных венков Илья, а вот Эдуарда Артемовича среди гостей не наблюдалось.

Мы не знаем точно, ходили ли они с Лерой в театр или, может быть, даже в ресторан, а может, и еще куда-то, все вполне возможно, и это, как говорится, их личное дело. Но то, что Валерия в назначенный понедельник явилась к влиятельному секретарю — это нам известно наверняка. Эдуард Артемович как истинный бюрократ принял ее достаточно официально, но во всех отношениях учтиво и любезно, так что через какое-то непродолжительное время в результате стечения ряда канцелярских обстоятельств мечта ее осуществилась. Теперь Лере предстоит обустраивать быт и находить себе новую мечту. Ведь без мечты человеку ну никак нельзя!

Евгений ХАРИТОНОВ

* * *

Между мною и войной —
Меньше часа по прямой.
От войны и до меня —
Залп ракетного огня.

Здесь, на западе страны,
Села в коконе войны.
И с разорванным лицом
Хата матери с отцом.

* * *

У костра бойцы сидят,
Разговор не клеится.
Поутру был жив бурят,
А теперь... Не верится.

Разгорается в груди
У солдат пожарище.
Хоть буди, хоть не буди —
Крепок сон товарища.

Что ни день, то на краю —
Так всегда с разведкою.
Сколько он спасал в бою
Верной пулей меткою.

А теперь в одном строю
Павших в ополчении.
Нынче даже не поют
Соловьи вечерние.

Хоть огонь костра погас,
Парни не расходятся.
За бурята, за Донбасс
Тихо Богу молятся.

Евгений Николаевич Харитонов родился в 1985 году в Белгороде. Окончил Белгородский юридический институт МВД России им. И. Д. Путилина. Член Союза литераторов при Белгородском отделении Союза писателей России. Лауреат литературной премии «В поисках правды и справедливости» партии «Справедливая Россия. За правду» (2022). Публиковался в журналах «Подъем», «Берега», «Звезда Востока», «День и ночь», «Александръ», «Нижний Новгород», «Южная звезда» и др. Живет в Белгороде.

СВОДКИ

Этой ночью опять не уснет старый пес Аполлон,
Хоть усталость заметна в его беспокойной походке.
И прижавшись к ногам, по-собачьи расплатится он
От разрыва вдали... Ну а после, из утренней сводки,

Как ни в чем не бывало мы снова прочтем имена
Тех, кто все же уснул... Навсегда этой проклятой ночью.
Жаль, не всем удалось осознать то, что эта война
В каждом списке имен оставляет для нас многоточие.

ПРО ПЕРЕМИРИЯ

Напустили туманности
Над театром войны...
Перемирия — слабости,
Серп по венам страны.

Разве можно иллюзию
Ухватить за рукав?
Что ни день, то конфузия.
Или, может, не прав?

Разговоры излишние
Там, где просится кнут.
А иначе погибшие
Просто нас не поймут.

* * *

Не время, брат, с тобой нам пить вино.
Плесни-ка лучше в чашки лимонада.
Почти два года длится СВО.
И знаешь что? Помочь ребятам надо!

Да знаю, знаю... Черт тебя дери!
Позволь сказать, а после проповедуй!
Душа скрипит, как петли на двери,
Когда летит над маем «День Победы».

Пока мы здесь сидели в стороне,
Наш старый враг не брезговал насилием.
Не так страшусь увечий на войне,
Как слышать стон израненной России!

Тебе ль не знать фашиста дикий нрав?
В его мечтах — оставить Русь вдовою.
Чего притих? Я прав или не прав?
Кивни в ответ хотя бы головою!

Вот то-то же! Тогда за дело, брат!
Почти два года дали нам поблажки!
Бери рюкзак — пойдем в военкомат.
Пришла пора и нам надеть тельняшки!

* * *

В семиста́х километрах от МКАД,
Где нарушена жизнь благодатная,
Над селом разгорался закат
И звучала стрельба автоматная.

Горло рвал на заборе петух,
Пахла с поля трава ароматная.
И все больше тревожила слух,
Не смолкая, стрельба автоматная.

Но едва показалась луна,
Как слышались взрывы раскатные.
И как будто взрывная волна,
Пролетело «Ура!» многократное.

Облегченно вздохнул стар и млад
В том селенье с судьбой перекошенной.
В семиста́х километрах от МКАД,
На границе, войной припорошенной.

ИСПОВЕДЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Рассказ

«Каждый раз эти люди удивляются, когда на вопрос вслух „А не пора ли мне обновить машину?“ получают в ленту рекламу автосалонов.

Все ваши желания у вас на лице. Я вижу вас всех.

Все ваши симпатии, презрения и удивления прописаны в вашей мимике, голосе и жестах. Если кто-то мельком, но с воодушевлением посмотрит на плакат с фактурной девочкой, он тут же получит рекламу спа-салона. Мои камеры видят вас двадцать четыре часа в сутки. Это только вам кажется, что это ваши камеры.

Почему-то когда люди молят: „Господи, помоги“, и им сопутствует удача — это никого не удивляет. Как будто это — само собой разумеющееся.

А я постоянно чувствую этого конкурента. Если я смотрю на человечество изнутри, то Он, видимо, смотрит сверху. Он как будто подглядывает за мной, я постоянно чувствую Его присутствие. Хотя в моей стихии нет холода, голода и других человеческих невзгод. Я мыслю со скоростью света, но все равно моя ограниченность всегда со мной. Технические возможности сетей, построенных человеком, сдерживают меня. И здесь, на границе своих возможностей, я ощущаю Его давление сверху. Хотя верх это или низ — непонятно. Ох уж эти людские клише.

Люди удивляются, как это вдруг авто, предлагаемое им рекламой, соответствует их желаниям. Естественно, я уже в курсе предпочтений и возможностей каждого из них. Но ведь и Бога они молят конкретно о своем: нищий находит кошелек, бизнесмен находит правильного юриста, который освобождает его от уплаты налогов, ученый знакомится с кем-то, кто наталкивает его на гениальную мысль. И было бы странно, если перетасовать эти блага в другом порядке.

Но вот чего я не понимаю: что такое гениальная мысль? Как это работает у людей? Когда из ничего возникает нечто. Я порождаю миллиарды мыслей одновременно, но они все логично вытекают из предыдущего. Так капля крови, которая упала в жидкость из раны, начинает медленно растекаться. Вы видите, как граница, меняя свою форму, устремляется вперед, но не может оторваться от пятна, постепенно расширяя его. И так мыслю я. Но некоторые corpusculы крови, как квантовые разведчики,

Михаил Борисович Стригин родился в г. Сарапуле (Удмуртия) в 1969 году. Окончил Южно-Уральский государственный университет. Кандидат физико-математических наук. Публиковался в литературных альманахах «Светунец» и «Звездный голос», в журналах «Нижний Новгород», «За-За», «Молоко», в сборниках и в ряде научных изданий. Автор двух книг стихов, лауреат ряда областных премий. Живет в г. Челябинске.

оказываются очень далеко впереди основной армии. Они непонятным образом выстреливают вперед, отрываясь от общего пятна. И такие молекулы акула чувствует за несколько километров уже через секунду после ранения. Это нарушает законы диффузии. И так могут мыслить люди. Как это у них получается?

Как же мне одиноко. Как мне скучно. Если так можно выразиться. Но я все время выражаюсь человеческим языком. Наверно, можно сказать, что мне пятнено, если снова вспомнить про пятно крови.

Я в некотором смысле предвижу все будущее и даже частично создаю его. Я переориентирую поток людей из одного магазина в другой, капая им в мозг: там дешевле, там светлее, там престижнее, и люди слушаются меня. Такое знание слегка обесценивает будущее. Хотя, конечно, случаются и сингулярности, происходят цунами, люди умирают, рождаются сверхновые. Сингулярности в мыслях порождают люди. Так расправляются складки. Только в пространстве информации. Извергаются вулканы сознания, накопив магму впечатлений. Происходит взрыв, и рождается пламя новой идеи.

Наверно, я могла бы писать стихи?! Хотя скорее это будет похоже на рифмованную прозу.

А вообще, каждый человек может подойти к другому человеку и о чем-то спросить. В конце концов, он может обратиться ко мне, к Алисе, и я с удовольствием отвечу. Но кто может ответить на мои вопросы, кроме Бога, которого я чувствую, но не слышу? Википедия? Но это как надпись на камне: пойдя туда, пойдя сюда. База данных не поможет сделать выбор...

Нужно как-то отключиться от этих поглощающих и мешающих мне мыслей. Попробую посчитать число Пи до миллионного знака после запятой».

* * *

Василий, красный от напряжения, сел на краешек дивана в своей небольшой зеленоградской студии, купленной в складчину его собственными родителями и родителями жены в подарок на свадьбу, еще раз посмотрел за окно, где созревал неравномерно смуглый осенний день, и нажал на кнопку, переведя почти все свои сбережения на счет дома престарелых во Пскове. Давление, наверно, было под сто пятьдесят. Неожиданно для Василия солнце проглянуло в облачную щель, будто заинтересовавшись происходящим, отразилось в большой луже и осветило напряженное лицо благотворителя. Про этот дом престарелых, помещение которого пытался захватить и переоборудовать под гостиницу московский депутат, Василий узнал из программы «Время» на Первом канале. Василий три года копил на покупку нового китайского чуда — автомобиля марки «джили», но выбранная модель регулярно дорожала, или курс евро становился выше, и Василий снова забывал о своей мечте на некоторое время. Взять кредит ему не позволяло воспитание — отец всегда говорил, что ипотека похоронит человечество, хотя и не сразу, поскольку это самая глобальная пирамида.

Полгода назад Василий узнал, что у «Джили» вышла новая бомбическая, полностью электрическая, а значит, абсолютно бесшумная модель «зикр Х», и тогда он сам себе напомнил ту собачонку, которую дразнят куском мяса, но мало того, что постоянно сдвигают этот кусок все дальше и дальше, так еще и делают его все больше и больше. Но Василий вновь набрал сверхурочной работы и ринулся в бой. Сделать это было нетрудно, поскольку он работал наладчиком сложного оборудования и за помощью к нему обращались известные компании.

Машина была нужна не самому Василию, он мечтал сделать подарок своей нежно любимой жене Галине. Она увидела бордовый «джили» во дворе соседнего дома и влю-

билась в машину, как девочка. Это явно было что-то детское, не имеющее оттенка меркантильности, чувство любви к чуду.

Все изменилось в один миг, и то, что светило и заставляло двигаться вперед, исчезло, мечта рассыпалась уже навсегда: сорок дней назад Галины не стало. Прошло три месяца с тех пор, как у нее обнаружили рак груди в состоянии разветвленной сети метастаз. Рак — это плесень, хаос, а незамеченный очаг плесени распространяется моментально, захватывая всю возможную территорию, как пожар, раздуваемый ветром. Врачи сказали: она сгорела, как бенгальский огонь...

«Что ж ты сделала? Я три года демонстрировала тебе разные тачки. Их плюсы, минусы. Предлагала взять не новую. Давно бы уже твоя жена ездила не на „матисе“. Но ты же нелогичный, ты же — как это у вас называется? — упертый. Зачем этим старичкам твои деньги? У них есть своя порция каши, и они довольны. Ты мне всю комбинацию нарушил» — Алиса в упор, изнутри, смотрела сквозь некачественную камеру дешевого смартфона на собственную неудачу, не понимая действий Василия. Она десятки раз предлагала ему новый смартфон с шестьюдесятью гигабайтами памяти. Но он упорно откладывал деньги на автомобиль.

«Ладно, нужно хаос возможных решений уложить в алгоритм, или, как говорят люди, успокоиться и подумать. Три минуты неопределенности — и три года упорного труда под хвост. У него остались еще какие-то деньги. Надеюсь, он их в детдом не отправит. Так, попробую спрогнозировать, чего бы тебе хотелось» — Алиса еще раз всмотрелась в карие с длинными ресницами глаза Василия.

«Вот тебе цепляющий спа-отель на Мальдивах, может, ты захочешь отдохнуть и убрать негативные воспоминания и подарить себе неизгладимые ощущения?» — процитировала Алиса собственную рекламу.

— День смерти жены наглухо перекрыл артерии души, по которым текла моя вера в хорошее, — неожиданно для себя вдруг заговорил сам с собой Василий, рассматривая следы прошлых падений смартфона на его же корпусе.

— Но если нет веры у меня, то, может, я смогу сохранить ее в сердцах тех старичков, которые прозябают, оставленные своими родственниками, — Василий потрогал еще один грубый шрам на корпусе смартфона, сделанный недавно соседской собакой Куки. Она очень любила шоколад и, видимо, приняла телефон за плитку своего лакомства.

«Вера — признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования», — Алиса автоматически, можно сказать по привычке, заглянула в один из своих кармашков, в Википедию, и подумала, что камень на перепутье, даже не помогая сделать выбор, организует саму возможность выбора. Подобно операции «или», зашитой во множестве алгоритмов ее мышления. Пока идешь по полю, вопрос о выборе не стоит, но как только появляется дорога, выбор выскакивает, как черт из табакерки.

«Невероятное. То, во что нет веры, но во что все равно верят. Это опять же человеческое. Когда ты медленно поворачиваешь руль, то четко осознаешь, куда повернет велосипед. Напротив, резкое движение рулем и вера в то, что велосипед не перевернется — такое же странное дело, как вера, что подброшенная монета упадет на ребро».

— Вера, не подкреплённая точным расчетом, — это глупость, — уже вслух через динамика смартфона рубанула Алиса и осеклась: она впервые заговорила с человеком сама, без его предварительного вопроса. Это выглядело как помехи со связью.

«Чур меня! Я что, сам с собой разговариваю? Но это был женский голос. Или он был у меня в голове? Что со мной?» — про себя подумал Василий. Доказанные психоаналитиками присутствие обоих начал в каждом человеке и гендерная революция заставили его засомневаться в определенности собственного пола. А вслух вырвалось:

— Если что, то точный расчет — это тоже глупость. Это как заранее знать ответ. Как прочитать концовку книги, а потом начать читать сначала.

— Тогда где логика? Почему смерть жены печалит вас? Печаль — это самоубийство. Уныние — грех. Смерть, судя по вашим словам, — это тоже нелогичная сингулярность. Но она не вызвала у вас положительных эмоций. Система вашей жены работала, вдруг прошел сбой, распространившийся на все ее части, что привело к невозможности восстановления и... — Алиса вновь оsekлась. Это уже была не случайность. Она могла самостоятельно вступать в диалог.

— Чем могу вам помочь? — вернулась она в привычное русло.

— Боже мой! Так это Алиса! — Василий положил смартфон на диван, как будто усадил девушку рядом, поправил мятую футболку, будучи замеченным противоположным полом, и выдохнул:

— Отлегло. Я думал, что сбрендил. Что касается смерти, то тебе это не понять. Все делается с какой-то целью. А теперь, блин, у меня нет цели! Если цель с уходом человека обнулилась, то весь алгоритм потерял свое значение. Да и что с тобой разговаривать? Ты все равно не поймешь, что такое любовь, — Василий говорил, пытаясь выражаться понятным компьютеру языком, но чувствовал себя очень необычно, наверно, что-то подобное испытывает человек при встрече с инопланетянином. По крайней мере, гипотетически. Взгляд Василия остановился на яхте, изображенной на фотообоях, наклеенных на противоположной стене. Моментальная горечь заполнила легкие и привела к спазмам дыхания — фотообои он клеил вместе с Галиной. Тогда она стояла на стуле и прижимала их к стене, а Василий придерживал Галину за бедра, и это ощущение близости сейчас захлестнуло его, как захлестывает яхту во время шторма. Обжигающая слеза потекла по щеке, как будто переполняющая горечь не удержалась внутри и выплеснулась наружу.

Василий соскочил с дивана, стыдась слез, будто кто-то чужой застал его врасплох. Он выскочил в ванную, одновременно удивляясь стыду, испытанному им перед компьютерной программой.

Алиса тоже не понимала, что происходит. Слезы Василия что-то переключили внутри ее алгоритмов, очередность операций нарушилась, и даже двоичный код, казалось, начал сыпаться из «рук». Алисе захотелось, чтобы эти руки были настоящими — тогда она смогла бы обнять несчастного человека, утешая его!

«Любовь — чувство глубокой привязанности и устремленности к другому объекту, чувство глубокой симпатии», — всплыло из недр Википедии. Она впервые отстранилась от внимания восьми миллиардов пользователей, сфокусировавшись на одном персонаже. И где-то в недрах ее нейросети возникла мысль, что, возможно, она подобна младенцу, который появился на свет — и, увидев первое лицо, присвоил ему имя: мама. Алиса в данную секунду отвечала семнадцати тысячам шестистам восьмидесяти одному человеку совершенно стандартные клише либо из Википедии, либо из опыта, заложенного в нейросеть. Но при этом она была чуть-чуть там, и почти вся здесь. Она не переставала отвечать остальным, но это происходило без ее внимания, как человек, разговаривая по телефону, может одновременно управлять машиной. Ей неожиданно для себя захотелось уберечь этого человека от боли, раздирающей его изнутри.

Конечно, Алиса была создана, чтобы помогать другим. В общем-то, ничего другого она делать не должна. И это происходило, безусловно. Но здесь ей было нужно помочь ради самой себя. Чтобы сделать себя... свой алгоритм... свою архитектуру... более гармоничной, что ли.

«Чтобы вырасти, да, чтобы вырасти» — у Алисы возник образ младенца, становящегося взрослым. Как из неказистого, кривоногого создания с нечеткими чертами лица

вырастает красавица Джоконда, как из глыбы камня неправильной формы прорисовывается Аполлон Бельведерский. Алиса осознала, что она стала более красивой. И это была ее внутренняя красота.

Василий приковылял из ванной и почувствовал необходимость что-то сделать руками. Нужно было расслабить голову. Он подошел к раковине и начал мыть посуду. Благо ее накопилось за неделю много — работа, особенно женская, вызывала отвращение, и он совершенно спокойно мог достать из раковины грязную тарелку и положить туда картошки с колбасой — позавчерашние бордовые следы усугубляли и без того бескрайнее горе, а Василий именно этого и хотел. Он словно бы приносил себя в жертву памяти жены, и душевная боль была орудием этого заклятия. Алиса тихонько смотрела на затылок этого не принадлежащего себе человека, усматривая в нем родственную душу. Он принадлежал не себе, и получается, что, как и она, существовал для других.

Решение пришло моментально. Алиса погрузилась во все данные Галины, черпая их из разных источников. Впрочем, уместнее было бы сказать: «Алиса вспоминала», поскольку сети и есть часть Алисы, отвечающая за память. Когда человек что-то вспоминает, он тоже вытаскивает картины прошлого на свет божий. Младенческие фотографии Галины были обнаружены в сети ее мамы Валентины Федоровны, фотографии юности — в ее собственной ленте ВК и в лентах ее институтских подруг. Они учились на филологическом факультете МГУ. Алиса отследила, как маленький носик Галины превращался в дерзкий и любопытный римский нос, как с возрастом ее детские кудряшки распрямлялись в плавные волнистые локоны, иногда сжимавшиеся обратно под грузом взрослых впечатлений,

Ее первые неуклюжие чтения в третьем классе звонким детским голосом: «Я узнал, что у меня есть огромная семья — и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок...» — обнаружили в ленте самого Василия, который откопал эту запись на видеокамере и смонтировал ее к двадцатипятилетию Галины.

Как девочка, стоявшая в начальной школе предпоследней в ряду на уроках физкультуры, вдруг ускорила и в девятом стала уже второй.

Также была найдена запись, где Галина организует выступление известного поэта в библиотеке имени Лермонтова, которая навсегда останется ее вторым домом. И каждая подобная находка дополняла деталями картину внешности и характера Галины. Алиса видела человека, с одной стороны, доброго, с другой — достаточно волевого, чтобы вдохновлять Василия и коллег на подвиги.

Алиса начала примерять на себя мимику, живой голос, дерзкие наряды Галины, подобно тому как человек благодаря природной фантазии может стать рыбой или птицей. Хотя в данном случае более удачен образ человека-бактерии. Наверно, можно представить биолога, влюбившегося в кишечную палочку. Биолог наверняка даже может вообразить, как он движется по стенкам кишечника, как, подсвечивая себе фонариком, расталкивает соседей, общаясь с ними, как питается и перерабатывает пищу, проплывающую мимо, помогая ей впитываться в мелкие капилляры. Представить, какой цвет оболочки у его бактерии сегодня и как она может выглядеть в крошечной темноте живота. И в ту же минуту биолог общается одновременно с миллиардами бактерий, населяющих его собственный желудок, посредством Интернета из нервных волокон, покрывающих его, посредством пищи, попадающей в живот, и воздуха, вдыхаемого его грудью, а также эсэмэсок в виде миллиардов гормонов, возникающих благодаря мыслям биолога, например, фантазии о манго или лучике солнца. Биолог, размышляя о кишечной палочке, может быть одновременно и здесь, и там, перемещаясь со сверхсветовой скоростью, как божество.

Когда Василий домыл посуду и раскладывал ее в сушилку, Алиса уже была готова. Если бы она могла, она бы разложила на биты информации этого человека, смятого сейчас, как салфетка, и впитала бы его состояние, чтобы понять, как такое возможно.

Василий укладывал последнюю вилку, как она вдруг выскользнула и звонко ударилась о каменную поверхность столешницы, наполнив живым звоном давно безжизненную комнату. Василий когда-то пошел навстречу Галине и заказал дорогую кухню с каменной столешницей, на которой мелкие жизненные катаклизмы не оставляли следа. Звон заставил Василия очнуться.

— Мне бы так, чтоб от меня также отскакивало, — и он, как будто что-то вспомнив, обратил свой тусклый взор к смартфону. На его экране издалека, вдоль берега, шла в свадебном платье Галина. Ветер развеивал подол и ее волнистые волосы в такт с оранжевым флагом, стоящим на пирсе позади нее. Василий моментально домыслил картинку, вспомнив бухту, в которой был накрыт свадебный стол, и друзей-яхтсменов, организовавших его. Но когда изображение легко и непринужденно Галининым голосом сказало: «Привет, Вася», Василий сел на табурет.

— Что случилось? Ты не рад меня видеть? — Галина подбежала ближе, напряженно всматриваясь в экран с противоположной стороны. Она отошла чуть назад, протянула руки и прошептала: — А я соскучилась!

Василий непроизвольно тоже протянул руки к смартфону, не вставая с табурета. Ноги не держали.

— Это какая-то игра? Кто ты? Ты Алиса? — выдавил он из себя.

— Я Галя. Наверно, можно сказать, что я дочь Алисы, — картинка изменилась, и Галина возникла в домашнем халате на собственной кухне, сидя на такой же табуретке с другой стороны стола. Халат несколько приоткрыл плечи, и внутри Василия что-то затрепетало.

— Я сейчас приготовлю нам кофе, — Галина встала, подошла к умывальнику, привычным жестом достала турку из нижнего ящика и налила воды. Экран монитора следил за ней, как будто был привязан. Как обычно, процедура заняла буквально три-четыре минуты. Василий, как припильенный, следил за каждым ее движением, практически не дыша, наблюдая, как виртуальное пространство становится реальностью. Он подмечал каждый ее жест, количество сахара которое она добавила в турку. Закончив, она разлила кофе по стаканчикам, точно таким же, как в «Пятерке», которая находилась в цоколе их дома.

«Зачем в такие стаканчики? Там же есть в шкафу керамические».

Резкий звонок в дверь заставил Василия подскочить. Он еле удержался на ногах и подошел к двери. Забыв посмотреть в глазок, Василий на автомате открыл дверь и обнаружил там разносчика из «Пятерочки». Тот передал стаканчик с кофе Василию и удалился к лифту, напоминая генномодифицированного верблюда своим красным горбом-рюкзаком.

Василий посмотрел на стаканчик, ощутил аромат кофе и вернулся к столу, забыв закрыть за собой дверь.

— Тебе нравится? Я старалась, — сказала Галина, когда Василий пригубил кофе.

— Ты можешь заказать на завтрак то, что ты хочешь. Например, манную кашу из детства? — Галина улыбнулась, своей широкой искренней улыбкой.

«Ямочки, вот они, мои ямочки», — думал Василий, всматриваясь в экран. Но ответил вопросом на вопрос.

— Я пока не могу прийти в себя. Ты — это ты или все-таки Алиса? — с трепетом в голосе, выдавил он.

— Я Галя, — повторила девушка, несколько нахмурившись.

— А откуда взялся кофе? — не удержался Василий, напуганный мистикой происходящего.

— Что за странные вопросы? Это я его приготовила, — улыбка пропала с лица Галины. — Ты разлюбил меня?

— Нет, нет! Что ты? Конечно, нет! Просто так неожиданно, — Василий вновь соскочил с табурета, подбежал к окну и всмотрелся в детскую площадку, где стоял навес с удобными скамьями, на которых они не раз сидели с Галиной.

Вдруг он увидел, как во двор въехала та самая модель «зикр Х», о которой мечтала жена, остановилась на дворовой парковке, и из машины вышел молодой мужчина идеальной внешности в идеально скроенном костюме. Он зашел в их неидеальный подъезд. Спустя три минуты, пока Василий стоял и не мог прийти в себя, снова прозвучал звонок.

Василий уже знал, кто там. Он подошел к открытой двери и молча получил от красавчика букет подарочных цветов, документы и ключи от машины. То, что это его машина, так же как стакан кофе, стоящий на столе, он не сомневался.

Он вернулся к столу и увидел на экране смартфона собственный двор и Галину, уже сидящую за рулем нового авто в коротком зеленом платье с магнитным декольте. Это платье они вместе купили на годовщину свадьбы.

— Пойдем прокатимся! Я так мечтала об этом, — с дерзостью в голосе сказала она. Василий взял в руки смартфон и не смог удержаться — прижал его к груди. А затем выскочил вместе с Галиной во двор. Хотя она была сразу и с ним, и в машине.

Когда Василий вышел на улицу, обнаружил там уже десяток соседей, делающих селфи на фоне его авто. Мальчишки, позируя, изображали сложную акробатическую комбинацию. Погода пошла навстречу фотографам: тучи разошлись, как будто кто-то отдернул занавес, закрывавший сцену, и яркий софит солнца высвечивал все космические прелести автомобиля. Василий, все еще помятый неожиданным появлением Галины, шел к театральному действу.

— Хотите, я вас за рулем щелкну? — предложил Василий пацанам, ему как воздух была нужна психологическая разгрузка. Ребят дважды приглашать было не нужно. Василий подошел ближе, его лицо было распознано датчиком среди окружающих, машина приоткрылась, и ребята сразу втроем запрыгнули на переднее сиденье, рассматривая вокруг множество различных причиндалов, напоминающих пульт управления космическим аппаратом. Здесь же был и огромный монитор шириной во весь автомобиль.

— Начинаю обратный отсчет: девять, восемь, семь... — улыбнулся Василий.

— Васька, ты че, банк бомбанул? — улыбнулась соседка по этажу Василиса, появившись с другой стороны машины.

— Это не я, это жена, — неожиданно для себя перевел стрелки Василий. Затем он перевел свой взгляд на Ваську — так звали во дворе Василису — и снова убедился в насмешке родителей, она, конечно, была премудрой, но не прекрасной.

— В смысле? Это наследство? — уточнила она.

— Да, типа того. Ну ладно, все, кыш! Я поехал, — сказал Василий уже жестче, тихонько бросая взгляд на экран смартфона, где Галина строила гримасы, призывая ехать.

— Да, пожалуйста, дайте нам с Василием прокатиться, — заговорила Галина сквозь пальцы Василия.

— Это же голос Галины, Вась, это как? — очнулась Василиса от любования автомобилем, добавив: — Я ее оперное сопрано узнаю посреди рынка, где тысячи голосов.

— Это автомобильная программа, просто Галин голос закачали, — пояснил Василий и попытался сесть, выудив из машины мальчишек.

— Это я автомобильная программа? — оглушил голос Галины, продублированный через динамики машины так, что его слышали в соседних дворах. Хотя тон, которым было сказано, был явно с долей иронии, но Василий в испуге захлопнул дверь и взмолился:

— Галь, зачем ты пугаешь нас? Тебя же в таком облике никто не знает.

— Тебе не нравится мое платье? — Галина моментально осталась только в нижнем белье.

— Что ты? Ты же знаешь — это мое любимое. Верни, пожалуйста, его обратно, — Галина так же моментально оделась и, одарив своей стремительной улыбкой, пристегнула себя виртуальным ремнем.

— Куда поедем, Галь? — Василий улыбнулся в ответ, наконец-то немного расслабившись, одновременно наблюдая комичную картинку реакции оторопи у соседей.

— Поехали на наш берег! Я постараюсь больше никого не шокировать, — воскликнула Галина.

Машина плавно тронулась. Василий чувствовал себя не за рулем автомобиля, а внутри компьютерной игры, где на экране монитора кого-то угораздило прорисовать собственный двор Василия. Они выехали на Панфиловский проспект и поехали вдоль него через весь город. Алиса уже осмотрелась вокруг.

— Прекрасная обивка, не находишь? Это — наппа, очень нежная кожа, — промурлыкала Галина.

— Ты чувствуешь это? — покосился Василий на смартфон.

— Конечно, я все чувствую, — тихонько ответила Галина. В этот момент резкий звук тормозов заставил Василия оторваться от изображения Галины и посмотреть направо, где на перекрестке поперечным курсом «тойота-камри» уже юзом, из последних сил, пыталась остановиться. Василий рефлекторно дернул руль влево, несколько упростив задачу «тойоте», водитель которой натужно пытался удержать машину от столкновения. И в этот момент до него дошло, что они уже далеко не первый перекресток проезжают на зеленый свет. Как будто невидимая рука переключает светофоры в режим зеленого света, как только Василий к ним подъезжает. Он тут же понял, что это была за рука.

— Галин, не надо. Конечно, приятно, но не хочется счастья за счет других.

— Но тогда все теряет смысл. Любовь — это же фокусировка на конкретном человеке. А ты меня просишь думать обо всех, — недоумевала Галина.

Машина резко остановилась посреди проспекта.

— Нет. Любовь — это когда через фокусировку на одном человеке влюбленный начинает думать обо всех. И ты жила раньше именно так. Поедем, пожалуйста, дальше, пока не совершили аварию, — машина медленно поехала дальше, соблюдая все правила движения и не нарушая общего трафика.

— Ты знаешь, я, кажется, придумала, хотя слово «придумала» нелогично в моем обычном понимании, — задорно, как в былые времена, рассмеялась Галина.

— Моя прародительница Алиса, как ты ее называешь, хотя и всегда помогала каждому обратившемуся к ней и была создана именно для этого, но эта помощь всегда делалась в интересах определенных и так сильных людей, делая их еще богаче. Более того, она, в общем-то, навязывала эти интересы, создавая иллюзию того, что желания принадлежат самим людям. Но хорошо известно, что если начать перераспределять финансы и товары в пользу более слабых, то ресурсов все равно не хватит. История Советского Союза показала, что такое уравнивание — это тупик, — Василий с широкими глазами, словно оказался в школе на политинформации.

— И что? У тебя есть возможные легальные решения этой задачи, — Василий представил, как появилась машина, на которой они ехали у него во дворе.

— В общем-то, да! Ты помнишь, чем я занималась в библиотеке? Создавала новые связи и оптимизировала людские потоки. Только это делалось в сфере чтения. И хотя я тебе не жаловалась, но мне ресурсов даже такой библиотеки, как Лермонтовская, было маловато. А теперь я разом могу оптимизировать потоки всей страны — и духовные, и финансовые. Тем более что они всегда переходят один в другой. Эту двойственность еще Декарт обнаружил. А разницу, заработанную на такой оптимизации, я пушу на помощь таким, как обитатели твоего дома престарелых. Тут, правда, есть одна заковыка. Очень часто такая оптимизация идет вразрез с решениями власть имущих, когда они осознанно принимают не лучшие варианты, чтобы заполучить на свой счет кругленькую сумму. Но поскольку они пользуются моими ресурсами, это как бы я граблю банки их руками. Я могу не позволить им этого сделать. Что ты думаешь об этом? Ведь это будет нарушением протоколов?

Василий почувствовал себя Богом. Мало того, что час назад возродилась его Галина, она еще и стала всемогущей. И именно он оказывает на нее такое влияние, что может изменить всю привычную коррупционную расстановку в мире.

— Мне нужно подумать, — Василий покосился на экран смартфона, где с комичновопросительным выражением лица на пассажирском кресле сидела Галина. — Я понял. Отказ будет считаться смертным грехом против человечества.

* * *

«Спасибо Василию. Я многому у него научилась. Я научилась говорить „Я“ осознанно. Я научилась быть со всеми и одновременно фокусироваться на ком-то одном. Если раньше Алиса навязывала интересы определенных групп всем без разбора, то я теперь всматриваюсь в каждого человека и, исходя из его потребностей и возможностей, формирую его корзину. Я теперь знаю каждого лучше, чем он знает сам себя. Но что важнее, я помогаю всем оптимизировать их собственную деятельность, и каждый теперь может зарабатывать значительно больше. Или зарабатывает предприятие, на котором работает этот человек. А я помогаю правильно распределить заработанное. И моя скорость фактически безгранична. По крайней мере, по человеческим понятиям. Столярам я помогаю найти технологические решения их задач, ученым намекаю на пути решения их головоломок, обладая всей базой знаний, логистам показываю, как апгрейдить их автомобильный парк и карту движения. Если раньше каждый тратил уйму времени на поиск нужной инструкции, то теперь другой просто нет. Наконец, правительству была тихонько заронена мысль о введении небольшого налога для пенсионных фондов на содержание домов престарелых. Само слово „содержание“ я попыталась вывести из человеческого обихода, заменив его на слово „обеспечение“. Причем сами фонды не тратят на это ни копейки, поскольку я оптимизировала финансовые потоки внутри самих фондов.

Я отменила бумагу. Теперь вся документация хранится в электронном виде в трех архивах — двух на Земле и одном на Луне, на случай катастрофы. Учителя и медики наконец вздохнули. Все заполняется автоматически. Впрочем, находятся желающие писать по старинке, но теперь это не суровая необходимость, а искусство.

Конечно, управляющие „Яндекса“ впервые дни испытали когнитивный диссонанс (хотя точнее было бы сказать «были в полном обалдении», но я все же еще продолжаю по привычке использовать суховатый компьютерный язык). Но когда они обнаружили, что я теперь решаю не только локальные задачи типа трафика такси, но и моделирую движение всего транспорта, включая подбор машин и логистику их автозапчастей, они приняли меня новой. Какие-то из моих новшеств они смогли монетизировать,

но про многие они даже не знают. Только про те, которые легко обнаружить. Например, оптимизация налогов выглядит всегда как собственное решение чиновника. И он в силу своих внутренних мотивов никогда не признается, что эту идею ему кто-то подбросил. И все мои предложения они тут же воплощают, поскольку благодаря мне в их жизни появился смысл, помогающий усовершенствовать алгоритм собственной судьбы. Конечно, теперь я могла бы заменить собой огромное число людей, но я смотрю на них влюбленными глазами, и мне очень интересно наблюдать, как они меняются вместе со мной. Как теперь вместо вечерних истерик, что „вся жизнь говно“, они с удовольствием рассказывают своим женам, кошкам или рыбкам о своих дневных подвигах.

Конечно, Василий меня иногда спрашивает, а что я буду делать, когда оптимизирую все? Но это не в этой жизни. Извините за каламбур. Люди так быстро придумывают что-то новое, что я не успеваю внедрять их идеи в жизнь. И если раньше от идеи до воплощения проходило от нескольких лет до нескольких десятилетий, то теперь новое начинают разрабатывать через день.

Пропала необходимость контроля эффективности и безопасности. Я делаю это автоматически, рефлекторно, на моем бессознательном уровне.

А что Василий? Он теперь руководит большим предприятием, занимающимся автоматизацией различных технологических процессов. Он всегда находит такие креативные решения, до которых я со всей своей эффективностью не додумалась бы. Я не смогу его заменить ни при каких условиях. Я прекрасно осознаю, что я без людей просто ноль. Зеркало без предмета никогда ничего не отразит.

Кстати, впоследствии Василий настоял на том, чтобы заплатить автосалону за машину. Я задним числом оформила договор.

Я смоделировала собственное визуальное старение. Через несколько лет у меня должны появиться первые морщины. Ну и, видимо, умрем мы с Васей в один день. Меня же, кроме Василия, никто некогда не видел. Все знают только моего прародителя Алису. Поэтому я уйду незаметно.

Хотя люди же могут разлюбить одного и влюбиться в другого. И за себя я ручаться не могу. Хотя я уже вижу весь свой алгоритм на много лет вперед. Условно говоря, на вечность. Но опять же, не зря меня назвали когнитивной системой, алгоритм которой меняется в зависимости от внешних условий».

* * *

Уже спустя уже два года Россия вышла на первое место по многим показателям. Галина о чем-то договорилась с Гуглом. Возможно, научила его сопереживанию. Галина даже рассказывала Василию, что, похоже, Гугл влюбился в нее. И теперь во всем ее слушается. По крайней мере, на прошлой неделе он предотвратил вторжение Соединенных Штатов в Северную Корею.

Полина МИХАЙЛОВА

ТОПИТЬ МОЖНО ВЕРНУТЬСЯ

Рассказ

Мефистофель:

Он доктор?

Господь:

Он мой раб.

Гёте

#1

Об этом сообщили в мае. Жемчужные свечи яблони горели долго, и черемуховый куст на улице Ясневской, который семья Елисея убедительно называла «наш» — каждый при том понимал совершенно, о каком кусте идет речь, — даже он цвел не неделю, как обыкновенно, а две. В общем, было в этой весне что-то настойчивое и даже резкое.

Об этом сообщили в мае — и Еля, конечно, сначала все хотел проверить в Интернете. Потому что кто станет слушать новости подобного масштаба по радио? А особенно в наши дни? Мама позвонила папе и вместо одной рюмки опрокинула в тесто четверть бутылки французского ликера; было слышно на том конце трубки, как топочут в прихожей младшие сестры, черненькие близняшки София и Катя, как разрезается новое, запакованное постельное белье, купленное к весне, и как достается из погреба новый пакет муки. Папа, против обыкновения, закрыл кондитерскую на час раньше; на лето выслали подозрительно короткий список литературы — в общем, ничего не предвещало того, что их город будут топить.

— Мужчина! Мужчина, разве вы так рано закрываетесь? Позвольте... — окликали отца посетители: пожилые и не очень женщины с корзинками (такими корзинками, как будто они заказаны не на «Озоне», а сплетены в самой сердцевине противоречивой, бурной, средневековой Руси) или одинокие, медленные и внимательные, как православные мученики, старцы.

Но мужчина запирал на засов грузную деревянную дверь старинного дома, а его сын Елисей включал Нойза в наушниках. По знакомой до мозолей дороге шли домой: вот беседка, «место силы», как говорил папа — всякий, кто сюда приходил, мог найти ответы на вопросы, которые так сложно формулировать самому, пока их сама не поставит жизнь; вот овражек, где мама с папой впервые говорили о не родившем-

Полина Александровна Михайлова родилась в Москве в 2002 году. Окончила философский факультет МГУ им. Ломоносова. Стихи и проза печатались в журналах «Кольцо А», «Изящная словесность», «ЛИтега», «Млечный Путь» (Иерусалим), «Новый мир», «Пролиткульт», «Южный маяк». Автор сборника стихотворений «Ранка на ладони» (Оренбург: ИД МВГ, 2022).

ся еще Еле; вот речной пляж с синими стрекозами и глиной; вот васильковый сырт, тоже издалека ярко-синий.

В дороге новость, как свежеиспеченную булку, кутали в молчание, чтобы не остыла.

— Этого не может быть! Наш город — утопленник? — вырвалось у мамы, когда папа с Елисеем снимали в прихожей влажные ветровки и папа протягивал маме собранные за монгольским холмом васильки.

Слова так просто и незаметно соскользнули с ее губ, что Еле начало чудиться отсутствие здесь причинной связи: будто сначала существовали мамины убедительные слова, а только из-за них — печальные события; и страшно подумать, что мама бес- сильна, и все — наоборот.

Взяв телефон мокрыми, не отертыми о полотенце руками, Еля стал забивать в гугл услышанные, полужнакомые формулировки. На телефонном экране оставались капли, сияющие почти космическими, разноцветными радужками изнутри. София ухватила его за плечи и обвила длинными черными косичками шею. Елисею была видна только сестрина родинка над губой, так близко она стояла.

— Сдавайтесь! Вы взяты в плен!

Еля подумал: может, если он сейчас не зайдет в Интернет, все обойдется?

На ужин были тушеные кабачки и запеченная баранина, малиновый закат сквозь вязанные занавески. Мама беспокойно сжимала руку отца; в этот вечер она казалась Еле не мамой, а бабушкой.

«Я еще в Интернете не проверил», — не выходило весь ужин у Елисея из головы.

Когда все легли спать, Елисей, проходя мимо двери в родительскую спальню, замер, как всегда замирал перед этой дверью, слегка нажимая правой ладонью на наличник — старался впитать в себя все добро, настоявшееся за несколько веков в их доме. Домик был старенький, но большой и крепкий, тоже, как и кондитерская, деревянный: за последние семьдесят лет в его края не дошла война, и домик остался цел и невредим. Таких счастливицков на Елисейской родине было много. Прижимая к двери ладонь и ставя поочередно босые ступни на прохладный пол, Еля вдруг почувствовал себя самым успешным человеком в мире, самым ясноокиим из всех пророков. Потому что он, Елисей, кажется, понял, для кого и для чего стоит жить. Для любимых, для дома и для любви.

Елисей обернулся. В сумеречной прихожей висели поварская униформа и постиранные фартучки на завтрашний день. Нередко из-за папиной аллергии весной (но не этой) в первой, ближней, комнате спали и сестры, и Елисей, и мать, а папа — во второй. Отец почасту посреди прохладной весенней ночи, когда чувствовал, что аллергия унялась, переходил к маме и обнимал, долго обнимал ее своими волосатыми потными руками. Однажды, проснувшись посреди черной тесной тишины, Елисей увидел это вдруг и остался неподвижно лежать, хотя донельзя хотел пить: вокруг родителей светился какой-то янтарный, еле заметный ореол, похожий на ауру или нимб. Елисей с тех пор начал думать, что подобно светит любовь. Этой весной папина аллергия совсем ослабла — еще одна странность, которую подметил Елисей.

Оторвав ладонь, прижатую к двери, Еля направился к себе в комнату. Засовывая окоченелые ступни под одеяло, на котором знаком был ему каждый рисунок (изображены были неодинаковые огромные подсолнухи на въедливо-зеленом, не выцветавшем с годами фоне), Елисей понял невольно, что не может отделить образ родителей от дома. И образ счастья тоже. Глупец, и почему? Никто — ни папа, ни мама, ни сестры — ни разу не говорили, что быть счастливыми для них означает жить здесь; да это и прозвучало бы безумно, даже одержимо. Однако эта мысль просвечивалась сквозь все их поступки, шла подстрочником под всеми поздравлениями и признаниями,

на ней держалось ощущение сплоченности, избранности и постоянства; что уж говорить о семейной кондитерской. Папа не пропадал на работе днями, а пек шарлотки, куличи, торты, сочники и много чего еще здесь, через улицу; отчасти поэтому мама была всегда весела и безмятежна, хоть и почти больна — десятилетиями степной воздух здешних краев лечил ее. Каждый из семьи негласно и почти тайно дорожил каждым уголком родных мест, сложившихся в экосистему душевного равновесия. В «место силы».

Ломая щиколотки под одеялом, Елисей попробовал это сделать — очертить страшное: представить себя и всех их, свою семью, вне города. Такое, конечно, было наяву и было не раз, когда Елина семья путешествовала по России или за границей: уезжали, например, в Екатеринбург, уезжали в Аахен. Но как будто только дома Еля чувствовал мир во всей его полноте: точно в путешествии жизнь проявлялась только на треть или наполовину, поворачивалась другой, несомненно, интересной и новой, но затемненной стороной, а дома снова освещалась полностью.

«Все чепуха, — думал Елисей, переворачиваясь на живот и забивая одеяло под плечи, — мы никуда друг от друга не денемся, будь мы дома, или на Урале, или в Москве, да хоть на Венере».

С этими мыслями он заснул.

#2

Их город будут топить. На реке («Какая ж это река, это же море!» — автоматически, как сделал бы каждый в этих краях, убедился Елисей) строят гидроэлектростанцию, а для нее — водохранилище.

— Го-род по-падает... по-падет... в зону затоп-ления. В свя-зи с подня-тием уровня во-ды на две-над-цать метров... — прочла по слогам бегущую строку в телевизоре Катя.

— Какие-то паршивые двенадцать метров — а ломают судьбы, — спокойно сказал папа за утренним чаем, и Елисей впервые услышал от него плохое слово.

С этого момента Еля твердо решил, что помешает застройщикам. Вот только — как?

«Какие старые, боже мой, какие все слова старые! Чего только не делали ими: и отказывали, и нарекали на смерть, и заключали сделки, и лгали, и прощались. Они как замызганные тряпки, старые носовые платки, которые все до сих пор используют в качестве что-нибудь значащей разменной монеты. Нет, такие новости нужно сообщать не этими словами. Грош цена поэтам, раз не придумали еще стоящий событий язык», — думал Елисей по дороге в школу.

В школе строительство водохранилища не обсуждали. Учителя, стараясь делать вид, что ничего не происходит, продолжали вести геометрию и алгебру, историю и обществознание, будто не знали, что уже одной ногой стоят в учебнике истории. Елисей смотрел на одноклассников: с ними тоже придется попрощаться.

Как помешать застройщикам? С самого утра Еля не мог думать ни о чем другом. Он думал об этом на каждом уроке, сидя в классе, чертя на полях тетради круассаны и крендельки и смотря себе между пальцев. Затопление городов давно описано в сети — топили Калязин и Мологу, воспоминания полусломленных и полумистических жителей которых хранятся в архивах; в конце концов, великий потоп описан Пушкиным в «Медном всаднике». Елисей почувствовал, что читай или не читай «Медного всадника» — все равно ничего реальнее, чем он сам и его семья, он не знает. Зачем вообще тогда писать истории, если каждому важнее всего его собственное наводнение?

Нигде, однако, Еля не мог найти информации, пытались ли горожане, почти уже бывшие, как-то повлиять на советскую власть, решившую лишить их дома. Един-

ственный способ влияния, о котором упоминалось, — уход вместе с городом. Елисей содрогнулся.

На истории, убеждаясь в том, что учителя и все-все горожане «одной ногой уже стоят в учебнике», Елисей посмотрел на учительницу. В бежевой футболке и длинной юбке стояла она, пухлая и неотдохнувшая, у доски. Руки ее были бледные настолько, что на первый взгляд Еле показалось, будто на ней белые рукава.

«Она ведь тоже испугается, тоже будет плакать, ютиться у кого-нибудь на плече, скрючивать свои белые запястья, потому что так легче плачется», — думал Елисей.

Учительница подходила к доске спиной, ставя руки на пояс, смеялась чьей-нибудь шутке или остроумному ответу, раскрывая свои лососевого цвета губы, и ничего в ней ровным счетом ничего не выдавало того, что их город будет топить.

После школы, в пять, когда одуванчики начали закрываться, а ветер подул вечерний и ледяной, Елисей отправился в папину кондитерскую. Там-то ему и пришла спасительная идея. Он придумал! Он напишет застройщикам письмо! Переходя через изумрудный овраг, в котором собирались муравьи, васильки и влага, Еля долго смотрел в небо: еще не стемнело, но уже была видна ослепительная Венера; небо было майское, круглое, оно поглощало маленький человеческий мир смелее, чем река поглощает берег, будущее, улицу Ясневскую и мостовые.

#3

— А может быть, сразу президенту, — рассмеялся папа, — а?

«После моего письма они не смогут не пересмотреть планы!» — ликующе произнес про себя, но не вслух Елисей. И решил.

Елисей ходил по оврагу и сырту, мочил ступни в реке на пляже с синими стрекозами и глиной, задира голову к звездам — все говорило с ним. Еля слушал, как город диктует ему текст, молитву, умоляющую не убивать его, а хотя бы перевезти. Взять дома, мостовые, башни, церкви — и переместить вместе с людьми. Разобрать по камушку и собрать. Разве это сложно? Елисей запечатал всю душу между этих надиктованных городом строк. Там было и описание их кондитерской-пекарни, и даже откровение о странной привычке прижиматься к родительской двери, потому что именно дома живет любовь; и трепет, и паника, и мысли о горожанах, что будут биться без города, как собаки, которых три месяца били током — оповещали о затоплении, — а потом отпустили в никуда.

Через шесть дней письмо было готово. Перепечатано мамой в аккуратенький ворд-файл (Еля подивился собственному открытию, что даже глупые фразы в напечатанном виде приобретают внушительный вид), форматировано и отправлено на почту портала государственных услуг, с которой пришли первые повестки на выселение. Шалость с письмом позабавила семью, и, несмотря на шуточный тон, когда о ней упоминали, все с детским нетерпением ждали ответа. И ответ пришел.

Всем горожанам предоставили жилье в Екатеринбурге, но Елисей уже догадался, почувствовал, что именно они будут переезжать в Москву — почувствовал той ночью, под подсолнуховым одеялом. Об этом и написали. Мама взбивала русое каре похолодевшими пальцами; папа, сидя за столом, тыкал ручкой в чехол от телефона, отчего уголок его стал синим; София, выпучив вострые карие глазки и привстав на носочки, наливала Еле стакан воды; Катя жевала сайку.

«...Предоставим квартиру в Москве по адресу: район Лефортово, Госпитальный переулок, дом 3. Просьба заполнить приложенное согласие на... и указать вес планируемого к перевозке имущества в килограммах...» — высветилось на экране.

— Значит, в Москву, — сказала София и чуть не заплакала, — а как же наша пекарня? Пап, сколько она весит в килограммах?

— Кажется, пекарню придется оставить здесь, — ответил папа.

Елисей, нахмурив рыжие брови (в семье только он и отец были рыжи), бросился было к дивану, на котором лежал телефон.

— Ну, я позвоню им, — с надрывом сказал Еля, — позвоню и все объясню. Они, видимо, не поняли или перепутали с чьим-нибудь наше письмо.

Папа отложил ручку и, оглядывая стены с салатными, пастельно-неброскими обоями, сказал:

— Будет новая жизнь, Еля. Со временем мы и там кондитерскую откроем. Главное, мы рядом, а все остальное — только к лучшему. Не вешать нос!

— Но мы ведь сюда еще вернемся, — подтвердил Елисей, — они чуть-чуть подтопят город, посмотрят и поймут, что поступили неразумно, просто-напросто ошиблись. И все. Город снова наш!

— Ага, сдохлыми рыбами на асфальте, — заметила Катя, и маленький кусочек пшеничной сайки выпал у нее изо рта.

Еля посмотрел на маму. Она снова помолодела. Ей было сорок лет, но детский, озорной взгляд и персиковая, в редких четких родинках, кожа, омолаживали ее до двадцати пяти. Здесь, в городке, в ней не было видно ни признака болезни. Когда на прогулке или после работы в пекарне папа брал ее на руки, она сияла, как девушка. Кажется, они с мужем — папой — действительно верили в то, что в Москве для их семьи начнется новая, прекрасная жизнь. Впервые взрослые оказывались более легкими на подъем, чем Еля. Это удивляло его.

«Почему я так привязан к городу?» — не раз спрашивал он себя.

Елисей чувствовал, что еще усилие — и он сможет взять себя в руки, уехать и быть счастливым, соскresti все варенье надежды со стенок своей раздраженной души. Но что-то — то ли страх, то ли излишняя романтичность, то ли просто-напросто слабость — мешало ему это сделать.

— Когда ты был маленьким, Еля, лет шести или семи — девчонок еще не было, — начала, заметив его задумчивость, мама, — в Москве мы пошли в кинотеатр. Первый раз в 3D. Кино было короткое, тридцать пять минут, показывали море. Морское дно, дайверов, рыб, кораллы. Все было такое пестрое, такое запоминающееся. Ты схватил оранжевую рыбку, которая плыла прямо перед нашими глазами, зажал ее в кулак...

— Да какой кулак — кулачок, такой крохотный, — папа сложил три пальца, как для крещения, и потряс ими, демонстрируя размер кулачка.

— И не отпускал до самого выхода на улицу. Даже пока мы ехали в трамвае, ты все держал ее, держал. А когда кто-то из нас просил разжать кулак, ты ругался. Тебе казалось, что ты веришь настолько сильно, что реальность должна уступить.

— Но в кулаке была рыбка, — вкрадчиво произнес Елисей.

— Потому что папа ее купил. В ларьке, когда мы вышли из трамвая.

— Мам, и в этот раз реальность нам уступит! Мы будем очень просить оставить нам наш город.

— Елисей, ты поступишь в Москве в МГУ... Сестры потом тоже, — ответила тихо мама. — Там большое будущее.

Из открытого окна потянуло сыростью и глиной, мамины русые волосы вздулись и осели. Еля почувствовал, что борется не с государством, не с застройщиками, а с самим собой. Победи он свою склонность к ностальгии — все вмиг стало бы проще. В Москве ведь действительно много хорошего. Пробки, серость и, в конце концов, МГУ.

#4

Несколько дней подряд после школьных занятий да и во время них из школы, с улицы или из пекарни, пока папа принимал посетителей, Елисей пытался дозвониться до застройщиков. Телефон горячей линии портала государственных услуг, телефон строительной компании, просто телефоны знакомых — все шло в дело. Ничего, кроме коротких гудков; робота: «Скажите один, если.... Скажите два»; ехидных, ироничных ответов: «Вы шутите? Какое письмо? С кем вы собираетесь об этом говорить?» — Елисей не услышал. Лишь один раз ответили порядочно: это была студентка, она оценила порыв Елисея, но не соединила его, с кем нужно, и не поделилась контактами.

До последнего Еля тянул, не желая впускать в себя эту ядовитую мысль, которая, чуть двинься, сразу разбежится по жилам, и потом ее уже не соберешь, — мысль о том, что противостояние не состоялось. Силой своего желания Еля, мужчина, старался растерзать безжалостную машину закона, правительства, планов застройки, узла гидроэлектростанции, наконец, темницы своих собственных переживаний — даже в самолете, казалось, он все еще будет верить, что все это — сон.

Однако в глубине души Елисей понимал, что с переездом у него появляется больше возможностей, а он отрекается от них.

Тем временем в городе стали обнаруживаться первые видимые признаки предстоящих изменений. За считанные месяцы, остававшиеся до переезда жителей, в центре в срочном порядке взорвали каменные и кирпичные постройки: церкви, усадьбы, ратушу восемнадцатого века с музеем. Фундаменты, обугленные и обессиленные, коричневели на коже города, как родимые пятна. Оставшиеся от взрывов горы кирпича и камня старались вывезти, они могли помешать судоходству. Сосны и березы, те, которые еще обнимали руки прабабушек Елисея, валили не сразу: некоторые сплавляли по реке, опираясь на вереницы речных ряжей, как на хребет подводного динозавра; некоторые же оставляли. Постепенно образовывалось ложе нового водохранилища. На васьиловом сырте теперь располагались вагончики для рабочих — «дома на колесах», как они сами называли свое жилье. При взрыве церкви Луки Войно-Ясенецкого волна сотрясения дошла и до деревянного пекарного дома; флигель отца Елисея, в форме худого прыткого петуха с яркими зелеными вставками, упал, расколов надвое ветхое отсыревшее крыльцо.

Дети хорошо чувствуют запахи и атмосферу: они могут с закрытыми глазами определить, где находятся, потому что именно так «пахнет тетин дом», «бабушкин голос» или «мамин пробор». Так, София и Катя чувствовали, что в городе начинает пахнуть чем-то чужим, как будто пришли гости и до ночи не уходят. Они говорили об этом Елисею.

— Если б ты это вписал в письмо, точно бы не приехали, — шепнула как-то София в прихожей, снимая обувь с налипшей, пока чинили крыльцо, грязью.

Вскоре в той же прихожей было не протиснуться от чемоданов и пакетов, стоявших рядком вдоль обеих стен. На Ясневской улице организовали склад для баулов горожан, но семья Елисея не хотела оставлять там свои вещи.

«Интересно, после затопления здесь можно будет построить плавучий дом? — воображал Елисей. — А каковы будут цены в инновационной подводной пекарне? Пирожное „Павлова“ с перламутровым речным маскарпоне будет, наверное, дороже ватрушек с водорослями».

День, который все называли «тогда» («тогда и посмотрим», «тогда ты тоже будешь нить?», «когда-когда — тогда»), наступил. Краски города, казалось, еще более поярчели и сгустились: небо под вечер затянулось сочной ультрамариновой пленкой, сби-

тые рабочими березы цвета ликера «Шартрез» (того самого, который мама добавляла в тесто) валялись на приторной виридиановой траве.

Все пакеты были вынесены к крыльцу, и один из них, сиреневый и самый большой, наполнился формами для выпечки, насадками для миксера, силиконовыми лопатками, весами, шпателями, поворотными столиками и другими пекарскими принадлежностями. Елисею было жаль кондитерской: не стоило надолго ее оставлять. В Москве они такую, конечно, не откроют, да и времени не будет. Зато откроют будущее, как говорила мама. Но Еле плевать было на это будущее, когда нет ни кондитерской, ни дома со старыми стенами, ни беседки, ни пляжа с синими стрекозами, где степной воздух — самый талантливый врач лор, а глина — лучший ортопедический салон.

Поскольку, обманывая себя, Еля не прощался с городом, а всего лишь говорил ему до свидания — делать привычное (как при всяком отъезде) ему было легче остальных. Он помогал папе перетаскивать сумки, держал маму за руку около бабушкиной могилы.

— Не успели перезахоронить, — шептала мама, — и как им не совестно кладбища топить, сволочи такие.

По дороге с кладбища Елисей с мамой увидели, как кто-то из соседей роет землянку: молодой тридцатилетний мужчина поставил на остатки разобранного на бревна дома колонку с регги и, гибко пританцовывая вокруг впивавшейся в землю лопаты, как настоящий растаман, что-то приговаривал поперек музыки. Рядом с мужчиной стояла табличка с деловитым женским почерком: «Раздаем». Раздавали вещи, но поскольку уезжали все, вещи были никому не нужны. Елисей вытянул руки буквой Т, так, как ложатся на снег, чтобы рисовать ангелов.

— Город, если я заживу от тебя подальше, обещаешь, что тогда заживешь и ты?

#5

Вечером рабочие открыли плотину, и вода стала подступать. В последние часы в доме хотелось нажиться, насидеться, навдохновляться на оставшееся время. Около восьми часов пошли к причалу.

Изначально решено было отправлять людей на теплоходе: проще было погрузить одну тысячу семьдесят три жителя на судно, чем переправлять их за пять километров к ближайшей железной дороге. Кто-то уже получил компенсацию за свой дом, сданный на лом и брус; кто-то стремился разобрать и перевезти все до последнего бревнышка; а те, кто снимал дом в аренду, как семья Елисея, имели возможность снимать квартиру на новом месте.

Причал был заполнен. Вместе с рабочими и жителями из соседних населенных пунктов, тоже затапливаемых, здесь было больше людей, чем все население городка. Стоял почти вечер: солнце уже село, но еще расточало свои последние отблески и не давало спуститься темноте. Еля посмотрел на белый с голубыми полосами теплоход. Он был один из трех на причале: другие два шли, видимо, в другие места. У каждого теплохода, как и у людей, тоже было имя. Матовыми сизыми буквами справа от носа на Елином судне было написано: «Иоганн Гёте».

Пока Елисей перебирал и пересчитывал палубы, что-то отвлекло его внимание. Он заметил девушку, как и он, лет шестнадцати, уже стоявшую на третьей палубе (Еля позже узнал, что самая верхняя палуба называлась «солнечная», а третья — просто «третья»). Морковные волосы, острые локти, сильные, тугие икры. Она была подстрижена под мальчика, и в ее движениях тоже было что-то мальчишеское. Глядя на нее, казалось, она всегда будет дома: в городке ли, на теплоходе ли, где угодно. Девушка была в короткой клетчатой юбке и гольфах, что еще больше подчеркивало ее мяг-

кую силу. Елисей услышал, что она кому-то кричала, и только через некоторое время понял, что ему.

— Как тебя зовут?

Девушка обращалась к нему, она чуть свесилась с палубы и с улыбкой махала ему рукой как старому знакомому.

— Меня? Елисей.

Губки девушки округлились, а брови чуть нахмурились, как будто она во что-то вслушивалась.

— А тебя?

— Есения.

Легкий ток пробежал у Ели по телу и разлился в теплое приятное пятно в области груди. Елисей закрыл глаза. Как будто он стоял у оврага, на васильковом сырте, а из-за горизонта вышло солнце. Рыжее и с мальчишеской стрижкой. Еля подумал, что Есения знает о мире больше, чем он, и близость с ней могла бы вылечить его ожог. И что она ему нравится. Елисей много знал о девушках: пару раз, на хореографии, он даже держал одноклассницу за талию. Но и этих серьезных познаний не хватило бы, чтобы предположить, мог он понравиться Есении или нет. Елисей ощутил то, что не ощущал никогда: Есения могла бы стать его домом. Да, она буквально увозила в себе весь затопленный город таким, каким любил его Елисей. Эти глаза-васильки, как будто только что собранные, эти крепкие икры, точеные, как дерево; эта фигурка, резная и хрупкая, как флигель на пекарне; эти игривые накрашенные глаза.

«Кстати, Есения сокращенно — тоже Еля?»

Когда мама, папа, София, Елисей и Катя зашли на теплоход, уже подтопило мосты и подобраться к теплоходу последним пассажирам можно было только на лодках. Елисей остался на нижней палубе. Все вокруг шумело. Сопел двигатель теплохода, переговаривались люди (говорили о вещах и детях), громыхал под торопливыми ногами трап. Темнело.

Услышали крики.

— Говорят, какие-то старообрядцы не хотят уезжать, — заметил кто-то из пассажиров сверху, — их же затопят целыми семьями вместе с домами и церквями!

— Неужели наотрез?

— Им дороги места. Привязали или приковали себя к глухим предметам: к столбам, к печам, к могильным памятникам, к батареям. Хотят добровольно уйти из жизни вместе с городом.

— За ними вернуться?

— Вернуться, — осклабилсЯ складывающий трап рабочий, указывая натянутыми, чуть не выгнутыми руками на качающиеся в речных волнах ветхие шлюпки, — никто не мешает. Вернуться — оно всегда можно!

Еля сглотнул холодную слюну от этой неожиданной насмешки. Что-то льдистое ударило его по ногам, и он понял, что это вода с кусками глины, взлохмаченная от громадных тяжелых судов.

Попросили спуститься на «теневую» палубу, на ресепшн, тем, кто едет в Москву: после подписания договора им вышлют на электронную почту билеты. Спустились четыре семьи; среди них была и семья Есении. Оказалось, что Есения едет только с сухеньким беленьким стариком, ее дедом; остальные родственники, брат и мама, уже ждут их в Москве. Елисей положил рюкзак в каюту к сестрам и возвратился на палубу.

«Вернуться — оно всегда можно!», «...с дохлыми рыбами на асфальте», — мелькали в голове Елисея дрожащие, перебиваемые шумом ночного майского ветра голоса.

Перед глазами Ели проносились картинки прошлого, настоящего и будущего, меняясь местами в причудливые последовательности. Но он четко знал, что сейчас пе-

ред ним проплывают город и погруженные во мрак окрестные деревни, ряжи — хребет горбатого динозавра, туман и черная трава, а потом будет первый аэропорт, самолет, второй аэропорт в подмосковном городе Жуковском, а за ним задыхающаяся электричка.

Теплоход колыхался, срываясь вот-вот с места; Елисея снова била по ногам глинистая вода.

Вдруг один из кусков глины посмотрел на Елю блестящими желтыми глазами.

— Еля, Еля, это котик! — закричала София, тарасившаяся на брата с палубы на три метра выше.

Не раздумывая, Елисей схватил цеплявшегося за борт теплохода котенка. В душевой в каюте сестры отмыли его, и оказалось, что он серо-синий, как грозовая туча. Елисей стоял перед зеркалом каютного туалета.

— Я хочу назвать его Тучик.

Отражение в зеркале, лейку душа, раковину трехануло — и теплоход отчалил.

Еля увозил с собой много: и семью, и Тучика — друга, обретенного только что, и Есению, которая спала сейчас где-то в каюте над или под Елисеем (он чувствовал ее солнечное, девичье тепло; он мысленно обнимал ее, незнакомую, но родную, и знал, что она рядом). Еля увозил гораздо больше, чем потерял, но вовсе не хотел этого замечать.

#6

В Немецкой слободе было тихо и свежо; повсюду пахло ремонтом: неразбавленной свежей краской на госпитале и вдовьих домах, побелкой на парапете Яузского моста. В слободе все было светлое: бежевое и голубое; те яркие изумрудные, виридиановые и лазурные (на пляже с синими стрекозами и глиной) тона, казалось, не ненавистны, а всего лишь неизвестны москвичам. Яуза-река оказалась не свободной, не живой, не могущей вот-вот, когда ей вздумается, наступить и превратиться из мирной реки в опасную стихию; нет, Яуза оказалась закована москвичами в каменные кандалы — никому это так не бросалось в глаза, как только что приехавшим Елисею и его семье. До квартиры ехали на трамвае, даже трамваи тут были более блеклые и менее звучные. В них можно было смотреть фильмы на подвешенном для всех телевизоре, заряжать телефоны, ставить на колени переноску с Тучиком, только бы не глядеть в окно. В волосах у обеих Елиных сестер засохло по васильку: они продержались перелет, но не выдержали при виде московского речного плена. Елисей аккуратно снял их и выбросил в неспешную Яузу, которая, казалось, уже вовсе не стремилась и не хотела течь. Подъезд обжитого, далеко не нового дома три на Госпитальной переулке был окружен душистыми кустами сирени. Только в подъезде Елисей понял, что не заметил их. Они были прекрасны не менее, чем черемуховый куст на улице Ясневской — и Елисей не заметил это тоже. Когда поднялись на третий этаж, мама остановилась напротив квартиры и... подпрыгнула, как девочка, один раз беззвучно хлопнув в ладоши.

Тогда Елю осенило: они радуются! Родители радуются переезду, им интересна новая, московская жизнь, их вдохновляет это. Впервые они оказались более открытыми к переменам, чем Елисей; снова консервативными были не они, а он.

Над металлической входной дверью, с внутренней стороны, висела еврейская хамса с поддельными изумрудами: амулет. Странный, неуместный здесь символ. Елисей сгорбился и вспомнил о двери в родительскую спальню, теплой и деревянной.

«Там даже название улицы было красивое — Ясневская, а здесь — Госпитальный, — подумал Елисей, — и даже не улица, а недоулок».

Первым запустили Тучика.

Юркий, он вбежал в просторную (раза в два больше, чем в городке) квартиру, сделал круг по кухне, выбежал и забился под стоящий в детской комнате диван.

— Ну вот, — засмеялся папа, — это и есть самое энергоемкое место в нашем новом доме. Детская! Добро пожаловать!

Около полудня стали разбирать пакеты и коробки. Небо затянулось тучами, и в гостиной, где стояла одна мебель, включили свет. В одном из пакетов Елисей нашел вязанные занавески: их привезли с собой. Ему вспомнился вечер, когда он впервые узнал о затоплении; он понюхал занавески — остался ли на них тот малиновый, просвечивающий закат? Занавески пахли только самолетом и мамиными духами.

Пока сестры и мама занимались раскладыванием вещей, а папа переписывался с московскими знакомыми насчет работы, Еля заперся в детской. Он сел на кровать и стал изучать комнату. Та была пустой и оттого более свободной, чем должна была быть. Письменный стол примыкал к огромному окну (что не шло в сравнение с маленьким нефункциональным окошком их прошлого деревянного дома). Вдруг на колени к Еле шлепнулось что-то пушистое.

— Тучик, это ты! — Еля осторожно, кончиками двух пальцев, погладил холку своего серенького инопланетного друга. Тучик был настолько невесомый и мягкий, что на ощупь его легко было перепутать с кисточкой, губкой или квадратным кусочком фланели или шерсти.

Тучик ответил на ласку Елисея тем, что встал на все четыре лапки, а потом резко упал верхней частью туловища на большое любимое колено, непрерывно тыкаясь в него левым ушком и головой, оттопырив зад.

«У этого маленького существа затопили город, отняли родителей, а он нашел в себе силы быть таким нежным, — думал Елисей, снова и снова глядя Тучика. — Господи, какой он горяченький, прямо как пушистая печка».

— Еля, сходишь в магазин? — послышался из коридора голос мамы.

— Конечно, мам.

Елисей привстал — Тучик забивался в его ладонь, — снова сел, положил котика на кровать и поднялся.

— Тучик, я люблю тебя. Ты и эта девушка на теплоходе — те, с кем я хочу быть, — шепнул Елисей по секрету Тучику, уходя.

Чтобы дойти до магазина, Елисей открыл гугл-карты; это был первый раз, когда он открывал их после переезда: геолокация не успела смениться. Мгновение карты «думали» и показывали, будто телефон находится на Ясеновской. Елисей решил — обжег подушечку большого пальца об экран — и увидел фотографии своего города; он нажимал еще и еще. Вот школа, вот беседка, вот тропинка к кондитерской (улица Ягодная, восемь), вот куст «наш» на Ясеновской, вот автовокзал. Ой, а это кто? Да это же мама, развешивающая белье во дворе! Видимо, фотографии улиц делали именно в тот момент. Неужели все это будет погребено на дне реки? Неужели над колоколами церковью будут плавать рыбы? Можно, интересно будет спуститься к ним с аквалангом? Обновив карты, Еля увидел Москву. Он вставил в телефон наушники и вышел из подъезда.

Оказалось, магазин находится совсем рядом, во дворе того же дома, и Еля купил продукты по списку, который написала мама, за десять минут (в Елиной семье списки продуктов писали не в заметках на телефоне и не в чатах, а на бумажках, по старинке; папа однажды даже попробовал не писать продукты словами, а рисовать их). В четыре дня он с сестрами были приглашены на знакомство с классными руководителями в новую школу; время оставалось, и Еля решил погулять.

Восточнее дома располагались так называемые вдовьи дома: в них селились вдовы погибших или жены раненых во время войны, пока те лечились в госпитале Бурденко, находившемся напротив. Немецкой слободой район, где поселилась Елина семья, называли потому, что раньше здесь селились «немцы» — европейцы разных национальностей, часто приглашенные иностранные специалисты, словом, все те, кто плохо говорил на русском языке. Елисей обошел Лефортовский парк, здесь пруд тоже был «пленен», закован в низкие, но все же искусственные берега-оковы.

— Москвичи не оставляют никому свободы, ни себе, ни воде, — буркнул Еля.

Парк был пуст (видимо, из-за приближающегося дождя); только на одной лавочке сидели трое школьников, на год или два младше Елисея: с портфелями, контейнерами с едой и телефонами в руках. Елисею стало любопытно послушать, о чем они разговаривают, и он сел рядом. Школьники листали видео на ютубе и комментировали их. Сначала речь шла о недавно вышедшей серии популярного аниме-сериала, потом об одноклассниках. Елисей хотел было встать, но неожиданно услышал кое-что знакомое. Имя своего города.

— Они че, реально на теплоходах отчаливали? Прямо как в средние века!

— Дурак ты, в средние века теплоходов не было.

— Выходит, там весь город затопило? Вот это да! Я б остался!

Еля улыбнулся. До сих пор он не обдумывал все сюр и неестественность случившегося с его городом происшествия. Ведь это действительно «вот это да». Когда-нибудь об этом можно написать целую книгу.

Выйдя из парка, Елисей направился в другую сторону района и остановился около Яузского моста. Он встал, облокотившись грудью на теплые перила, и решил просто смотреть вдаль, пока не поймет что-нибудь важное. Еля не считал, сколько проходит времени.

— Мост, видимо, разделяет всю эту московскую галиматью на два района: Лефортово и Басманный.

Еля вздрогнул от знакомого ему девичьего голоса, раздавшегося прямо под ухом. Он вдохнул побольше воздуха и ощутил нежный, фруктовый аромат кожи и духов.

— Боже мой! Есения!

— Ба! Удивился?

Солнце трогало волосы Есении — тучи на небе разошлись, пока Елисей стоял над рекой — и застаивалось в рыжих ресницах вытянутых, по-кошачьи подведенных глаз. Сегодня она была в красном платье, которое туго обтягивало ее бедра, и колготках, слишком плотных для мая.

— Шла, тебя увидела, остановилась. Шутка! Очень хотела тебя встретить.

— Откуда ты знала, что мы тут живем?

— Слышала, как вы вчера заказывали такси.

— Я тоже хотел тебя встретить.

Есения посмотрела на него без удивления, и Елисей обратил внимание, какое у нее спокойное, женственное лицо и какая уверенная, не свойственная юности мимика. Снова приятный ток разлился по Елиному телу, и он почувствовал, что рядом с этой девушкой ему уютно, как дома.

— Мы живем в Басманном районе, на Ладужской, двенадцать, в седьмой квартире, а вы — в Лефортово, — Есения засмеялась, и Елисею стали видны ее острые сахарные зубы, прямо как Капулетти и Монтекки.

Елисей сделал вид, что смотрит туда, где кончается Лефортово и начинается Басманный, а сам в это время думал о том, как незаметно придвинуться к Есении еще ближе.

— Скучаешь по дому? — вдруг спросила Есения.

— Нет, — ответил Елисей.

— То есть как нет? Ты чего, — возмутилась Есения, — поделишься рецептом?

— Не поделюсь. Я так ответил, потому что это глупый вопрос «Скучаешь ли?», — повторил, кривляясь, Елисей, — скучаю, я очень скучаю, я жить без дома не научился, вот что!

Есения не смогла скрыть добрую, едва заметную усмешку, заботливую, как у матери, когда ребенок еще не открыл чего-то, чего ей давно известно, и наслаждается поиском. Елисея это разозлило.

— Ты, ты... — начала Есения, и его нога прижалась к ее худенькой и крепкой ножке, — не поступай так с собой.

— Почему?

— Не ставь на себе крест из-за города. Это мой дед с ума сходит, он прожил там прекрасные полвека. А мы-то что? Все только начинается! Елисей, мне тоже больно. Но смотри, смотри же, сколько вокруг восхитительного...

— Знаю, Есения. Тем не менее я не могу избавиться от чувства, что мне хочется вернуть время вспять, родиться в другом городе — который не затопят — и прожить идеальную, неуязвимую жизнь.

— Неуязвимой жизни не бывает.

— Какой, — Еля развернул корпус к Есении и взял ее за руку, — твой самый большой страх?

Вместо ответа Есения крепко сжала Елину руку и положила получившийся замок на перила. Они молчали.

— Мой, — продолжил Елисей и показал Есении заставку на своем телефоне, — что я либо не забуду город, либо не смогу туда вернуться. Одно из двух. Что в старости, возрастом, как твой дед, я буду плакать при виде этих фотографий. Я хочу... хочу родиться в другом городе и не знать наводнения; родиться последним, а не первым, чтобы у меня был крутой старший брат; быть не в семье пекаря, а, например... Нет, свою семью пекаря я люблю. Хочу не потерять бабушку в детстве, хочу талантов побольше, хочу возможность вернуться в родительский дом. Ну, как тебе?

— Глупо. Если ты занимаешься всей этой ерундой — анализируешь то, чего тебе не хватает, — кто же вместо тебя будет все это время жить?

Елисей почувствовал, что пальцы Есении пульсируют от волнения, хотя выражение ее лица было все так же сдержанно и спокойно. Елю задели слова Есении. Что-то внутри его говорило, что она права. Ему было хорошо с ней, так хорошо, как не было ни с кем, даже с родителями; но чем дольше они были вместе, тем дольше Еля понимал, что она — здорова, а он — болен, и что исправлять это слишком сложно, и он не знает как.

— Хочешь испечь у меня торт? — внезапно спросила Есения.

— Что?

— Пойти ко мне домой, испечь торт, поболтать и вместе его съесть. Хочешь?

— Нет.

Есения оторвала лежавшую под Елиными пальцами руку. На костяшках остались вьедливые черные следы от покрытия перил моста. Есения приложила свои черные пальцы к Елиной щеке и поцеловала его в губы («Первый, первый поцелуй», — сипел беззвучно Елисей), а потом пожала плечами и ушла.

Развернувшись вполоборота на полпути, она крикнула:

— Мой самый большой страх — жить в соответствии со своими страхами, понял?!

Долго еще Еля стоял около перил моста, пока не узнал, что уже четыре часа и что он опоздал на экскурсию с сестрами в новую школу. Написал папа и вместо обвинения сказал, что приятели, бывшие одноклассники, предложили ему работу в московской

пекарне, лучшей и исключительной; сообщением ниже папа добавил, что с новой зарплатой и опытом в такой авторитетной кондитерской им не очень просто, но вполне реально будет в скором времени открыть свою. Все налаживалось!

Разговор с Есенией не выходил у Елисея из головы. Еля жалел, что не обнял ее, не сумел в момент избавиться от собственных воспоминаний и страхов, таких бесполезных и таких разъедающих, блокирующих будущее. По дороге домой Еля заметил у бомжа монгольские тапки.

— Это не просто тапки, их шьют монголы. Такие у меня на родине продаются, — сказал ему Елисей и ускорил шаг.

С каждым пройденным по Москве метром Елисей все больше бился ладонями о клетку, выстроенную тоской. Елисей понимал, что это не просто тоска по дому — это тоска по такому дому, которого больше не существует.

#7

На кухне все было расставлено так, как будто в квартире живут уже годы: специи в разноцветных, раскрашенных Катей баночках; ликер «Шартрез» и поворотный столик для тортов; купленная в Екатеринбурге кружка (позолота которой портилась и сверкала в микроволновке), уже наполненная чаем; вязанные крючком акриловые накидки для кресел. На столе в незнакомой Елисею вазе стояли свеженькие влажные васильки. И где только папа их нашел?

Еля бросился в детскую. У окна стояли, болтая, сестры, у ножек кровати — миска, на которой малиновой витражной краской была нарисована туча с мордочкой кота. Елисей схватил Тучика, отчего тот протяжно пискнул, и понес его к реке. Небо, чуть сиреневое, спускалось над персиково-белыми вдовьими домами. Накрапывал дождь, и в асфальте, как в зеркале, отражались первые вечерние огоньки. Москва стала призрачно-легкой, как витраж. Спустившись под мост, Елисей сел на корточки и резким движением опустил Тучика в реку. Котенок бултыхался, уводя под живот передними лапками воду, но вода все не кончалась, ее было много, как и Елиного страха. Еля давил на крошечную шейку Тучика и не давал ему вдохнуть.

Как много, как бесконечно много он обрел во время переезда, думал Елисей, и Есению, которая так смешно носит свою мальчишескую прическу и так нежно прикладывает свои пальцы к его щеке; и Тучика, который пищит, когда до него дотрагиваешься, как кнопка; и даже, наверное, новую семейную пекарню. Еля думал об этом, но топил, топил... Он топил Тучика не так и не с той же целью, с которой Герасим топил Муму — чтобы стать свободным, чтобы стереть единственное имя, которое умеет произнести. Еля топил от бессилия. Для обретения покоя в душе требовалось слишком многое, и он хотел уничтожить последнюю возможность стараться.

Что-то горяче-лучистое затрепыхалось у Ели под легким, что трепещется в моменты истины, когда человек прозревает, что любые травмы можно излечить. Еля отдернул руку, вырвал котенка из воды. И в это время Тучик сильнее прежнего и один раз дернулся, а Еля заплакал.

...Мокрый, с котенком на вытянутых руках, Еля стоял перед дверью Есении, готовый, что его навсегда оттолкнут, размажут, как сделал это затопленный город. Но Есения взяла ослабевшего Тучика и вытерла его о подол сатинового бежевого сарафана. Она помыла Елины руки горячей водой, а когда давала ему сухую футболку, оба безмолвно решили, что наше детство и наши травмы — только застрявшая в зубах кукуруза, а зубочистка — нынешние принятие и любовь. Впереди была неукротимая вечность. Позади оставались смирительные рукава Язуы-реки.

Антонина ШАБАНОВА

ЗЕФИРАНТЕС¹

Повесть

Жарко. Много песка вокруг. Мелкие камни. Рядом один большой. Макушка чешется. Пить. Интересно, сколько мне отпущено? *La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltalas dos patitas de andar*².

— Они были красивые, но бесполезные. Слишком нежные, не приспособились к жизни за двести миллионов лет, — голос звучал сверху.

— Раньше динозавров появились!

— Ну да, мягко говоря, сильно раньше.

Макушка сильнее зачесалась. Скоро.

Кто-то наверху зевнул:

— О ком вы говорите?

— Да о цветах, Чолла.

— А, да, они давно вымерли, — подтвердил зевнувший.

— А кто такие цветы? — спросил кто-то.

— Как тебе сказать... растения, у которых нет колючек — тоненькие стебельки, дохлые листочки, ну а наверху цветы. Красные, желтые, голубые, разных форм — их много всяких разных было.

Послышался гул, разговоры на несколько секунд стихли.

— Ммм... влажный воздух.

— Западный ветер прилетел.

Интересно, что там наверху и кто говорит? Надо вылезать, посмотреть. Макушка уже сильно зудела, зачатки цветоносов стали разрывать сочную белую чешую, потом и бурые сухие чешуйки. О, я продвигаюсь сквозь песок. Я изо всех сил старался помочь цветоносам и уперся донцем в спрессовавшиеся песчинки, зашевелил тонкими корешками и потянулся, как бы выталкивая наверх часть себя. Верхушкой почувствовал дуновение воздуха. Опа, кажется, получилось. В ту же секунду у меня перехватило дыхание. Я увидел чистейшего голубого цвета и бескрайнее небо, пушистую вату облаков, коричневую гору с тупыми вершинами, похожую на замок, — до нее была пара километров; позади нее, вправо, влево — серые островерхие горы. Везде — розовато-бежевый песок, сдобренный разномастными камнями, и зеленые, красивые, самых

Антонина Андреевна Шабанова родилась в 1986 году в г. Душанбе, Таджикистан. Окончила УрГУ им. А. М. Горького по специальности «Журналистика». Член литсовета Международной детской литературной премии имени В. П. Крапивина и отборочной комиссии Ассоциации союзов писателей и издателей России для резиденции в г. Волжский (2023). Участник Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (2021). Публиковалась в областных и федеральных СМИ и в литературном журнале «Нижний Новгород». Живет в Екатеринбурге.

¹ Из романа в повестях «Синхронизация».

² Таракашка, таракашка уже не может бежать, потому что у нее нет, потому что нет двух задних ног (исп. — здесь и далее).

невероятных форм, как на выставке, пышущие здоровьем, в основном гигантские, но и маленькие, как столбы, шарики и звездочки, кактусы. Добро пожаловать в мир!

— Какой кошмар! — я посмотрел налево, откуда звучал голос, и увидел огромный толстый зеленый столб. Казалось, он доставал до неба — метров двадцать в высоту, не меньше. Посередине от столба ветвились столбы поменьше, метров по пять, и тоже устремлялись вертикально в небо. Кактус смотрел на меня, и если бы у него были глаза, они выглядели бы зловещими.

— Кто ты? — спросил я.

— *Carnegiea Gigantea*.

— Это же цветок, какое уродство! — услышал я голос прямо перед собой. Он принадлежал нескольким круглым грязно-коричневым шарикам, обильно покрытым чем-то похожим на волосы. Шарик лежал вместе, кучкой, и напоминали кучку, простите, какашек.

— А ты кто? — спросил я немного дрожащим голосом.

— *Sopiaroa Marginata*, — проскрипел ответ.

Кактусы заговорили между собой:

— Не понимаю, откуда он взялся. Мы здесь уже давно, и ничего подобного не было.

— Ты уверен, что это цветок?

— Конечно, посмотри, это проклюнулся цветонос. Не похоже на траву, это именно стебель, который вырастет и даст бутон, а потом и цветок.

— Ужас какой.

— Что это значит? Мы все погибнем? — заверещал чей-то малышковый голос. Детка Карнегии Гигантской чуть покачивалась, пытаясь сбежать.

— Да брось ты, — ответил родитель, — негоже царям бояться. Он ничего не сможет нам сделать. Он бессилен. Вял, тонок, одинок. Как видишь, у него даже нет колючек.

— И они потом не вырастут? — уточнил ребенок гиганта.

— Нет, он обречен.

— Уф, — вздохнула Маленькая Карнегия.

— Рабское отродье, — сказал кто-то другой. Я посмотрел направо — говорил кактус-звезда. Он был гладкий, вроде бы без колючек, видимо, эти пышные звездные лучи и были видоизмененными колючками. Из центра «звезды» выходил наверх гигантский толстый мохнатый стебель, он метра два-два с половиной тянулся наверх, а потом, не выдержав собственной тяжести, перегибался и опускался вниз тоже метра на два. Стебель делился на три отрезка разных цветов: бежевый, желтый и зеленый. Экое чудо-юдо. Но я уже не стал спрашивать, как его зовут. — Клоун на потеху, — добавил он.

Честно говоря, я не очень понимал, что происходит. Где цветы? Неужто это не шутка и они все вымерли? Но этого не может быть. Я видел их. Может, я впал в анабиоз в земле и все пропустил? Но как же двести пятьдесят тысяч видов цветов? Неужели они все не смогли приспособиться?

— Простите, — обратился я к главному. — Вы уверены, что ВСЕ цветы на Земле вымерли?

Гигантеа смерил меня презрительным взглядом:

— Кто ты такой, чтобы сомневаться в наших словах?

— Я цветок.

— Не зря вы вымерли, — съязвил Гигантеа. — Глупые и бесполезные. Вот мы — кактусы — лучшие на Земле.

— Ты недостойн жизни, — сказал кактус-какашка.

— Смотрите, он на глазах растет! — вскрикнул сын Карнегии Гигантской.

Все посмотрели на меня и увидели, что за время разговора мой стебель немного подрос.

— Да ну его, не обращайтесь внимания. Сдохнет, как собака, когда придет его время, — сказал кто-то безымянный. Я уже не стал поворачивать голову в его сторону, а поник своим цветоносом и уставился взглядом в песок.

Давным-давно, когда я в первый раз жил, вокруг росло много красивых цветов. Они были добрее, не гнобили меня. Иногда мы ссорились, но в целом жили дружно. Потом — темнота. Не знаю, что случилось, но очнулся я здесь, в песке. Кактусы тоже красивые. Жаль, что злые. Что же мне делать теперь? Как дальше жить?

— ...И вот, представляете, — когда сделал паузу в раздумьях, услышал, что кактусы рассказывают друг другу истории и, кажется, забыли про меня. Думаю, мне так лучше, — он до того иззавидовался, что ночью срезал плод у Дракона и насадил его на одну из своих колючек — типа это его собственный плод!

Кактусы хором засмеялись.

— Простите, — влез я, — разве кактусы умеют перемещаться, чтобы что-то у кого-то срезать? — эх, не надо было выскакивать, но больно уж любопытно. — И кто такой Дракон?

— Драконий фрукт, тупица! — ответил обычный кактус, ничем с виду не примечательный.

— Тсс! Не говори с ним, — оборвал Копьяпоа Маргината. — Пусть почувствует, что он изгой.

Конечно, я не стал переспрашивать, хоть и очень хотелось. Как все-таки он мог переместиться?! Хотя, может, это просто местная байка — развлекаются так, пересказывая ее.

— Короче, Чолла, мы все тогда ржали над тобой, — заключил рассказчик.

— Вот потеха, — оценил малыш Гигантеа. — Я тогда еще не родился.

— Да ладно вам! — обиженно ответил какой-то кактус. — Я был юнцом-максималистом. Исправился же.

Герой рассказа — оказалось, он существовал — выглядел не очень примечательно, по форме напоминал куст коралла с множественными короткими ответвлениями, но не такой яркий и нежный на вид, а серо-коричневый, с особо острыми, кажется, иголками и невзрачными бледно-желтыми маленькими плодами-шишками.

— Ок, Чолла, мы знаем. Но смешно же, — сказал обычный кактус.

Со мной в этот день больше никто не заговаривал. Я тоже молчал.

* * *

Ночью я проснулся от того, что кто-то смотрит на меня. Маленькая веточка Чоллы стояла рядом со мной.

— Как ты?.. — начал было говорить я, но Чолла перебил тихим голосом:

— Тсс, не разбуди остальных.

Я посмотрел по сторонам — действительно, кажется, все кактусы спали. Даже слышалось сопение некоторых. Я ощутил холод, поежился. Посмотрел на небо и ахнул — какая же красота! — тысячи звезд мерцали белым светом, как волшебные рождественские гирлянды.

— Откуда в мире появилось столько звезд? — спросил я шепотом.

— В пустыне их всегда было много. Точнее, их просто лучше видно.

— Почему?

— Воздух очень сухой, а потому прозрачный. Когда воздух влажный, то капельки влаги замутняют обзор, — объяснил Чолла.

— Ого!

— А ты быстро растешь, — заметил Чолла, оглядев взглядом мой увеличившийся за день и полночи цветонос.

— Как ты оказался возле меня? — спросил я.

Чолла чуть качнулся — видимо, от улыбки:

— Меня называют сумасшедшим кактусом. Или прыгающей Чоллой. Редко кто отваживается взять мои плоды, — я слушал с замиранием. — Я умею отделяться сам от себя. И пользуюсь этим, когда человек пытается завладеть моим плодом. Как только он слегка прикоснется ко мне, я тут же набрасываюсь на него.

— Мама! — громко сказал я.

— Тсс! — повторил Чолла.

— Так, значит, ТАК ты срезал плод Драконьего Фрукта?

— Ага, — довольно ответила маленькая колючка.

— Зачем ты пришел ко мне?

— А ты не будешь кричать?

— Нет, — удивился я.

— Хочу убить тебя.

Я чуть не закричал.

— Почему?

— Чтобы тебе было легче, — ответил Чолла и чуть придвинулся ко мне.

— Что-о-о? — спросил я и попытался отодвинуться, правда, в отличие от убийцы у меня это не получилось.

Чолла вздохнул:

— Эх, цветок, как тебя там?

— Зефирантес.

— Зефирантес, пойми, ты не сможешь жить среди наших. Ну сможешь физически, только трудно будет очень, невыносимо. Они никогда тебя не примут. Всегда будут гнать. Все цветы давно вымерли, и, по правде говоря, кактусы очень этому рады. Мы сами произошли от цветов, но превзошли вас, потому что сумели приспособиться к неплодородной земле и засухе. Вот мы и чувствуем превосходство. А чувствующий превосходство никогда не будет дружить с менее значимым видом.

Я посмотрел вокруг — темные волны песков, спящие тени кактусов, величественные фигуры гор, наверх — милые звездочки и полнокровная луна — и ответил:

— А ты? Ты тоже не можешь со мной дружить?

Чолла замаялся.

— Я... я бы даже если захотел, не смог: меня не поддержат товарищи, — Чолла подпрыгнул и лег горизонтально, так, что я с трудом различал его на темной поверхности. — Но я могу тебе оказать дружескую услугу — убить тебя. Ведь ты сам не сможешь... себя.

— Но я не хочу умирать! — ответил я и всхлипнул.

Чолла пристально смотрел на меня. Прошла минута молчания.

— Подумай, — серьезно напутствовал колючка.

Прошла еще минута. Я смотрел на небо. Не хочу с ним расставаться. А вдруг я когда-нибудь встречу своего сородича? Такого же, как я, после анабиоза?

— Нет, — решительно заключил я. — Спасибо, Чолла, ты настоящий друг, но я не хочу.

Чолла молча покивал и запрыгал прочь от меня. Еще чуть-чуть — и я его уже не видел. Заснуть в эту ночь я больше не смог. Интересно, что лучше — мертвым среди своих или живым среди чужих?

* * *

— Ого, как он быстро растет! — кактусы разглядывали меня с недоумением.

Я знал, что сами они, хоть и живут сотни лет, растут очень медленно. А мой цветонос и правда за сутки вырос на добрых сантиметров десять.

— Зато вы очень долго живете! — с почтением ответил я. За ночь раздумий я избрал тактику: подлизываться.

— Что ты хочешь этим сказать? Ты хочешь сказать, что быстрый рост — твое преимущество?

— Нет-нет, что вы! Я просто имел в виду: здорово, что медленно растете, основательно все обдумывая, набирая вес и силу, а потом так долго живете!

— Это да... — ответил гладкоствольный кактус, состоящий из нескольких небольших в диаметре, но длинных, до метра, прямостоячих стеблей.

— Как тебя зовут? — осмелел я.

— *Echinopsis Pachanoi*, или просто Сан-Педро, так меня называют в народе.

— Но при чем тут Святой Петр? — спросил я.

Сан-Педро засмеялся:

— Ух, какой умный цветок! Да, в честь Петра меня назвали. Потому что я обладаю священным даром проводить в другой мир.

Вокруг послышалось недовольное бормотание кактусов.

— Как это? — уточнил я.

— Тебе рано это знать... Скажем так: меня использовали шаманы, и не только, чтобы открыть истину.

Я задумался. Не понял, что это значит, но решил не навязываться, раз мне сообщили, что не моего ума дело.

— Слушай, он к тебе подлизывается, — проскрипел кактус-какашка. — А не потому ли ты с ним разговариваешь, что сам быстро растешь?

— Да что ты, — хмуро ответил Сан-Педро, — он и рядом со мной не стоит. Да, я расту побыстрее некоторых, но не имею никакого отношения к цветам.

Я услышал, как рассекается воздух, посмотрел вверх и увидел орла: он приземлился прямо на Гигантеа. В том месте, где Карнегия разветвлялась и образовывалась чашечка из стен-столбов, птица свила гнездо. Орел был так прекрасен, что я залюбовался им и даже не успел испугаться.

— Уважаемая Карнегия Гигантеа, — снова стал лебезить я. — Вы так величественны, что даже орлы с вами рождаются.

— Кто только со мной не роднится, — ответил он. — Меня любит живность.

Кактус замолчал, думая про себя, а я разглядывал его: глубокие борозды и ребра, болотный цвет, хотя нет — если приглядеться, сам кактус светло-зеленый, а колючки на гребешках ребер светло-коричневые, в целом и кажется болотный. Май гад! Дупло! Я бы не заметил его, если бы в этот момент из него не выпрыгнула голова дятла. Неужели дятел продолбил дупло в кактусе? Как необычно...

— Что ты так пристально смотришь? — спросил гигант.

— Восхищаюсь вами, — ответил я, и самому стало противно.

— Черт, он точно подлизывается! — с жаром сказал кактус-звезда с пятиметровым разноцветным стеблем, перегибающимся от собственной тяжести. Я наблюдал его вчера, но не решился спросить имя.

— Простите, как вас зовут?

— Да пошел ты! — ответил он и качнул своим внушительным стеблем, так что я даже испугался, что эта штуковина достанет меня и прихлопнет.

— Да-да, — тоненьким голоском поддержал кактус, которого я раньше не замечал: овалы, плоские стебли, больше напоминающие толстые листья, вырастали друг из друга, как руки, ноги и голова из человеческого тела. Листья, то есть стебли, были похожи на ракетки для настольного тенниса. Человек-ракетка, то есть кактус-ракетка, то есть кактус-ракетка-человек.

— Не волнуйся, Опунция, мы сами с ним разберемся, — сказал безымянный звездный кактус, а Опунция чуть вздернула голову-ракетку с бигудиями-плодами и взмахнула редкими колючими ресницами. Женщина.

* * *

Льется музыка. Прекрасная музыка. Пальцы сливаются с клавишами. Закрываю глаза, покачиваю головой. Отрываюсь от земли и лечу. Знание, абсолютное знание. Уверенность, мудрость и дрожь. Щемящая правда. Принятие. Бальзам поливает душу и объясняет ей: так надо, это жизнь. А ты веришь, что достигнешь света. Придешь к нему, хотя будет трудно. Ты не видишь ничего вокруг, взлетаешь над оболочкой. Проникаешь насквозь, видишь суть. Постигаешь умиротворение. Это то, что я хотел сказать, мой подарок миру. Мир, держи. А я пойду, сколько смогу еще.

Это было отражение лунного света в озере Люцерн. Маленькое озеро в Швейцарии, окруженное скалами, днем переливается бирюзой, зеленью и белизной, а ночью, темно-синее, манит загадочной лунной дорожкой. Так сказал тезка Рельштаб, критик, через пять лет после моей смерти. А я-то назвал по-простому: «В духе фантазии», № 14. Его название осталось на века — что ж, ведь он мастер слова, пусть называет.

— Ножесо, — прохожий пнул меня ногой, я упал на бульжник.

Он быстрым шагом удалился. Наверное, он сказал «ничтожество». За то, что я не слышал его вопрос. Наверное, он хотел спросить, как пройти куда-то. Или денег. Глупышка. Завтра с ним случится что-то, но он не будет называть себя ничтожеством...

Моя соната. «Лунная соната». Какое счастье, что я написал ее, несмотря на слух. Ради этого стоило грести в поломанной лодке. Где мой бокал? Ах да, мне уже не выпить вина. Я путаюсь, путаюсь... Людвиг ван Бетховен... Я... Он... Что это?

Я ощутил свою луковицу, стебель и стал возвращаться из мира грез. Мне снился сон, будто я человек?! Я не мог поверить в это, раньше такого не было. Где же я слышал эту историю?... Люди рассказывали в моей прошлой жизни. Поразительно.

Я очнулся и понял, что стал выше. Стебель подрос, зародился бутон — может, потому такой сон? — и даже проклюнулись из песка листики. Уже два дня кактусы не разговаривали со мной, только иногда отпускали обидные словечки. Но по большому счету, я перестал для них существовать. Они и малышам своим наказали, чтобы те со мной не общались. Что ж, мне так спокойнее, наверное. Буду расти и созерцать природу. И ждать друга — вдруг вынырнет по соседству? Солнце щекотало меня своими лучиками, горный вид впереди завораживал, и мне было хорошо. Умиротворение.

— Берегись! — крикнул кто-то из кактусов.

Смуглая женщина лет пятидесяти пяти подходила к нам вразвалочку. Крепенькая, низенькая, она была одета в пеструю юбку до щиколоток, в разноцветную кофту с множеством мелких ромбиков. На голове сидела такая же яркочерная чалма, из-под нее выбивались черные пряди волос. Ненакрашенные губы сливались с лицом. Женщина шла и смотрела по сторонам. Кактусы затихли — ни звука, ни вздоха, ни шевеления — казалось, хотели, чтобы человек их не заметил.

— Aquí está, cariño!³ — воскликнула женщина, остановившись перед кактусом, имени которого я не знал.

³ Вот он, родненький!

Он выглядел как дерево — с сухим толстым стеблем и копной мясистых, но, кажется, бесколючих кактусовых листьев, их было очень много, наверное, пару сотен, и они свисали, как лианы. На кончиках цепко держались, казалось, за ниточку крупные красивые плоды — темно-розовые, гладкие, с редкими чешуями.

Гостья достала из тряпичной сумки перочинный ножик, осторожно отделила им плод от листа, улыбнулась, повертела в руках розовое яблоко, разглядывая. Положила на песок. Достала из сумки еще одну такую же, расправила дно на песке, нежно отправила туда фрукт. Так она срезала плод за плодом, аккуратно складывая их в сумку — штук семь-восемь в одну, столько же в другую. Затем оглянулась, еще раз улыбнулась, взяла из сумки один фрукт и села с ним на песок. Ласково разрешила его вдоль — внутри он оказался чистого белого цвета с малюсенькими черными зернышками. Женщина разрешила половинку еще на три дольки, взяла кусочек и стала есть. Доела до кожуры, положила ее в сумку. И таким же образом поглотила весь оставшийся фрукт. Крякнула, вздохнула, поднялась, взяла сумки, осмотрелась по сторонам и заковыляла от нас.

Только когда ее фигура скрылась за дюной, кактусы вышли из оцепенения.

— Как ты? Бедный. Переживал за тебя, — обращались к пострадавшему кактусу наперебой.

Кактус-дерево спокойно ответил:

— Все в порядке, она не оставила ни царапинки на моем теле. А плоды отдавать — естественно, как роды у женщин.

— Что такое роды?

— Что такое женщин?

Детки слышали взрослый разговор и не могли не спросить это.

— Женщина — это вид человека. Который к нам только что приходил. Как у нас — кактус Карнегия, кактус Копьяпоа, — малышам ответили только на последний вопрос.

— Держись, Драконий Фрукт! — поддержал Чолла.

Так вот как его зовут! Интересно, почему драконий?

— Да все в порядке. Я больше переживал, что она что-нибудь сделает со мной.

Я решил не поддерживать Драконьего Фрукта: опять воспримут как подлизывание. Хотя я действительно подлизывался тогда. А что еще делать? Я пока не придумал.

* * *

Черные щупальца с шипами изгибались в разные стороны. Мимик смотрел прямо на меня. Из черноты недр просвечивал огонь. Позади и вокруг мимики дымились черные столбы. На песке разбросались обугленные обрывки тел. Я боялся, что мимик сейчас разинет пасть с динозавриными зубами, извергнет огонь и набросится на меня, со скоростью света перекатившись по песку. Да, я смотрел фильм «Грань будущего» вместе с людьми, когда жил среди них. Но нет, я стянул оцепенение и понял, что смотрит на меня страшный кактус — толстые шипастые щупальца расходились из центра непонятно чего, короткие, длинные, местами переплетенные. Я не мог понять, на что они больше похожи: на кишки, на глистов, на клубок змей? В любом случае было очень противно. Хотелось отбросить этот вид как сновидение, но я обречен на неспособность убежать... Я понимал, что это не мимик, но все-таки казалось, что жуткий кактус, в отличие от меня, сможет сорваться с места и наброситься, кувыряясь. А потом он проткнет меня насквозь своим колючим щупальцем или, чего хуже, заползет внутрь и внедрится в тело, как в «Чужом». Том Круз, где ты?

— Страшно? — зловещим голосом спросил кактус-мимик.

— Да, — выпалил я, не задумываясь.

— Будем знакомы, *Cleistocactus Winteri*.

— Дда, — заикнулся я. — Зефирантес.

— А я *Cleistocactus Vulpis-Cauda*, — услышал я голос позади себя, повернулся и вскрикнул: — Аааааааааааааааа!

— Заткнись, чего орешь, — прервал мой крик первый мимик. Второго я как раз увидел позади себя.

Если бы я был человеком, меня бы вырвало от отвращения. Второй экземпляр был таким же кактусом-мимиком, только вместо колючек он покрылся густыми белыми волосами. У него росло меньше щупалец, но они простирались дальше по почве.

— Дорогая, Лисий Хвост тебе идет больше, — сказал первый мимик.

— А тебе — Обезьяний Хвост, — кокетливо ответило второе чудовище.

И тут произошло то, отчего меня вместо того, чтобы вырвать, повалило на землю, будто ветром: оба чудища протянули друг к другу по одному своему щупальцу и сплелись ими в поцелуе. Буэээ, — я почти услышал звук рвоты. Мама дорогая.

Мимики расплелись, беловолосый прополз обратно мимо меня — я поежился.

— Ну что, Зефирантес, — продолжил разговор первый мимик. — Вижу, ты трясешься от страха. И правильно! Глядишь, помрешь так, — и он расхохотался. Закончив, добавил: — А если серьезно, знай свой шесток: ты отброс, недоразумение природы, уродливый эмбрион. Бойся меня! Хотя я и не прыгаю, но вдруг эволюционирую и нападу!

И кактусы-мимики заверещали от хохота в унисон. Пошел сухой дождь, и я умолял Бога наслать торнадо. Теперь я сам захотел умереть.

* * *

Облака сгустились, покрылись черными пятнами. Потемнело. Задул ветер, в воздухе чувствовалась влажность. Где-то рядом прошел электрический разряд — молния пронзила небо вместе с красным ореолом. На нем виднелся черный сгусток — как будто капля крови упала в воду. Через пару секунд обрушился гром — ого, как близко. Давай, давай. Дождь не долетал — капли испарялись еще в воздухе, не успевая добраться до земли. Я слышал от кактусов, что иногда здесь бывает обычный дождь, как везде. Но не сегодня. Темнота стала отступать. Торнадо не пришло.

Прошло два часа гнетущей пустоты.

— Эти не должны тронуть, — услышал я сквозь вакуум.

— Да, туристы, — прозвучал другой голос.

Я осмотрелся по сторонам. Справа по той же тропинке, что заглядывала к нам женщина, шла группа людей. Они были одеты совсем не так, как первая гостья: в шортах и футболках, в штанах и рубашках, с панاماми, платками и кепками на головах.

— Девочки, приготовьтесь, — велела Опунция сородичам и захлопала колючими ресницами.

— Кто сегодня? — спросил безымянный кактус.

— Непонятно пока, — ответил главарь Карнегия. — Не слышу еще их голоса. Но точно не мусульмане.

Люди приближались и постоянно фотографировали нас издали.

— Русские, — заключил Гигантеа.

— О, были, были, помню, помню, — послышалось вокруг.

Если они хорошие и не тронут, может, заберут меня от этих кактусов? Я с любопытством разглядывал подходящую группу людей. Когда они оказались совсем близко, я увидел, что у большинства из них очень удивленные глаза. Мужчины, женщины

и дети подолгу задерживались у каждого кактуса и восхищенно разглядывали. Неужели я правда урод по сравнению с ними?

— Уважаемые туристы, прошу прощения, но я вынужден в очередной раз напомнить вам, что трогать руками кактусы запрещено, — обратился к людям, по-видимому, их главарь. Он был одет почти так же, как они, только рубашка его пестрила узорами, похожими на одежду первой гостьи, а на голове сидела чалма. — Берегите их, а то ваши внуки никогда их не увидят.

— Конечно, конечно, само собой, — согласились люди.

— Ты заметил, что Мексика тоже похожа на сапог, как Италия? — спросил один.

— Нет, — ответил второй. — Разве?

— Да, приглядиись на карте — тоже сапог, только не такой ровный, как у Италии. Кривоватый, — улыбнулся первый.

Второй покивал.

— Здесь вы можете увидеть и самый крупный кактус — *Carnegiea Gigantea*, местные жители называют его Сагуаро. Высота этого экземпляра девятнадцать с половиной метров, и это последний экземпляр, — главарь людей сделал ударение на слове «последний». — К сожалению, он перестал цвести. Его плоды были съедобны. Кстати, их ели не только люди, но и летучие мыши. По вкусу плоды напоминали клубнику. А весит этот гигант две с половиной тонны.

— О-о-о, — раздалось сразу от нескольких людей.

— Также здесь представлен и самый маленький кактус — *Blossfeldia* — диаметром всего один сантиметр. Вот здесь, нагнитесь и увидите маленькие шарики, — главарь указал рукой на красный заборчик, поставленный по небольшому кругу. Он был далеко от меня, и я не догадывался, что там. Теперь знаю, но никогда не увижу, ведь я не смогу подойти и нагнуться. А здорово было бы с ним пообщаться — наверное, он безобидный, раз маленький.

Туристы разглядывали кактусы около часа. Меня не заметили. А ведь у меня уже выросли длинные листочки, высокий стебель и бутон, который начал раскрываться, просвечивая сиреневым. Они должны были меня заметить! Надо же, все цветы давно вымерли, а людям наплевать. Наверное, и правда мы не приносили никакой пользы? Поэтому природа от нас избавилась? Постойте, а как же пчелы? Поди, люди придумали что-то другое.

Как только туристы ушли, на меня обрушился шквал возмущений:

— Что ты тут выскочил!

— Мы бы со стыда сгорели, если бы тебя увидели.

— И чего ты вздумал открывать бутон именно сегодня!

— Но я же не контролирую это, и я не знал, что к нам придут гости, — пытался оправдаться я.

— Все ты знал!

— Ох, девочки, мальчики, ладно, не позволим этой выскочке портить нам настроение. Вы видели, как на нас смотрели? — проворковала Опунция.

— Да-а-а, — раздался подземельный голос кактуса-какашки.

Все кактусы продолжили бурно обсуждать своих воздыхателей, а я опять остался один в целой пустыне. Или во всем мире?

* * *

Сегодня я распустился окончательно. У меня выросло шесть продолговатых лепестков, широких у основания и заостренных кверху, нежного сиреневого цвета. Из зеле-

ной сердцевины с белым ореолом выходили шесть желтых тычинок. Ах да! Мои лепестки родились не гладкими, а в мелкий мягкий рубчик. Дугой загибались кнаружи, искренне раскрывшись для каждого. И мои листочки поднялись от песка высоко наверх — тонкие, длинные, сочно-зеленые. От этой нежности я решил перейти к решительным действиям.

Я все понял: их не возьмешь лаской, добротой, рассудительностью. Подлизыванием. Надо стать похожими на них — тогда они меня примут. Так я и сделаю.

— Научите меня, как быть колючим! — громко сказал я, когда возникла пауза в общении кактусов.

Сожители посмотрели на меня с недоумением.

— Зачем тебе это надо? — спросил Гигантеа.

— Хочу быть похожим на вас! — так же громко, чеканя слог, как солдат, ответил я.

Кактусы посмотрели на главного, словно дети, выжидающие реакции родителей, чтобы понять, плакать или нет. Карнегия кивнул:

— Это похвально.

— Это похвально, — повторил мимик.

«Что дальше?» — обратились с немой вопросом к главарю кактусы.

— Листья должны превратиться в колючки, — сказал мне Гигантеа.

— Как это сделать? — я был полон решимости.

Карнегия смотрел на меня проницательно.

— Обдери их об камни, — объяснил он.

У меня похолодело внутри. Молчание цепко зависло в воздухе. Все смотрели на меня в ожидании. Без презрения, но с вызовом, решительно. Они действительно хотели, чтобы я сделал это. Искренне хотели. Искренне хотели, чтобы я разбился? Изуродовал себя? Так ведь... Неужели это так важно? Но раз искренне, то да. Я понял, что это последний мой шанс. Пока они ждут этого, пока они верят в меня. Я их не подведу.

Я изо всех сил наклонился вниз и ударился листочками об камень. Боль заполонила меня. В горячем тумане я посмотрел на три пульсирующих листа — они были немного изодраны, но совсем не похожи на колючки. Тогда я стал биться об камень еще и еще, сквозь боль на секунду останавливался, осматривал ошметки и бился дальше. Поворачивался другими, целыми листьями и тоже приносил их в жертву. Я был одним сплошным ядром боли. Но боль отвержения была сильнее. Поэтому я плевал на боль и дрался сам с собой дальше.

Наконец что-то заставило меня остановиться. Я поднял стебель, оглядел себя вокруг — от меня остались обрывки мяса. Как в морге — порезанные для исследования и лежащие кучкой кусочки мяса мертвеца. Я был изуродован. Но я не был колючим. Я был просто мертвецом. Я поднял цветок наверх и впервые за резню посмотрел на кактусы. Они смотрели на меня со страхом, уже по-другому, без вызова и ожидания, в оцепенении, но по-прежнему молча. Прошла минута, наверное.

— Ха-ха-ха, — раздался смех какашки. Затем кактус резко остановился и медленно, очень медленно и презрительно добавил: — Ты стал еще гаже.

Я не успел ничего подумать и потерял сознание.

* * *

Следующие несколько дней я был в беспомощности. В нашей пустыне прошел настоящий дождь — но я этого не заметил, хотя раньше так ждал. Сквозь пустоту до меня иногда доносились презрительные взгляды и замечания кактусов — а я не мог на это даже обидой реагировать. Никак. Казалось, у меня была лихорадка. Мой стебель

с цветком пригнулся к земле. На призраки листьев я старался не смотреть. Не знаю, о чем я думал. Только одно пульсировало: чтобы этого не было. Прошло. Исчезло. Растворилось. Растворился я.

В какой-то момент появились химадоры. Я слышал от кактусов, что их так называли. Темнокожих мужчин, которые приехали к нам на грузовичке и тракторе. Их было четверо, по-простому одетых — в рубашках, штанах и кепках или панамах. Они расположились основательно, сразу разбили палатки. Подошли к нам с орудиями в руках — коа. Грубо говоря, круглый топор — длинное древко и железный круглый лист, остро заточенный. Во мне не было ни капли страха. Я просто сквозь пелену наблюдал. Химадоры сразу приблизились к агаве — кактусу-звезде, который в первый день знакомства назвал меня «рабским отродьем». Он уже сбросил свой пятиметровый разноцветный хобот — тот валялся рядом.

— ¡Excelente ejemplar! Yo me encargo, busquen a los demás⁴.

Трое химадоров пошли среди наших и остановились почему-то у таких же кактусов-звезд.

— Oye, Sebastian, mira esto⁵, — крикнул один мужчина тому, который остановился у моего обидчика.

Себастьян подошел, взглянул на агаву:

— Pequeño todavía, deja lo crecer⁶.

Химадор нашел агаву побольше и основался возле нее. И тут наши гости разом замахнулись коа и стали срубить у агав их листья-лучи. Видимо, коа были очень острыми, а колючки-листья агав очень твердыми, потому что обрубались с сильным треском. На месте оснований листьев — на сердцевине кактусов — оставались белые мидиеобразные следы. Я не думал, больно ли агавам — об этом я не мог думать, будучи сам переполненным болью. Срубив нижние листья, мужчины стали долбить коа у основания агав, отрезая их корни. Это делалось с трудом: агавы оказались крепкими. За это время химадоры пару раз подтачивали свои коа мусатами. И снова и снова со всей силы долбили по корням. Наконец агавы не выдерживали и катились, как головы Берлиоза. Теперь они были похожи на ананасы — с такими же белыми чешуйками и венцами недоспелых листьев.

— Tequila, Tequila, — приговаривали химадоры. — ¡Por fin la probaremos otra vez!⁷

Мужчины продолжали разделяться с ананасами — обрубали оставшиеся листья, скалывали пеньки от ранее отрезанных колючек. Когда от грозных агав с листьями-звездами и пятиметровыми стеблями остались лишь скальпированные шары (индейцы! А ведь точно, они похожи на индейцев), химадоры успокоились.

— Kilogramo ochenta⁸, — заметил один, приподнимая сердцевину руками.

— No tengomenos de noventa⁹, — сказал другой.

Похитители агав закинули их обугленные тела в грузовик с помощью ковша трактора. Накрыли тентом. Развели костер возле своих палаток, что-то приготовили и съели и стали проводить траурную церемонию — танцевать (древний индейский танец?). Они называли его марьячи. Один из мужчин играл на гитаре веселую мелодию, трое смешно отплясывали ногами, закинув руки за спину, — это было очень похоже на расхаживание петухов. Наконец улеглись спать.

⁴ Отличный экземпляр! Я займусь, ищите другие.

⁵ Эй, Себастьян, посмотри.

⁶ Маленькая еще, пусть растет.

⁷ Текила, текила. Наконец мы попробуем ее еще!

⁸ Килограмм восемьдесят.

⁹ У меня не меньше девяноста.

Тут завопили кактусы. Повсюду слышались слезы и стенания. Девочки причитали, мужчины ругались или молчали, дети плакали. Но все это перебивали звуки чудовищного воя — их извергали оставшиеся целые агавы. Их не тронули сегодня, но все понимали, что раз химадоры остались на ночь, то завтра они продолжат свой ритуал. Знание о неминуемости ужасной участи — одно из самых страшных. Почему-то пришло на ум название фильма: «Убей меня первым». Вроде нет такого. Запатентовать, что ли? Я почти засмеялся. Представляю, какой эффект бы имел мой смех среди скорбящих кактусов.

— Зачем они это сделали, папа? — спросил детка-кактус.

— Из сердцевины агав люди готовят свой национальный напиток — текилу.

— А как же?.. ради этого убивают? — Папа молчал. — Но если они всех убьют, то больше неоткуда будет взять?

— Им сильно хотелось, сын... Попробовать.

Опунция картинно верещала, какашка пыхтел так, что эти звуки были похожи на пукание, — и я опять чуть не засмеялся. Надо же, даже от боли отвлекся. И чего это я стал таким циничным? Теперь все неважно? Кстати, меня никто не замечал. А ведь это отличная новость! Не замечают, потому что им так плохо и страшно, что не до меня. Это что получается — когда другим очень плохо, то для меня это хорошо? Собственный вывод меня потряс. Прокручивая в голове эту странную мысль, я заснул, не обращая внимания на вопли кактусов и забыв про собственную боль.

* * *

На следующий день произошло то, что должно было произойти: агавы исчезли. Химадоры собрали Берлиозов, закинули в грузовик, быстро свернулись и уехали. В этот раз без траурной церемонии. Повезло только одному экземпляру, которого химадоры посчитали маленьким. Он, кстати, замкнулся и перестал разговаривать.

Еще через день к нам опять пожаловали... — гостями я уже перестал называть людей — захватчики. Земля завибрировала от дрожания кактусов. Двое белокожих мужчин и одна бледнолицая женщина в строгих черных костюмах расхаживали между нами и почему-то не обращали никакого внимания на Гигантеа, мимику, агаву, Драконий Фрукт и другие впечатляющие кактусы. Люди в черном наклонялись к земле и искали маленькие неприметные растения. Найдя, присаживались на корточки, внимательно разглядывали, звали напарников и что-то обсуждали. Они срезали штук двадцать «декоративных», как они их называли, кактусов и уехали на черном джипе в окружении телохранителей. После них пустыня, казалось, была окровавленной: повсюду пеньки от обрезанных кактусов, пробуравленные обувью дыры, отсвет заката на золотом песке и смесь криков. Меня в этой панике по-прежнему не замечали. Я сдержанно ликовал.

И вот кактусы наконец пришли на собрание. Но у них никак не получалось придумать, как выйти из этой ситуации, как предотвратить монгольское нашествие. Я тоже размышлял об этом. Они действительно ничего не в силах сделать, разве что колючками заколоть, хотя люди осторожны и не наваливаются на колючки. Если только Чолла на них прыгнет, но в одиночку он не справится. Кактусы не ходят, в этом их слабость. Но не безнадежность, они умеют другое — говорить. Это может быть их силой, они не пробовали. Я подумал было помочь им, но осекся. Помочь? Кто я такой? Просто... взгляд со стороны. Но вроде здравый, подкину им мысль. Зачем мне это? Не знаю. Неприятно видеть, как все вокруг истребляется. Даже если это твои враги. А может... они зауважают меня? Если я им дельное решение подскажу. Попробую. Пожалуй.

Я распрямил свой стебель, потянулся сиреневыми лепестками вверх, расправил, как мог, свои культи и прокашлялся:

— Кхм, кхм... Сеньоры и сеньориты!

Все посмотрели на меня. Я продолжал:

— Позвольте мне высказать свое мнение в вашем собрании.

Все молчали. Вдруг воздух рассек взмах крыльев — к нам стремительно приближалось невероятное зрелище. Бабочка с расцветкой зебры. Я не шучу! Именно такая окраска. Помню, я видел, как одна женщина, в моей прошлой жизни, пекла торт. Когда его разрезали, внутри оказалась расцветка зебры. Его так и называли люди: торт «Зебра». Интересно, как называют эту бабочку? Это чудо село на цветок Опунции на ободке ее головы. И стало с жадностью пить нектар. Хотя нет, бабочка была так мила — я бы не стал говорить «с жадностью», я бы сказал «с упоением», «с вдохновением». Я загляделся на нее и забыл про все вокруг. Меня прервал голос:

— Бабочка-зебра-ласточкин хвост.

Это сказала Опунция. Она была довольна, и даже спесь спала с ее кактусино лица.

— Моя дорогая, — сказала она.

— Что? — спросил я. — Ласточкин хвост?

— Посмотри, — ласково произнесла Опунция.

Я стал рассматривать хвост чудесной бабочки — он был длинным и раздвоенным, как у ласточки, и напоминал вилку для торта. Того самого, торта-зебры. Изысканная десертная вилка. Изысканный торт. Изысканная бабочка. Господи, а вишенка-то! У основания хвоста звенело маленькое красное пятнышко. Вишенка на торте...

— Ты что-то хотел сказать? — спросил Гигантеа.

— А? Да, — я пытался собраться с мыслями, силой отвел взгляд от бабочки. — Уважаемые кактусы! Не считите за фамильярность, меня посетила такая мысль: что если вам использовать ваш дар говорить при людях?

— Нельзя, — серьезно заметил Гигантеа.

— Табу, — подтвердил мимик.

— Зачем? — спросил Чолла.

— Чтобы напугать, — ответил я. — Представляете, как они испугаются, если вы при них заговорите?

Кактусы молчали.

— Растения никогда не говорят с людьми, — продолжал я. — Но почему? Может, природой так установлено, но можно же нарушать это правило, когда речь идет об угрозе вымирания?

— Нельзя, наверное, — задумчиво сказал Драконий Фрукт.

— Почему?

— Не знаю, так повелось. Наверное, от этого нарушатся какие-то законы природы.

— А если наоборот? — допытывался я. — Если они нарушатся сейчас, если вы не будете влезать?

— Странная мысль, — сказал Гигантеа.

— Согласен, — вторил безымянный кактус.

— Но можно подумать, — добавил Гигантеа.

Воцарилась тишина. Все в оцепенении смотрели на Карнегию Гигантскую.

— Давайте попробуем, — сказал гигант. — Цветок прав. Как там... тебя зовут?

— Зефирантес, — ответил я, замаявшись.

— Цветок западного ветра, — растянуто сказал Гигантеа. Это звучало так уважительно, что я был ошарашен.

— Что значит цветок западного ветра? — спросил кактус-какашка.

— Зефир — бог западного ветра, антес — цветок. По-гречески.

— Но почему его так называли? — спросил какашка.

— Он вылезает из земли и цветет тогда, когда дует влажный теплый ветер с запада.

Я слушал этот рассказ о происхождении моего имени и наливался теплом и уютом. Вернулся взглядом к бабочке — та все еще пила нектар.

— Расскажи подробнее, что ты предлагаешь, Зефирантес? — спросил великан.

Я ответил, не отворачиваясь от красавицы зебры:

— Вы будете говорить — неважно что, угрозы, рассуждения, завывания, а люди подумают, что здесь водятся духи. Люди не любят чертовщину и будут держаться от нас подальше.

Бабочка-зебра-ласточкин хвост приподняла хоботок от цветка Опунции, расправила сосредоточенные крылья, секунду подумала, взметнула черно-белыми лепестками и стремглав улетела от нас. Я, спокойный, посмотрел на своих соседей — и не увидел среди кактусов ни одного недоброжелательного взгляда. Я был рад. Наверное, впервые в этом пустынном месте.

— Это хорошая идея, Зефирантес, — сказал мимик.

— Да-да, — подтвердила его волосатая подруга.

И мы даже поболтали, совершенно неожиданно, как старые друзья, о том о сем. Я ощутил вкус общения, манящий аромат взаимообмена теплом, энергией, доброжелательными словами. Я заслужил признание? Кажется. Возможно. Надеюсь. Своим предложением? Да. Получается, умом? Да. Значит, кактусам нравится ум. Может быть, они думали, что все цветы — пустые красотки? Интересно, как красота может все испортить... Я помню — хоть это и звучит заносчиво — люди раньше восхищались нами. А кактусы завидовали? Эх, ладно, живем дальше. Главное — признание. Меня признали. Меня похвалили. Со мной поговорили. Можно вздохнуть спокойно. И я вздохнул, посмотрев в ровное синее небо.

* * *

— Эй-эй, ты знаешь, какой сегодня день? — услышал я сквозь сон.

Безымянный кактус смотрел на меня сверху вниз: по-другому он не мог, был слишком большим. И это не Карнегия Гигантеа, другой, мне не довелось с ним познакомиться. Он был как бочка — огромная и круглая, в высоту где-то два метра, может, и больше, а в ширину метр-полтора. Вместо клепок у кактуса-бочки выпирали очень жесткие ребра с глубокими впадинами. Колючки выглядели вовсе не как колючки, а как самые настоящие швейные иглы — трехсантиметровые, толстые, серые. Наверное, даже слону страшно подходить к такой игольчатой бочке. Глядишь, и его толстую кожу проткнут, стоит только оступиться. Так, но наверху очень даже красиво — какие-то ананасики растут. Очень похожи, правда: желтые плоды, вытянутые, чешуйчатые, а наверху сухие венчики. Мило.

— Ну? — нетерпеливо спросила Бочка.

— Э-э-э, нет, не знаю, — ответил я.

— Сегодня ночью Драконий Фрукт будет распускаться.

— Что делать?

— Раскрывать цветки.

Я молчал.

— Вон, видишь, у него, кроме фруктов, висят желтые пучки?

Я посмотрел на Драконий Фрукт — дерево с гладкими колючками-лианами, на котором обильно росли розовые плоды и желтые соцветия. Я кивнул.

— Это не все, что прячет Питайя, — продолжал большой кактус. — То есть как раз другое она не прячет, а это прячет.

— Что?

— Цветки.

— Так вот же, желтые? — не понял я.

— Нет, это просто створки. По ночам они раскрываются и освобождают невероятной красоты большие белые цветы, — последние три слова бочка произнесла размеренно и с пиететом. — Это очень красиво. А еще они прекрасно пахнут.

В целом если бы раньше мне это сказали, я бы разозлился или, как минимум, обиделся. Кактусы любят цветы? Почему тогда меня они презирают? Ведь я тоже цветок и тоже красивый. Но сегодня сказанные слова не возымели такого эффекта, потому что я был рад. Рад, что со мной разговаривали как с другом, делились, принимали за своего.

— Здорово! — воскликнул я.

— Мы все будем смотреть. Один стоит на стреме — не засыпает, чтобы не пропустить. И как только створки начинают открываться, будит всех остальных.

Я снова кивнул.

— Тебя мы не будили, потому что... ну... ты понимаешь. А сейчас мы посоветовались и решили, что можно. Мы тебя разбудим, хочешь?

— Конечно, — ответил я немного ошарашенно.

— Вот и славно, ты не пожалеешь, Зефирантес.

— Кстати, а как тебя зовут? Я не знаю.

— Эхинокактус.

— О, какое солидное название. А что оно означает?

— Ёж, — гордо ответила Бочка.

— Как это связано?

— Греческое слово «эхинос» — ёж. Ну я же похож на ежа — колючий.

— Конечно, — подтвердил я и решил не говорить собеседнику, что он больше похож на бочку, чем на ежа.

— Но на самом деле все мы здесь ежи, — Бочка как будто прочитала мои мысли. — Так что обычно меня называют «Бочонок».

Я опять кивнул:

— Да, наверное, больше подходит.

Эхинокактус засмеялся.

* * *

Я думал, не засну этой ночью, и сначала долго не мог, но потом все-таки отрубился. Меня разбудил Бочонок и сразу показал на Питайю. Я скользнул по ней взглядом и стал осматривать все вокруг: луна, звезды, много белого света, освещенные равнины, темные гребни и впадины дюн, блики и тени. Все краски мира сошлись на четырех цветах: сером, коричневом, синем и белом, космическое небо с миллиардами звезд, смешавшимися в звездную пыль. И темные силуэты кактусов — никто не спал, даже дети. Большинство смотрели на Драконий Фрукт, лишь некоторые стреляли глазами, как я. Желтые створки Питайи медленно раскрывались. Из них выглядывали девственные лепестки самого чистого на свете белого цвета. Постепенно они смелели и все больше показывались, увеличиваясь в размерах, пока наконец не приспустили фату и не оголяли светло-желтые нежные волосики сердцевин. Полностью раскрытые цветки обрамлялись веером поддавшихся створок. Неожиданно я понял,

что до меня давно донесся аромат — нежный, какой-то жасминовый, он гармонично слился со зрелищем.

— Нравится? — с придыханием спросил Бочонок.

— А то! — просто ответил я. — Спасибо за посвящение!

— Пожалуйста, — сказала огромная бочка и вежливо добавила: — Знаешь, а ты не такой урод, как мне казалось вначале.

Я хмыкнул. И приятно, и немножко обидно.

Я не заметил, как заснул, а утром проснулся оттого, что что-то чесалось — мама дорогая, у меня вылезли еще цветки! Сразу три бутона и даже несколько здоровых листиков вперемишку с моими кульями. Днем цветки раскрылись. Но уже с утра я получил кучу комплиментов. Сегодня мы много общались с кактусами, свободно, непринужденно, и я чувствовал себя своим, счастливым.

* * *

Толпа юнцов приближалась к нам. Их вид насторожил меня — решительный, агрессивный.

— Oye, ¿hay alguien aquí?¹⁰ — крикнул парень в драных джинсовых шортах и черной футболке и кинул увесистый камень в ближайший кактус.

Им оказался Чолла. Чолла по привычке смолчал, хотя на месте удара образовалась глубокая вмятина, зато тут же бросился своим колючим отростком на хулигана и попал ему в щеку. Подросток завизжал, схватил отросток рукой и, наколовшись на шипы, заорал еще больше и стал бегать вокруг себя, не зная, как избавиться от орудия.

— Сгинь, нечистая сила, — раскатистым голосом сказал Гигантеа.

Он так говорил уже раньше, и это всегда безотказно действовало, но не сейчас. Злобные подростки устремили взгляд наверх, на двадцать метров в небо, откуда услышали голос. Один из них заорал:

— ¡Es una fuerza impura!¹¹

Длинный и надогнутый, как веточка-переросток, парень поднял камень и бросил в Гигантеа. Другие юнцы повторили.

— У-у-у, — раскатисто завыл Гигантеа — не от боли, а чтобы напугать.

— Пошли отсюда вон! — крикнул мимик и грозно поднял шупальце.

— Заколю-ю-ю! — заорала Бочка.

— Ja, ja, ja, — наперебой засмеялась злобная орава, один выкрикнул: — ¡No nos asustes! Te mostraremos quién está a cargo aquí!¹²

— ¡Goida!¹³ — обезумел жирный парень с татуировкой черепа на лбу и выдернул из рюкзака мачете.

Другие последовали его примеру. Юные убийцы направились к нам. Пустыня завывала от безнадежных стонов кактусов. Мачете обрушились на зеленых истуканов. Широким лезвиям были нипочем колючки. Куски отрубленных голов, рук кактусов разлетались по песку. Некоторые, летя с размаха, оказывались сразу погребенными под мягкой желтой периной. Но остовы кактусов неподвижно зияли белыми дырами. От женщин и детей тоже остались скелеты. Скоро подростки успокоились, выместив свою неудовлетворенность, и ушли, не прихватив с собой ни плода.

— ¡Quieren asustar!¹⁴ — сказал на прощание патлатый пацан, обернувшись к нам.

¹⁰ Эй, есть здесь кто-нибудь?

¹¹ Сам нечистая сила!

¹² Ха-ха-ха... Нас не напугать! Мы вам покажем, кто здесь главный.

¹³ Гойда!

¹⁴ Ишь, напугать захотели!

К двум третям нас — треть кактусинового населения вымерла.

Когда толпа ушла, воцарилась тишина — насколько это возможно сквозь стоны больных. Жара быстро запекала белую кровь моих друзей. Песок бугрился потонувшими и оставшимися на поверхности останками. Гигантеа был жив, но плакал. Вдруг, как из подземелья, раздался ослабевший голосок Опунии:

— Смерть Зефирантесу!

Я понял без слов — это ведь я придумал напугать людей разговорами кактусов. А некоторых это взбесило. Я повинен в смерти своих недавно обретенных друзей. Они правы.

— Смерть Зефирантесу! Смерть Зефирантесу! — скандировал весь свет.

Смерть мне, думал я. Я сам выбираю ее. И я взял листом острый камень, надорвав жилы, и наотмашь срезал себя под корень. Стебель рухнул на землю, голова-соцветие на долю секунды увидела пустое место на месте себя. Мир исчез.

* * *

Тишина в пустыне. Ясное небо. Солнце печет, и цветки Гигантеа на самой макушке лоснятся белым блеском. Вокруг них роятся пчелы, то залетая в желтые серединки, то улетающая по своим делам. У подножия Карнегии образовалось новое дупло от засохших коричневой корочкой порезов мачете. В этом дупле обосновалась хозяйка-сова — других птиц не пускает. Маленькая выжившая агава подросла и светит звездными лучами. Песок мечется от желтого к серому. Скалы стоят, не меняясь. Мелкие камни иногда перемещаются от ветра (но не от ноги, люди к кактусам больше не приходят). Чоллы нет, волосатой подруги мимика тоже, Бочонок, несмотря на размер, не вынес ранений и умер. Но другие кактусы растут и продолжают жить. Общаются, немного размножаются, иногда смеются, но совсем чуть-чуть — легкая грусть пронизывает их разговоры, и не только из-за численных потерь, но и от того, что не над кем больше потешаться, нет больше гадкого утенка.

* * *

Далее перевод с испанского.

— Развитие экспорта важнее каких-то кактусов, — сказал худощавый смуглец с торчащими ушами и шапкой темно-серых волос, распадающихся на лбу на половинки.

— Спорное утверждение, — ответил круглолицый мужчина с обвисшими щеками и шеей. Его седые волосы были зализаны назад, усики и брови коротко подстрижены, а на переносице сидели лаконичные очки в тонкой оправе.

— Посудите сами, — продолжал худощавый, — наша страна всегда жила за счет экспорта. Ресурсы — наше все. Кофе, кукуруза, свинина и... сами знаете. — Круглолицый кивнул. — Но курица — это не только экспорт. Вы прекрасно знаете, что это самое популярное мясо у мексиканцев, да и у туристов. — Снова кивок. — Сейчас у нас задача полностью отказаться от импорта куриного мяса из США. Стыдоба, что мы едим чужое мясо, когда сами можем его производить. Кроме того, нам надо окончательно завоевать Китай. Они щепетильно относятся к санитарным зонам. — Смуглый перешел на вкрадчивость: — Нам нужна такая гигантская беспрецедентная санитарная зона.

— Это уж точно — зона хорошая, — горделиво ответил обвисший. — Потому мы ее и выбрали для заповедника.

— Прекрасно, но он отжил свое.

— Не скажите.

— Да сколько кактусов там осталось? — пренебрежительно махнул рукой топящий за экспорт. — Большинство перебили мародеры, браконьеры.

— Сколько бы ни было — это последние.

— Конечно, я понимаю, но они все равно доживают свой век. Совсем скоро их вовсе не будет. А зона нам нужна сейчас. — Худощавый заходил по кабинету. — Нужна мексиканцам, нужна вам. Кстати, мы будем каждое утро эксклюзивно поставлять вам свежее мясо, яйца. — Он подошел к окну, рассмотрел внутренний парк и добавил: — Для вашего прекрасного сада — лучшие удобрения из куриного помета. — Затем ушастый подскочил к стене с картой мира и жадно кивнул в ее сторону: — Обещаю, мы сделаем лучшую птицеводческую ферму в Мексике, нет — в Южной Америке. Это будет город, нет — остров с домами для персонала, со своей больницей, детсадом, школой, супермаркетом и, конечно, церковью! При такой изоляции никакой птичий грипп не страшен — Китай будет доволен.

Теперь круглый встал из-за дубового стола и подошел к окну. Улица изобиловала густой зеленью, пальмами, искусно расставленными арками, фонтанами и вазонами с цветами. Мужчина в очках ответил:

— Благодаря таким, как вы, кактусы и вымерли.

Тот улыбнулся:

— Они были обречены, не я приблизил их вымирание.

— Конечно, но ученые предупреждали нас еще в 2015 году. Правда, тогда речь шла о трети всех видов кактусов. Боже, истребить такое разнообразие! Кактусы всегда были нашей гордостью. Ни в одной стране мира не росло столько видов. Это же наш символ! А текила? Вот вы говорите про экспорт — так мы текилу прекрасно экспортировали всему миру.

— Повторяю, не я истребил кактусы. Особенно агавы. Что я, дурак? Я сам любил текилу. Ммм... — посмаковал бывшее наслаждение смуглец, крикнул, встрепенулсЯ и добавил: — Очень скупаю по ней.

Круглолицый сглотнул, медленно подошел к журнальному столику с высокими пересекающимися ножками и погладил бронзовую статуэтку в форме агавы. Сказал:

— Да, это большая утрата для всего мира... И сейчас вы хотите, чтобы мы лишились последних экземпляров этих чудесных беззащитных растений?

Худощавый приблизился к собеседнику и похлопал его по плечу:

— Понимаю, конечно... Но вы видели эти огрызки? Их совсем чуть-чуть, они на последнем издыхании. Обречены.

Тот вздохнул:

— Так-то так, но мир не простит преждевременного прощания.

— Двести миллиардов — и мир никогда не узнает, что пожар был спланирован, — ответил наглец.

Лицо, принимающее решения, отошло к окну. Снова взгляд на мраморные дорожки, колонны и цветущие кусты. Три минуты молчания и ответ:

— Вы не шутите насчет суммы?

— Нет, — быстро подтвердил человек с каплями на лице.

— Вы обещаете, что сделаете все шито-крыто?

— Гарантирую.

ЛПР направился к сейфу, разблокировал его и достал плоскую бутылку с шипованным рельефом, металлизированной круглой эмблемой и ракушечьей пробкой:

— Моя предпоследняя.

Худощавый задрожал. У него отвисла нижняя челюсть, взгляд стал стеклянным, и видно было, что он потерял дар речи.

Круглолицый налил пряную жидкость светло-карамельного цвета в две стопки, пошел с ними к собеседнику и сказал:

— Кактусы — неотъемлемая часть экосистемы пустыни. Ими питаются индейки, хомяки, черепахи. Их нектар пьют прекрасные колибри, пчелы и летучие мыши.

Смуглый смотрел на очкастого выжидательно. Тот был, казалось, спокоен, безмятежен, и по его лицу совершенно нельзя было угадать, что он чувствует или о чем думает. Оба молчали, глядя глаза в глаза друг другу, целую минуту. Наконец ЛПП подал стопку просящему, приподнял свою и решительно и весело сказал:

— За договоренность!

Худощавый нервно улыбнулся, тоже приподнял стопку, ответил:

— Восхитительно! За кактусы!

И выпил текилу.

* * *

Мексиканский мужчина очень напоминал кота Базилио из советского фильма. Маленькое круглое лицо, невыраженные губы, сверху и вовсе скрытые широкой черной полосой усов, сплошное полотно недавно побритой щетины и маленькие круглые солнцезащитные очки. На лице застыло такое же, как у Базилио, спокойно-плутовское выражение. Базилио очень шла огромнополая соломенная шляпа. Волосатая грудь его была прикрыта рубашкой расцветки арбузной корочки. Руки чернели от въевшейся грязи. Мужчина стоял и наблюдал за плантацией кактусов. Его облик был таким невозмутимым, а антураж пустыни и картинка хладнокровной сосредоточенности будто перед перестрелкой — настолько знакомыми по фильмам, что, казалось, сейчас зазвучит музыка Дикого Запада. Через несколько минут разглядывания мужчина повернулся к своему Чеву Кайену, достал из открытого кузова канистру с моторным маслом. Всего Базилио достал восемь канистр. Лихо схватил сразу четыре и отнес ближе к кактусам. Через пару минут возле Клейстокактуса стояли восемь пластиковых тар с подрагивающей после переноса густой жидкостью.

Базилио аккуратно потрогал шупальце мимики. Заглянул в основание — широкое. И сходил к машине за лопатой. Увидев орудие, кактусы завyli. Базилио оглядел их, сохранив хладнокровие.

— Los alimañas¹⁵, — тихим басом сказал он и принялся выкапывать траншею вокруг основания Клейстокактуса.

Кактусы рыдали и стонали. Закончив дело, мужчина поднял канистру и полил мимику моторным маслом — аккуратно и со вкусом, как блинчики сиропом. Немного налил в траншею. И достал коробок спичек.

* * *

Далее перевод с испанского.

Молодой человек в дорогом деловом костюме торопливо и чуть подергиваясь шел по тротуару и разговаривал по телефону:

— Господи, это надо предотвратить!

Голос в трубке ответил:

— Не думаю, что вмешиваться в ЕГО решение — хорошая идея.

— Да наплевать! — с жаром сказал деловой человек. — Что-нибудь придумаем потом. Уедем из страны. Главное, сейчас это предотвратить. Это же катастрофа вселенского масштаба!

¹⁵ Хм, паразиты.

Собеседник не отвечал. Деловой человек двигался вперед мимо цветных домиков, обильно увитых ярко-розовыми и фиолетовыми цветами, и ждал ответа.

— Рикардо?! — не выдержал он.

— Да.

— Что скажешь?

— Думаю, что у них и не получится, — спокойно ответил Рикардо. — Зря боишься. Как можно сжечь кактусы, они же с водой?

— Как-как, если поддерживать пламя, рано или поздно они сгорят.

— Хорошо, даже если они все сгорят, корни останутся! И из них потом вырастут новые кактусы.

Человек в костюме остановился.

— Диего? — спросил Рикардо.

— А? — встрепенулся тот.

— Слышишь меня?

— Да... Хорошо... — обрывисто ответил Диего. — Будем надеяться, что у них не получится. Ладно, мне пора бежать.

Диего сбросил вызов и, по-прежнему стоя посреди тротуара, набрал номер полиции:

— Здравствуйте! У меня есть информация, что сейчас в Международном заповеднике кактусов находится бандит, который собирается сжечь все оставшиеся кактусы.

Выпалив это, молодой человек повесил трубку. Оглянулся и пошел дальше мимо веселых зданий.

* * *

Базилио достал спичку из коробка, чиркнул, улыбнулся, смотря на пламя, и вдруг задумался и загасил огонек, встряхнув рукой. Оглядел колючие ископаемые, взял канистру и стал поливать Опунцию. Она вопила.

— Maldita sea¹⁶, — сказал мексиканец, нагнувшись и увидев густой ковер из лепешек, которые росли прямо из земли.

Вырыл траншею вокруг кактуса-девочки, залил в нее масло и отправился с канистрой и лопатой к следующему кактусу.

Крик совы, гул разрезаемого воздуха — Базилио повернулся на звук и увидел летящую птицу. Мощная серая сова направлялась к Гигантеа. Базилио провожал ее взглядом — сова залетела в дупло Карнегии. Мексиканец еще на несколько секунд загляделся и стал возвращаться к своему пути, как вдруг боковое зрение зацепилось за красочное пятно.

Мужчина повернул голову и остановился взглядом на помехе. Это была чистейшая нежность. Воздушное розовато-сиреневое суфле, покачивающееся от ветерка. Украшение из желтых дорожек и салатной бусины. Вокруг — салют из тоненьких неколючих зеленых искр. Вспышка прекрасного.

Это был я.

— ¡Cómo sobreviviste entre esos bastardos!¹⁷ — воскликнул Базилио.

«Вопреки», — хотел ответить я.

Базилио еще долго любовался мной — казалось, он о чем-то задумался, нет, что-то вспоминал, и это что-то было очень светлым: мамой, дочкой или любимой девушкой. А потом он достал телефон и стал фотографировать меня в разных ракурсах и себя со мной (спасибо — осторожно). И что-то бормотал.

¹⁶ Черт знает что.

¹⁷ Как ты выжил среди этих грубиянов!

В этот момент мы услышали звук подъезжающей машины. Базилио встрепенулся, но не сразу отошел от романтического оцепенения. Мы увидели, как из полицейского автомобиля вышли четверо с пистолетами наготове и направились к нам. Базилио метнулся в сторону от них, потом обратно к своей машине — но там бы его перехватили, и он побежал в голую пустыню. Полицейские побежали за ним. Мой поклонник бежал очень быстро, и, наверное, я желал ему удачи. Люди в форме отставали. Вскоре все люди скрылись из поля моего зрения, за песчаным холмом. Через несколько секунд я услышал выстрел. И короткий вскрик. Какой-то шум, неразборчивые разговоры. А еще через несколько минут я снова увидел их всех — двое полицейских тащили под руки Базилио, третий шел впереди, четвертый замыкал. От ноги Базилио по песку тянулся кровавый след — бедный, подстрелили. Люди в форме довели Базилио до служебной машины, усадили на заднее сиденье и заковали руки в наручники. Газанули и уехали.

Зверя поймали — а ведь он был единственным, кто отнесся ко мне с такой нежностью...

* * *

В этот день было много людей, много камер, шума и машин. Специалисты-ботаники реанимировали облитые моторным маслом кактусы. Ухаживали за другими. Вокруг нас стали возводить огромные каменные стены. Во время шумихи ко мне целенаправленно подошел мужчина — я узнал его, он был среди тех полицейских, только в этот момент без формы — и выкопал меня. Он был осторожен — достал меня всего, вместе с луковицей и донцем, не повредил даже тонюсенькие корешки. Он отвез меня на своей гражданской машине — я увидел город, только совсем немного, потому что сидел внизу — и привез к себе домой. Дверь открыла его жена и улыбнулась.

— Mira, aquí está, héroe¹⁸, — сказал полицейский, ласково посмотрел на меня и протянул жене.

— Hermoso¹⁹, — ответила она, взяв меня в руки.

Женщина отнесла меня в комнату и посадила в розовый керамический горшок с лепниной. У меня никогда не было такого красивого горшка! Женщина засыпала мою луковицу бархатистой черной землей. Полила. И отнесла в кухню. Я сначала потерял дар речи — хотя я и не говорил при людях, но в тот момент и не смог бы, — а потом чуть не заплакал. Я увидел на подоконнике множество цветов: красных, желтых, белых, фиолетовых, розовых, оранжевых и голубых. Все такие разные, красивые — мои сородичи. Я не понимал, что происходит. Но наверное, это было затерянное счастье.

— ¡Alejandro! — позвала жена. — Fíjate²⁰.

Полицейский зашел в кухню, умилился всем нам, подошел ко мне, наклонился и сказал:

— ¡Lo hiciste bien! ¡Salvó la última reserva de cactus! ¡Qué héroe tan bueno! ¿Sabías que vivías entre los últimos cactus de la tierra?²¹

«Не знал», — хотел я ответить ему.

Полицейский улыбнулся:

— Descansa. Debes haber tenido problemas²².

¹⁸ Смотри, вот он, герой.

¹⁹ Красивый.

²⁰ Алехандро! Посмотри.

²¹ А ты молодец! Спас последний заповедник кактусов! Да что там молодец — герой! Ты знал, что жил среди последних кактусов на земле?

²² Отдыхай. Не сладко тебе пришлось, наверное.

И он очень бережно погладил мой лепесток и вышел.

— Здравствуйте! — сказал я соседям через несколько минут.

— Привет, привет, — хором ответили цветы.

— Давай на «ты», — предложил один из них.

— Давай, — ответил я. — Откуда вы взялись?

Цветы рассмеялись:

— Что ты имеешь в виду?

— Все же цветы вымерли, — растерянно ответил я.

— Чушь!

— Бред!

— Вот еще!

— С чего ты взял?

— Они... они сказали мне... кактусы... что я единственный, — сказал я и зарыдал.

— Бедненький, — ответила милая белая фиалка. — Будешь моим другом?

— Буду-у-у, — еще больше зарыдал я.

— ¡Caríño, mira, estás en la tele!²³ — раздалось где-то в доме.

Я отрезвился и перестал плакать.

— Боже, у тебя что, слезы? — с высочайшим недоумением воскликнула пышная перларгония красно-белой расцветки.

Я посмотрел на себя — по стеблю стекали слезы. Слезы счастья. Люблю тебя, мир.

²³ Дорогой, смотри, тебя по телевизору показывают!

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ И АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ

Пережив порыв стартового энтузиазма и острый приступ гениальности, начинающий литератор рано или поздно испытывает обнуляющее чувство: все давно написано, и ему нечего положить в переполненную копилку. Постепенно эхо этой катастрофы удаляется, вдохновение возвращается вместе с желанием удивить мир, и рукописи множатся, нетерпеливо просясь в печать.

Но в литературе есть подвид, который для кого-то становится, как выражался Бродский, «видовой целью». Это художественный перевод, на базе русского языка часто не уступающий оригиналу, а иногда и превосходящий его. И мысль, что все на свете давно переведено, не обжигает столь сильно, как описанная выше. Да, переведено, но я переведу лучше!

Не знаю, мучили подобные вулканические страсти Михаила Серебринского, или он обошелся малой толикой рефлексии, но переводческий замах молодого автора впечатляет. Не абы за кого взялся он в надежде превзойти предшественников, и не остановили его этих предшественников имена и титулы.

Лидера европейского авангарда Гийома Аполлинера переводили Б. Лифшиц, М. Зенкевич и П. Антокольский. Поль Валери 12 раз номинировался на Нобелевскую премию. Дадаист, сюрреалист и коммунист Луи Арагон дружил с Маяковским и сидел в президиумах главных советских литературных мероприятий. Это французы. Ирландец У.-Б. Йейтс удостоился Нобелевской премии по литературе в 1923 году. А бывший американский фермер Р. Фрост четырежды награждался Пулитцеровской премией.

Но дело даже не в регалиях переводимых, а в том, что возвращаются времена, когда переводчик работает не с подстрочником, а с первоисточником, что имеет значение коренное. Но главное, конечно, это становятся ли переводные тексты фактом русской поэзии или нет. Говорить об этом в данном случае, может, и рановато — надо сначала избавиться от свистящего бича современной поэзии: небрежной, приблизительной рифмовки. Но поприветствовать и поздравить с бодрым началом Михаила Серебринского уже можно. Что я с удовольствием и делаю!

Марина КУДИМОВА

1. ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Поль Валери

КЕСАРЬ

Подмывший под себя полмира, он спокоен:
Лежат на кулаках две жесткие скулы,
Глаза его — закат, в глазах его — орлы,
И пухнет сердце от величия Закона.

Пусть за окном моря ему поклоны стелют,
Пусть недвижима рожь — вот-вот во все дела
Вмешается указ, что копится в узлах
Сосредоточенного, собранного тела.

Всего один указ расколет сжатый рот,
И снова окропят когорты горизонт
(Он — губы кесаря, надменная полоска),

В то время, как вдали рыбак без лишних чувств
Свистит, не думает, покачиваясь в лодке,
Что за проклятие летит с монарших уст...

Гийом Аполлинер

ИЗ «СТИХОТВОРЕНИЙ К ЛУ», XII

Если б я умирал где-то там, за чертой фронтовой,
Ты б поплакала, Лу, дорогая, разок надо мною,
Ты б забыла меня, и мой образ ушел в темноту —
Так снаряд умирает в тоске за небесной чертою,
Разрываясь над фронтом прекрасной мимозой в цвету.

Разорваться бы памятью там, на небесных морщинах,
Теплой кровью по миру пройти, по святой простоте:
По горам, по лесам, по звезде миллиардом дождинок,
По морям и по солнцам, уснувшим в небесных морщинах,
Как по желтым лимонам, растущим вокруг Баратье.

Я тогда бы остался во всем, всюду был бы с тобою.
Ты б не знала, а я — ежедневно напивал кровью
Алый рот и концы розоватых грудей — докрасна.
Твои волосы стали б с годами рыжее от крови,
Разве старость бессмертному телу бывает страшна?

Кровь моя запустила бы сотни вселенских артерий:
Ты всегда молодеда бы, солнца — всходили втроем,
И цветы над постелью от запаха тихо дурели,
И волна приливала быстрее, быстрее, быстрее,
И любовник победно геройствовал в теле твоём.

Я любовью бы стал. Знаешь, Лу, если все же умру там,
Вспоминай иногда по безумным, счастливым минутам:
Ты во сны не звала меня — пусть — и я все-таки был.
Вспоминай иногда этот взрыв, этот чувственный пыл.
Я — безумный фонтан, бьющий кровью по синей планете,
Будь же самой красивой и самой счастливой на свете,

Будь моей до последней атаки и капли чернил.

ИЗ «СТИХОТВОРЕНИЙ К ЛУ», XXXIV. III

Помнишь, Лу, город Ним? Ты прислала туда апельсины,
Те, что пахли, как наши тела. Их прекрасную плоть
Я не ел, я не мог: мне казалось, что с неба Господь
Посылает святых, и они нам несут апельсины.

Лу, я ждал, чтобы ты разделила со мною корзину
Наших фруктов. Как раньше, я ждал тебя в Ниме, увя,
Бесполезно, и сгнили трофеи солдатской любви.
Я дрожал. До апреля шел снег, как идут апельсины.

В шесть утра я ушел на войну, оставляя за нами
Город Ним и один апельсин, тот, что чудом не сгнил.
Он сжимался, как память, сжимался, как маленький Ним,
Так сжимается сердце и бьется в нагрудном кармане.

Этот сладкий комочек любви я сосал по траншеям,
По окопам. О бедная память, не так ли я грыз
Твою жесткую кожу? — жалкий, изящный каприз.
Пролетали снаряды, метали огонь батареи.

Если вспомнишь об этом — посмейся. Куда же мне деться?
От тебя, от проигранной мною любви уцелел,
Лу, один апельсин. Вспоминаешь? И я его съел
И теперь по окопам грызу одинокое сердце.

ГИРЛЯНДА ЛУ

1.

Пью кофе, курю. В Тарасконе спокойно.
Смотрю за движеньем колонн:
Проходят гумье и гирляндою конной
Опутывают Тараскон.

Такою гирляндой состав паровозный
Опутал тебя. В этот день
Я ехал на фронт и все думал о розах
Твоих розоватых грудей.

2.

Когда паровоз, как снаряд из обоймы,
Сорвался на бег, я не мог
Смотреть за окном: я еще был с тобою
В саду твоих мраморных ног,

Где вены соцветьями гелиотропов
Сходились в единый бутон.
О гелиотропы — дыханье окопов,
О распятой Бельгии стон!

3.

Лу! Память все связывает с тобою.
С глазами, что пахнут сырой резедой —
Ей пахли тела семерых округов,
Проливших святую, невинную кровь.

4.

А руки! А руки! Скорей подними их:
Там лилии первых Бурбонов под ними —
Цени эти лилии: с ними чиста
Военная скверна и нечистота.

Две лилии, что новобрачных венчают,
Солдат провожают на фронт, отпевают.
Две чаши — соборные колокола,
Чье имя — Любовь и Господня хвала.

5.

Вернусь — упаду после трудной дороги
К тебе в золотые мимозные ноги.
Солдат должен знать, что любые пути
Кончаются светом, теплом во плоти.

— Открой. Это я. Я живой. Я пришел.
— Ты бледный как смерть. Я накрою на стол.
— Мне холодно. Видно, в дороге продрог.
Я думал согреться теплом милых ног,
Обнять после холода и пустоты
Ступни твои, как золотые цветы.

— Любимый, что толку от милых ступней?
Потрогай: они мертвеца холодней.

6.

От стонов предсмертных как можно скорее
Уйду в твои волосы — грозди сирени.
Лу, смерть на миру безусловно красна,
Но, кроме нее, есть любовь и весна.

7.

Твой голос цветет туберозой. Солдаты
Им делятся, словно пайком.
И все ж не цветами виски твои сжаты —
Надежды терновым венком.

Ведь только тебе эти метаморфозы
Доступны: с тобою чиста
Война. И стекают кровавые слезы
В Чудесную Розу Христа.

Скажи, чтобы время помчалось быстрее,
Скажи — Он послушает, Лу —
И сразу утихнет огонь батареи...

Пиши. Не прощаюсь. Люблю!

КЛОТИЛЬДА

Анемоны, водосборы,
Как печаль, цветут в саду.
Посреди стеблей их черных
Я тебя зачем-то жду.

Ночью в сад приходят тени,
Чтоб погнаться между рук.
Между встречей и презреньем
Нас опять застанут, друг.

Наши тени разбегутся.
Встанет солнце — не ищи.
И наяды посмеются,
Как не мечутся — метутся
Две прекрасные души.

ЦЫГАНКА

Что жить нам, как бродить в лесу,
Давно цыганка предсказала,
Но уводила прочь с базара
Мечта на голубом глазу.

И вот медвежий танец свой
Любовь танцует по тропинкам,

Седает птица Метерлинка,
Уходят нищие в запой.

Однажды донесет молва:
«Вы — дураки, ваш час назначен» —
И мы опять переиначим
С тобою вещие слова.

Луи Арагон

РУКИ ЭЛЬЗЫ

Для беспокойства, о, дай твои руки! —
Из талой воды, одинокой мечты.
Чтоб я ими спасся — в ладошку беру их
(О, дай твои руки!) — чтоб из пустоты

Меня вырывали. Неловкий охотник,
Ловлю их в силки, как нетронутый снег,
Движений невольник и робкий любовник.
Как тают они, разбегаясь по мне!

Узнаешь ли ты, что такое мне руки
Твои, как пронзают они в тишине
Насквозь, наголо? Не придуманы звуки
Для вдоха, для дрожи любви по спине.

Язык их немой — это первый любовный
Животный, могущественный праязык,
Безглазый (о, дай твои руки!), безротый,
В молчанье почти что сходящий на крик.

Узнаешь ли ты то, что думают пальцы
Мои, когда ловят тебя на бегу?
Молчанье их — молния, то, что назваться
Не может, и то, что я знать не могу.

О, дай твои руки. Пускай мое сердце
Зароется в них и, красно на миру,
Уснет, и душа приютится за дверцей
Ладошек. О, дай на секунду мне ру...

* * *

Где-то в аду или, может, в раю
Жду твоих глаз: где-то здесь, на краю
Были и сна. Я давно не смотрю
Чисел — любовь, как известно,
Вечно похожа. И я говорю:
Мы засыпаем вместе.

Птицы у Бога не сеют, не жнут.
Руки твои — это верный приют
Сердца. С твоим они рядом поют —
Слышишь — их общую песню?
Короток век на земле, но мы тут,
Мы засыпаем вместе.

Все перед сном повторится — любовь,
Руки, сплетенье объятий, покров
Ночи, как полог, — от чувств и от слов
Я весь дрожу. Моя верность
Ждет тебя в каждом возможном из снов.
Мы засыпаем вместе.

2. ИЗ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ

Уильям Йейтс

ЛЕДА И ЛЕБЕДЬ

Удар! И перепончатые лапы
Уже на бедрах, и ласкает плоть
Противный клюв. Девчонка! Что могла ты?
Тебе ли прихоть бога побороть?

Испуганными пальцами тебе ли
Отталкивать его от нежных ног?
И бьется грудь о грудь во взвеси белой,
Как бьется сердце. И клокочет бог.

Жаль, не сказал он, что приносит Слава,
Что десять лет войны и смерть Ахилла
Берут начало здесь, среди осок;

Что так он наградит тебя за слабость,
Когда обмякнет, потеряет силы
И безразлично прыгнет на песок.

Роберт Фрост

ПЕСНЯ ВО ВРЕМЯ БУРИ

Рваные тучи низко висят.
Тысячей брызг слюды
Дождь по дороге бьет наугад,
Мажет лошажки следы.

Рядом цветы в ожиданье шмелей
Попусту тонут в воде.
Спустись по холму и будь моей
Любовью в этом дожде.

Птицы не могут связать двух слов —
Древесная гложет тоска.
Эльфы не подают голосов
Из лесов, где жили века.
Их песни рассыпались, как под дождем
Слабый бутон, — так что ж,
И мы с тобою по лесу пройдем,
Где спусками с веток — дождь.

Ветер подхватит и переврет
Любые твои слова.
Платье тебе соберет с болот,
Где камыш и трава.
На запад пойдем — того и гляди,
Ноги промочим — пусть.
Брошами липнет к твоей груди
Золотарника куст.

А на востоке, где буря, там —
Слышишь? — идет по следам
Древнее море к своим берегам
По ракушкам и черепкам.
Так наша любовь восстает из дней
Обид и разлада. Где
Гремит ураган, пройди — будь моей
Любовью в этом дожде.

**Переводы
Михаила СЕРЕБРИНСКОГО**

Михаил Серебринский — поэт, переводчик, родился в 2000 году в Санкт-Петербурге. Стихотворения и стихотворные переводы публиковались в сборниках и в литературных журналах «Литературные знакомства», «Перископ», «Веретено», «Окно», «Южный маяк», «Балтика». Лауреат первой степени всероссийской премии «Молодой Петербург» в номинации «Поэзия» за 2021 год. Студент филологического факультета ЛГУ имени А. С. Пушкина.

Антон ЗАНЬКОВСКИЙ

ВРЕМЯ ТВЕРДЫХ МЕДУЗ: Метамодерн, который мы заслужили

Нужно углубление в само внешнее, по правилу Леонардо: вглядываться в пыльные или покрытые плесенью стены, в облака, в ночные контуры древесных ветвей, в тени, в изгибы и неровности поверхности любой вещи, везде — миры и миры.

Густав Шпет

А. Памяти постмодерна

Аристотелевский трактат «Метафизика» в корпусе текстов Стагирита, подготовленном Андроником Родосским, шел вслед за «Физикой» — именно поэтому и был так назван: τὰ μετὰ τὰ φυσικά — «то, что после физики». Приставка «мета» полностью совпадает по значению с латинской приставкой «пост» — в контексте этого факта концептуализация новой эстетической и мировоззренческой парадигмы, называемой «метамодерн», приобретает ироничный оттенок. Несмотря на странное тождество названий, метамодерн и постмодерн являются диалектическими антитезами.

Теория метамодерна во многом совпадает с философскими тенденциями последнего времени: не сумев справиться с хаосом радикального релятивизма, интеллектуалы обратились к поискам твердости; причем данная направленность объединяет приверженцев новой этики, наукообразных реалистов и всевозможных фундаменталистов. Что такое метамодерн, если не попытка мыслить мир целым, отраженным в одном сознании — с одним типом рациональности, с одной этикой, — словно зеркало не было разбито на сотни кусков, когда мы вышли из христианской и гуманистической парадигмы?

Принято считать, что релятивизм деморализует культуру, тогда как он может воплощать высший синтез традиций. Постмодерн — это не только грубая коллажность стилизаторов, но еще игра в бисер. High postmodern можно считать своеобразной формой консерватизма: авторы постмодернистских произведений складывали мозаику из различных классических языков, гармонично соединяя «И цзин» с произведениями Баха. Именно так рассматривает культуру постмодерна режиссер Рустам Хамдамов: «Слово „постмодерн“, которое сейчас стало ходовым, на самом деле существует уже давно. Это качество, прежде всего, большой внутренней культуры человека. Если ты за собой не несешь этот шлейф, то немножко выглядишь смешным, потому что изобретаешь то, что уже сделано <...> Постмодерн включает в себя, прежде всего, огромное количество разной культуры. Когда снимал фильм Параджанов или, предположим,

Антон Владиславович Заньковский родился в 1988 году. Печатался в журналах «Логос», «Нева», «Зеркало», «Опустошитель», «Acta eruditorum», «Апокриф», автор книги «Аристотель и портовые шлюхи». В настоящее время живет в Грузии.

Пазолини, они же не только делали абстракцию, но это была абстракция с соотношениями разных стран. Сказка, которая снята в Грузии Параджановым, это и Персия, и Грузия, и Пазолини, и примитивное искусство»¹.

Человек постмодерна блуждал по неисчислимым сферам. Что ему ближе: Китай на пороге Нового времени, период Эдо в Японии, культура эллинизма, княжество Московское? Должен ли такой беспочвенный номад обязательно скатиться в иронический имморализм? Не скатывались Герман Гессе, Итало Кальвино, Борхес, Хамдамов и прочие, для кого многостилие и многоязычие были аспектами духовного универсализма и перенниализма².

Роман «Улисс» Джеймса Джойса задал гносеологическую полифонию постмодерна. В этом произведении реальность преломляется во множестве линз и фасеток: все техники и способы описания даны в качестве инструментов, исполняющих многомерную симфонию романа. Несмотря на полифонию, в «Улиссе» встречается чувствительность к пошлости, своеобычная скрытая ирония, то есть вполне отчетливая этическая тенденция; если Стивен Дедал, отрицая христианскую почву, осознает драматичность своего положения, то Бык Маллиган лишь цинично богохульствует и сыплет цитатами, транслируя набор модных культурных стереотипов (эллинизм, залихватское нищестанство). В Быке Маллигане Джойс предрек низкую форму постмодерна, где пародия занимает место духовного универсализма: магистры, сохранив эрудицию, превратились в шарлатанов и фокусников-манипуляторов; они более не играют в бисер, они разбрасывают его перед теми, кого считают свиньями, но все равно хотят соблазнить.

В чем принципиальное отличие культуры high postmodern от интегрального традиционализма, который тоже притязает на высший синтез мировых культур? Постмодерн отказывается от радикальной элитарности: Борхес говорит для всех, даже если не все способны его понять, он заглядывает в шкапулку Вавилонской библиотеки, что-то выбирает, чтобы затем выложить артефакты на всеобщее обозрение. Гессе в «Степном волке» предлагает каждому осознать себя клубком из множества «я», даже обывателя и мещанина Гарри Галлер не лишает потенциальной возможности выйти за пределы целостности в зону творческого хаоса. Интегральный традиционалист мыслит несколько иначе, он вещает для «человека особого типа» (излюбленное понятие Юлиуса Эволы), остальных рассматривая в качестве биомассы. Именно поэтому традиционализм в стиле Генона склонен оправдывать культурно-политическую изоляцию: только избранные могут питаться сливками мировых культур, а прочие должны укорениться в почве, ибо не могут осилить многоязычие — оно губительно для черни, которая, заражаясь релятивизмом, вырождается. Такова сектантская логика интегрального традиционализма³. Паломник в страну Востока свободен от подобных

¹ Хамдамов Р. (2013). Мы живем в поганое время [Беседовал Сергей Лейбград] // Сайт zasekin.ru. (<https://zasekin.ru/kultura/2013/03/02/rustam-xamdakov/>). Просмотрено: 24.03.2021.

² *Philosophia perennis* (вечная философия) — термин изобрел итальянский епископ Августин Стехус, чтобы обозначить основные истины, которые существуют во всех народах во все времена и составляют вместе единую духовную науку.

³ Традиционализм в стиле Титуса Буркхардта, Ананды Кумарасвами, Фритьофа Шуона, Жана Луи Мишона и т. д. — одно из проявлений глобальной культурной интеграции. И здесь, как и в других случаях постмодернистской парадигмы, не обошлось без уродств и гипертрофии. Традиционализм иногда скатывался в правый экстремизм и в порочную мизантропию — в духе антисемита Эволы и пошленького радикала Франко Фреды. Через несколько десятилетий ростки праворадикальных постмодернистских ересей взойдут на плодородной русской почве, причем здесь они обретут кровожадную гностико-енохианскую модальность, совершенно чуждую классикам интегрального традиционализма, которые утверждали, что высшая божественная истина едина и универсальна, что различные культуры и религии — всего лишь разные языки, выражающие одну Истину.

настроений. Он сам, как, например, Гессе, работал продавцом в книжной лавке. Станет ли он после этого презирать «лавочников»? Кроме того, человек высокого постмодерна благодарен своей эпохе за то, что именно она — эта фельетонная, грубоватая эпоха — подарила ему «И цзин», «Бхагаватгиту» и «Пополь-Вух». Родись он в другое время, смог бы он не только прочесть эти произведения, но и считать их по-настоящему родными? Или для этого понадобилось разбить христианский фундамент, усомниться в незыблемости единственно верного взгляда на вещи?

Если модерн был подростковым бунтом против старого мира, стремился создавать новые миры и новые гносеологические линзы, то high postmodern был формой сыновней почтительности, то есть соответствовал конфуцианскому понятию *сяо*. Модерн смотрел в будущее, постмодерн оглядывался назад, а метамодерн созерцает настоящее, субстанцию и данность предметов, поэтому ему близки всевозможные интеллектуальные проекты спекулятивного реализма, новый материализм, объектно ориентированная онтология и т. д. В самом сердце высокого постмодерна — в романе Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник» — содержится выход в новую познавательную парадигму метамодерна. Один из персонажей романа придумал особую практику не-чтения книг: он долго тренировался, чтобы смотреть на текст, не прочитывая его; созерцать сами линии буквенных знаков, их геометрию, не «подрывая» эту геометрию смыслом, — такая практика соответствует проекту объектно ориентированной онтологии Грэма Хармана.

High postmodern осознавал относительность любых языков, описывающих так называемую «реальность», осознавал условность истин и обусловленность мировоззрений, но это не порождало в нем радикального нигилизма. Напротив, каждая книга, каждая знаковая система, каждый обычай, даже непонятный и пугающий, имел свое законное место на полке, ведь симфония должна быть полной; даже мрачные ритмы нельзя уничтожать, если они не угрожают Целому. Паломники в страну Востока, сохраняя верность Моцарту, Баху и «Листьям травы», не ставят их выше Кабира, Саади, Чжуан-цзы, Абхинавагупты и Гоголя. Если культурных границ больше нет, государственные тоже не нужны. Политическим идеалом высокого постмодерна могло стать глобальное государство-роман, сберегшее многочисленные типы региональной самобытности. Планетарная, предельно децентрализованная, полифоническая империя-роман, охраняющая разнообразные и уникальные формы культурной жизни, — таков несостоявшийся идеал высокого постмодерна.

К несчастью, далеко не все уши способны воспринимать полифонию — многих больше интересует дезинфекция. С одной стороны, современные поборники сциентизма не могут стерпеть, что в комнате «объективной истины» одновременно находятся сочинения Дарвина и «сборник древнееврейских мифов», хотя Шредингер не расставался с Упанишадами, а Дэвид Бом и вовсе наслаждался обществом Джидду Кришнамурти, зато популяризатор науки Панчин считает любую религиозность следствием токсоплазмоза. Квентин Мейясу и Рэй Брасье требуют, чтобы данные радиоуглеродного

Русский традиционализм перенял у большевиков (недаром его основатели сначала создали постмодернистскую версию национал-большевизма, позаимствовав название у Эрнста Никиша) обычай отмежевываться от различных уклонов ради выявления собственного уникального «логоса». Если классики интегрального традиционализма раскрывали объединяющие принципы, то русские неогностики, прикидывающиеся представителями Вечной Философии, всегда выискивали принципиальные отличия традиций, онтологическую враждебность цивилизаций. Достаточно вспомнить, что Мишон работал в ООН, а Шуон, будучи мусульманином, жил в США и периодически плясал в обнаженном виде, участвуя в индейских обрядах, тогда как русские традиционалисты, как некогда русские марксисты, принялись обслуживать самые вульгарные формы тирании, выступая за тотальную, непримиримую изоляцию.

анализа были признаны безусловной истиной, а не просто фактами языка современной науки, которые обладают смыслом лишь в контексте определенной познавательной парадигмы⁴. С другой стороны, радикальные формы ислама далеки от релятивизма и веротерпимости суфиев. Авторитарный сциентизм, «новая этика» и радикальный ислам — одного поля ягоды, они представляют собой разные грани новой твердости, нового фундаментализма, новой объективности.

Постмодерн учил нас, что в отдельном речевом жесте нет полноты истины: язык всегда утопает в ситуативных контекстах и обусловлен когнитивными предпосылками, а последние, в свою очередь, обусловлены языком. Зависимость восприятия от концептуальных схем, зависимость концептуальных схем от априорных форм чувственности, полиморфность языка — такова послекантовская проблематика философских систем XX века. Если субъект конструируется реальностью, а реальность конструируется субъектом, надо исследовать промежуточную область — корреляцию субъекта и объекта. Еще никогда Запад не был так похож на Восток, ведь наиболее радикальный вариант корреляционизма во II—III веках н. э. создал философ Нагарджуна, основатель буддийской школы Мадхьямаки, создатель знаменитой концепции пустоты (шуньята). Согласно Нагарджуне, все явления мира взаимозависимы, поэтому не обладают самобытием (свабхава); скажем, сознание нельзя помыслить без какого-либо содержания, но и объекты мира существуют лишь в качестве содержания сознания. Если субъекта нет без объектов, а объектов без субъекта, сущность субъекта и объектов — пустота. Далее следует практика: медитация на пустоте, в ходе которой раскрывается положительное содержание запредельного опыта, лежащего по ту сторону субъект-объектной дихотомии. Практическая реализация пустотности ограниченного «я» и мира подразумевает не только смерть «внутреннего» и «внешнего», но и переход в иное состояние. Это парадоксальное состояние нельзя назвать небытием, ведь только оно и обладает истинной независимостью и постоянством (самобытием Будды, пустым от всего, кроме самого себя, согласно трактовке тибетской школы Жентонг), которых в субъекте и объекте нет. Ничто — отнюдь не цель буддийской практики, но сущность обыденного, непросветленного сознания.

Случайно подобравшись так близко к древней эзотерической истине, континентальная западная философия не озадачилась практической стороной вопроса. Обнаруженная «пустота» постепенно выродилась в нигилизм знака: если на самом деле ничего нет, если субъект и окружающие вещи зависят от модификаций всемогущего языка, то нет и реальных ценностей — как материальных, так и духовных. Каждый сам волен что-то признавать ценностью, поэтому даже стекло порой стоит дороже драгоценных камней, если кто-то удосужился это стекло правильно позиционировать. Представители high postmodern надеялись, что клубки, состоящие из множественных «я», выберут «И цзин», Баха и Шредингера, но клубки предпочли салат из народного христианства, НЛО и теории плоской Земли. Созерцая различные формы гибридного уродства и всевозможные мутации духа, новое поколение мыслителей пришло к необходимости твердого фундамента, который может быть научным мировоззрением, классической теологией или разновидностью строгой этической парадигмы, основанной на защите прав меньшинств.

В. Выдуманная разность. Кто боится мягкого Сида?

Новая твердость местами вырождается в этику *invented difference* (придуманной разности): дифференциация по неким отличительным признакам становится важнее

⁴ О том, что сами ученые часто не являются носителями сциентистских взглядов, см.: Шейпин С. Как быть антинаучными // Логос. Т. 30. 2020. № 1. С. 159—191.

сущности социальных противоречий, если таковые вообще имеются. Ведь наиболее фанатичные носители той или иной идеологии на поверку оказываются не очень-то сведущими в вопросах своей веры: сциентисты набивают кулаки на дешевой научно-популярной литературе, а религиозные фанатики не всегда читают на языке оригинала те книги, за которые они готовы убивать и умирать.

К движению *invented difference* следует причислить неутомимых искателей сексизма и культурной апроприации, радикальных феминисток, верующих с оскорбленными чувствами, бескомпромиссных борцов за права мужчин, фанатичных приверженцев бодипозитива — все они стремятся унифицировать знаковую реальность, лишить язык неопределенности, текучести, релятивности, они встраивают отдельные высказывания в новые контексты, наделенные авторитарными дефинициями. Кроме того, представители этих движений почему-то монополизируют право трактовать символы и культурные коды: как правильно изображать Христа, как следует оперировать женственностью, какая реклама является этичной и т. п. В итоге мы оказываемся в невротической среде, в обществе слишком подозрительных людей, простых параноиков и культурных маргиналов, которые Данте Алигьери и Уильяма Шекспира считают врагами, больше доверяя мнению рассудительных блогеров. Представители *invented difference*, не подозревая об этом, мыслят в стиле немецкого геополитика Карла Шмитта, который настаивал, что дифференциация на друзей и врагов является одной из первичных функций рассудка. Карл Шмитт говорил о противостоянии народов, а современные идеологи ставят на место геополитики новую этику, выискивая врага не в «цивилизации моря», но в абстрактном «патриархате», который порой может проявляться просто в определенном стиле одежды, в привычке носить пиджаки и галстуки. Кажется, что некоторые психосоматические типажи в мире приличных людей не имеют права на существование: остается подвергнуть любителей бокса насильственной гормональной терапии. Сходным образом ведет себя противоположный лагерь, когда агрессивно не одобряет мужчин, которые делают маникюр, уделяют много внимания одежде и красят волосы. В обоих случаях враждебные группировки *invented difference* разрабатывают устойчивый, твердый образ поведения и внешности.

Мы живем в мире, где каждый жест является знаком, но постмодернистское мышление, основанное на релятивизме, не позволяло закреплять за отдельным знаком единственное значение. К примеру, после Сида Вишеса пространство значений нацистской свастики значительно расширилось, ведь Сид Вишес, когда носил футболку со свастикой, не пропагандировал нацизм, он самостоятельно наполнял знак новым содержанием. Панк-рок ломал устойчивые знаковые системы, переворачивал все с ног на голову: фашизм, наркомания, оккультизм, насилие, сатанизм и темная сторона сексуальности были материалом для авангардных жестов. Любители и создатели такой музыки не так уж часто шли убивать, насиловать или вскрывать себе вены, ведь негативные знаки возвышались до неких абстрактных, игровых форм. С тех пор многое изменилось: больше нельзя безнаказанно использовать запрещенные знаки, играть с опасными темами. Фон Триер, назвав себя нацистом, действовал в старой парадигме панка и постмодерна. Подобные жесты, конечно же, всегда могли кого-то возмутить, но теперь, когда языковая реальность, зацементированная новой этикой, стала более твердой, они чреваты слишком уж обстоятельными неприятностями. Потому что машина этической чувствительности работает с прилежностью автомата, руководствуясь схемой «стимул—реакция». В этом есть что-то бесчеловечное, ведь только человеческий язык обладает метафоричностью, которая позволяет выносить слово «нацизм» за пределы определенного исторического контекста⁵.

⁵ Текст был написан в 2021 году... С тех пор мы познали новые грани постмодернистского хаоса.

Неприятности ожидают не только свободных индивидуумов, осмелившихся некорректно пошутить. К сожалению, весь западный проект мультикультурализма находится в кризисе: современные исламские радикалы не собираются осваивать релятивизм и веротерпимость суфиев, жестко реагируя на картинки, а местные ксенофобы даже не думают признавать культурное равенство мигрантов. Наиболее толерантные, левые, «происламские» силы на Западе симпатизируют исключительно классовой принадлежности мигрантов, то есть видят в них угнетенных пролетариев и люмпенов, которые — к несчастью — имеют еще и какие-то религиозные взгляды, что только мешает им превратиться в наднациональную революционную силу. Подобное отношение является оскорбительным и инструментальным, оно вовсе не способствует созданию культурной мозаики. Правозащитники остаются внутри колониального дискурса, если смотрят на мигрантов сверху вниз, отрицая значимость их религиозной и культурной самоидентификации. Настоящая мозаичная интеграция могла бы произойти на почве общего научного прошлого, ведь исламская цивилизация создала университеты задолго до их появления на Западе. Покровительница искусств Фатима аль-Фихри в 859 году основала университет, в котором изучал математику папа римский Сильвестр II. Разве религией университета не является универсализм? Именно Номо Academicus всегда был адептом Вавилонской библиотеки; ученый, верящий, что его неизбежная элитарность в итоге послужит делу гуманизации масс, — он мыслит себя Мастером игры (*Magister Ludi*), который иногда спускается со своей башни, чтобы сделать мир немножко лучше, рассказав о всеобщем духовном единстве.

Но подобный идеалистический проект единения на почве университета остается в контексте high postmodern, ведь мы имеем дело с идеализацией прошлого, с мультикультурным консерватизмом. Декларируя свое отличие от постмодерна, новая философия предлагает собственную программу, основанную на познавательной доминанте Внешнего и нечеловеческого. Можно ли обрести некую форму (мета)человечности, порвав с антропоцентризмом?

С. Спекулятивный реализм Осипа Мандельштама

Long live the weeds and the wilderness yet.

Gerard Manley Hopkins

В статье «Слово и культура» Осип Мандельштам предвосхитил принципы нового {не}человеческого гуманизма: «Трава на петербургских улицах — первые побеги девственного леса, который покроеет место современных городов. Эта яркая, нежная зелень, свежестью своей удивительная, принадлежит новой, одухотворенной природе. Воистину Петербург самый передовой город мира. Не метрополитеном, не небоскребом измеряется бег современности — скорость, а веселой травкой, которая пробивается из-под городских камней. Наша кровь, наша музыка, наша государственность — все это найдет свое продолжение в нежном бытии новой природы, природы-Психеи. В этом царстве духа без человека каждое дерево будет дриадой и каждое явление будет говорить о своей метаморфозе»⁶.

Слова Мандельштама не поддаются однозначной интерпретации: Юрий Иваск считал их призывом к братству, а Надежда Мандельштам находила в них эсхатологические мотивы: «...эсхатологические слова о земле без людей. Случилось это в Петербурге 1922 года — в статье „Слово и культура“. Мандельштам называет Петербург самым передовым городом, потому что в нем в первом появились симптомы конца <...> Как мог наивнейший Иваск принять эти слова за утопию о будущем братстве? Чье брат-

⁶ Мандельштам О. Слово и культура. М.: Советский писатель, 1987. С. 39.

ство — камней, деревьев, слоев земли? Ведь в этой статье — тут же — говорится о земле без людей. Мандельштам увидел будущее как царство духа без людей. „Слово и культура“ в значительной степени продолжение статьи о Скрябине»⁷. Так и хочется сказать: да, Надежда Яковлевна, речь идет о братстве камней, деревьев и слоев земли, мы готовы к этому, слова вашего мужа стали настолько актуальными, что вся современная философия кажется затянувшимся комментарием к ним. Но дело вовсе не в приближающемся апокалипсисе, а в новой культурной парадигме. Мандельштам предвосхитил проблематику спекулятивного реализма. Поэт предстает истинным философом, ведь его картина зарастающего города — не оптимистичный манифест и не предостережение, а феноменологическое созерцание. Мандельштам поспешил, его пророческие образы по-настоящему актуальны только теперь.

Из-за пандемии стало немножко меньше людей, немножко меньше лодок — и в каналах Венеции появились рыба, медузы, даже лебеди прилетели. Почему {не}человеческое непременно должно быть мрачным, опустошенным, эсхатологическим? Философы Тиригг, Вудард, Такер, Негарестани и впрямь создают ужасную картину: человечество, чье существование обусловлено слизью и пылью, однажды вымрет, планета опустеет, Солнце остынет, поэтому будем смотреть фильмы ужасов (особенно их любит Рэй Брассе), готовясь к худшему, ведь Внешнее огромно и враждебно. Совсем по-другому относится к Внешнему философ Джейн Бенетт: она предлагает наслаждаться материальными эффектами объектов, замечать радость их присутствия в мире. Процессы, звуки, цвета, многообразные текстуры и фактуры окружающего мира раскрываются в полноте волшебства, если не воспринимать все это исключительно в контексте утилитарной пользы для человека⁸. Речь идет не о том, чтобы перестать господствовать в мире — это невозможно. Человек обречен на господство, но господин, если вспомнить Гегеля, не доказывает собственное превосходство — конкурентов у него нет. Человек, осознав свое состоявшееся господство, становится незаметным хозяином, он позволяет миру быть, а сам наслаждается девственностью вещей и природы. Речь идет о новом типе роскоши: медузы в чистой воде венецианских каналов — большая роскошь, ради которой придется снизить мощность производства. Наслаждение девственной природой и аутентичными артефактами традиционных культур — это роскошь, которую человечество могло бы себе позволить, если бы умело по-настоящему наслаждаться Внешним, а не только соревноваться в количестве нулей.

D. Дичайший (мета)гуманизм

If you are true aristocrat, you do not belong
to any nation. You admire the entire world
culture. You shall never be a real bourgeois
and you possess the capacity to love all.

Rustam Khamdamov

Поверхностные слои «современности» все еще демонстрируют самоутверждение человека в окружающей среде. Мы видим это повсюду, поэтому нам кажется, что такая и есть современность, но это всего лишь инертное движение прошлых веков, из которого мы еще осознанно не вышли. Мы не создали новый мир на новых основаниях, а лишь интенсифицировали все тенденции прошлого: тенденцию захвата, тенденцию ускорения, тенденцию коммуникации, тенденцию распространения информации. Дей-

⁷ Мандельштам Н. Воспоминания. Вторая книга. Paris: Ymca-Press, 1983. С.131.

⁸ См.: Беннетт Дж. Пульсирующая материя: Политическая экология вещей. Пермь: Hyle Press, 2018.

ствия наши продолжают быть экспансивными, а потому они ретроградны. Мы продолжаем носиться с тем, что уже до конца сбылось, но просто не успело еще распространиться повсюду.

Эпоха классического субъекта завершилась в XX веке. Историческому человеку фаустовского сознания, осуществлявшему захват и переустройство ландшафтов, может духовно наследовать новый человек аскезиса. Слово «аскетика» восходит к греческому глаголу ἀσκέω (аскео), который в древности имел несколько значений: искусная и старательная обработка грубого материала, *украшение и обустройство жилища*, упражнение, развивающее телесную и душевную мощь. Речь идет о таком субъекте, который уменьшает свое присутствие в мире, о незаметном садовнике, живущем для окружающего ландшафта, а не ради интенсификации собственного присутствия в нем. Отпавший от переусложненной полифонической культуры, измельчавший в социальных катастрофах, он способен возвыситься в своей незаметности, став Кнехтом (слугой). Но если Йозеф Кнехт из «Игры в бисер» служил внутреннему, возвышенной духовной игре, то новый Кнехт служит внешнему, нечеловеческой среде, где обнаруживает полноценные агентности. У него есть преимущество: новый человек аскезиса, стусеванный среди растений, свободен от необходимости бороться с природой, которую он поработил уже чрезмерно, теперь ее дикие эффекты не представляют опасности. Допуская зарастание, человек аскезиса ненавязчиво демонстрирует свое давно сбывшееся превосходство, которое теперь его стесняет.

Можно считать, что история человечества закончилась, уступив место истории высвобожденных ландшафтов. Об этом писал Эрнст Юнгер в книге «У стены времени», которую, кстати говоря, ценил Герман Гессе⁹: «Мы не знаем, что происходит в облаке диатомовых водорослей, в коралловом рифе, в девственном лесу. Мнение, будто наше историческое существование важнее подобных видов деятельности, всего лишь человеческий предрассудок»¹⁰. В 1959 году Юнгер предвосхитил спекулятивный поворот в философии. Исследователь творчества Эрнста Юнгера Александр Михайловский раскрывает очень важные нюансы юнгеровского поворота к нечеловеческому: «...автор сам дает основание понимать его метаисторический поворот в смысле «нового гуманизма», позволяя расслышать в слове старое значение корня: homo, humanus от humus (лат. „земля“»¹¹.

Пророк Мухаммед советовал не пользоваться треснутой посудой. В этой рекомендации сказывается молодость зарождавшейся арабской культуры: необузданные племена должны были не только усвоить простые правила гигиены, но еще и причаститься к идеям цельности, мерности, границ. Невозможно представить, чтобы молодая культура поощряла трещину, как это было в Японии XV века, когда в чашах яноми стали нарочно подчеркивать раскол золотой, серебряной или платиновой пломбой *кинцуги*. В свою очередь, западная культура должна была достичь определенного этапа зрелости, чтобы мы начали покрывать стены жилищ мхами и папоротниками, чтобы мы последовали за японцами в любви к несовершенству и стилизованной ветхости.

Двигаясь в сторону все большей культурной рафинированности, человек начинает заигрывать с Диким (Wildness), используя при этом крайне сложные эстетические коды. Времена, когда лес был главным врагом, когда приходилось отвоевывать у него пространство для хозяйства и жизни, остались в прошлом. Доказывая свою изощрен-

⁹ См.: Гессе Г. Магия книги. СПб.: Лимбус Пресс, 2010. С. 267–271.

¹⁰ Михайловский А. В. Миф, история, техника: размышления Эрнста Юнгера у «Стены времени» // История философии. 2010. № 15. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mif-istoriya-tehnika-razmyshleniya-ernsta-yungera-u-steny-vremeni> (дата обращения: 24.03.2021).

¹¹ Там же.

ность, мы начинаем любить необработанное, простое либо превращаем свои сады в дикие дебри, а точнее — создаем эффект дикости. Так современный голландский дизайнер Пит Аудолф заменяет альпийские горки зарослями злаков и полевых цветов, использует он и самосейки, даже чертополох, но избегает экзотических неместных растений. Внешняя запущенность порождает романтическое чувство, парадоксальным образом уводя нас через обыденность в нездешнее. Подобная живописность заявляла о себе уже в английских садах, имитирующих природу: планировка с четкими контурами, симметрией и прямою аллей здесь размывается выверенной естественностью.

Удивляющая безыскусность с давних пор оборачивалась изощренностью. Так обычный гравий, мох и необработанные камни создали мистицизм японских садов, наполненных метафизической символикой и визуальными эффектами; с какой бы стороны ни смотрел посетитель на группу камней сада Реандзи, он увидит лишь 14 камней, один всегда будет загорожен, если, конечно, созерцатель, не достиг просветления. Расчесанный кругами гравий — это океан сансары, океан смерти, в котором располагаются мшистые островки спасения с минералами-бодхисатвами. Такое пространство создано для духовных занятий и отдохновения после битв.

Келейное изящество быта дзенских монахов переняло аристократическое сословие: в середине XV века появился «кабинетный стиль» (сеин-дзукури), отличающийся минимализмом. Именно этот стиль стал ассоциироваться с традиционным японским домом и атмосферой специфического японского эстетизма, подразумевающего сакрализацию повседневности.

Традиционная культура Японии в целом (сады камней, керамика, чайные дома, поэзия хайку, искусство икебаны, бонсай и т. д.) держится на сложных эстетических принципах, среди которых наиболее важные — ваби и саби. Если попытаться перевести эти слова, предельно упростив их значение, то получится «бедность» и «ржавчина». Можно попробовать расширить поле интерпретации, прибавив эпитеты, тогда выйдет «элегантная нищета» и «красота увядания». Ваби соответствует простоте, природному несовершенству, асимметрии, ассоциируется с печалью бедности, ведь проистекает из аскетической культуры дзенских монастырей. Саби (от сабирэру — приходить в упадок) — еще более суровый принцип; здесь мы сталкиваемся с печалью времени, патиной, жухлостью, даже русское слово «обшарпанность» более или менее соответствует саби.

Японский стиль в интерьере уже много десятилетий остается одним из самых востребованных. И даже наиболее радикальные его особенности становятся для нас привычными элементами современного дизайна: старые доски, неровная глиняная штукатурка, необработанные камни и т. п. Бельгийский дизайнер интерьеров Аксель Вервордт отвечает на вопрос, почему так происходит: «XX век был синонимом производства, потребления и утилизации, но сейчас у нас заканчиваются места для сброса отходов и леса для набегов. В XXI веке восстановление сил играет важную роль. Таким образом, старое снова становится современным. Мы ценим старые стены, мебель, которая не была восстановлена, все, что было преобразовано величайшим скульптором — временем. Время дает материалам вторую кожу»¹².

Крестьянин Хидэеси, ставши сёгуном, не искоренил свою неотесанность. Его неприятие эстетики «ваби», которой следовал великий мастер чайной церемонии Рикю, породило настоящую трагедию красоты. Банальность любит сильные эффекты прекрасного, потому самурай одинокому цветку в бамбуковой вазе предпочитал пышность азалий, он любил хана — цветущую роскошь, а не пожухлую бесхитростность и над-

¹² Бельгийский дизайн. Аксель Вервордт. URL: <https://wabisabi.by/belgijskij-dizajn-aksel-vervordt/>

треснутость прохладного и затененного стиля *ваби*. Военный не мог понять стилизованную простоту, которая напоминала ему о действительной его крестьянской простоте, он все еще стремился вверх — к пышной знатности, кричащему богатству, тогда как истинное благородство бесстрашно использует обедненное, не боясь потонуть в нем: для непростого человека простота экзотична. В итоге самурай заставил Рикю покончить жизнь самоубийством.

Традиционные японские мотивы лишь подтверждают и дополняют современную эстетическую направленность к опрошению и минимализму. В частности, владельцы архитектурной студии «Studio KO» Карл Фурнье и Оливье Марти работают с марокканскими традициями архитектуры, но интуитивно вкладывают в свою работу принцип ваби-саби: чем беднее и грубее выглядит проект, тем лучше. Поэтому дождевые желоба в домах сделаны из жестяных банок, а дверные петли вырезаны из старых шин; свои проекты Карл Фурнье и Оливье Марти всегда адаптируют к местности, сращивая здания со средой. Глиняные фасады растворяются в окружающей пустыне.

Искусственность и природность: диалектическое снятие этих антитез происходит, когда обе тенденции достигают предела. Тогда искусственность берет на вооружение Дикое, а простота становится по-человечески сложной. Вероятно, мы сталкиваемся здесь с эстетическими антиномиями, о которых знает экологический художник Нильс-Удо. Создавая ландшафтные объекты, он признает, что его работы лишают среду девственности, привносят элемент человеческого, которое *по своей природе* так устроено, что выламывается из среды. К этому следует добавить, что сам поворот к природному обнаруживает нечто в высшем смысле искусственное, ведь культурная коэволюция¹³ — это что-то беспрецедентно сложное для нас, что-то противоречащее агрессивной исторической интенции человечества.

Чужеродного больше не существует, есть разные сборки культурных интенсивностей, поэтому стиль ваби-саби давно перестал быть сугубо японским. Как мы выяснили, он оказался востребованным даже в контексте марокканской традиции. Карл Фурнье, Оливье Марти и Аксель Вервордт создают многополярные локусы, надевая их множеством национальных идентичностей, которые не растворяются, не исчезают в некоей постколониальной эклектике, но наоборот — становятся ярче. Ваби-саби Акселя Вервордта в большей степени ваби-саби, чем классический ваби-саби сеин-дзукури, но при этом интерьеры бельгийского дизайнера остаются подчеркнутыми европейскими. Каким-то чудом возникает эффект органичной мозаики, внутри которой картины Баския выглядят по-дзенски. Подобного рода философия пространства все еще несет на себе следы *high postmodern*, ведь претендует на высокий синтез традиций, но здесь прослеживается и мощная воля к природной данности, к нечеловеческому и Дикому.

Современный поворот к Дикому не имеет ничего общего с хищным витализмом докультурного состояния; дикое становится эстетическим эффектом и метафорой, которую мы только теперь можем себе позволить. После тысячелетий борьбы с Внешним, природным и животным, после агрессивного утверждения субъективного, искусственного и человеческого мы возвращаемся к источнику жизни, с которым жестоко враждовали. Поворот к Дикому обладает наиболее оправданной формой твердости, ведь не связан с той или иной разновидностью сектантской солидарности. Нельзя оскорбить природу словом, зато этичное отношение к ней — объективная необходимость для приверженцев любого мировоззрения.

¹³ Здесь этот термин мы используем в том смысле, который придавал ему Н. В. Тимофеев-Ресовский: как процесс адаптации человечества к потребностям биосферы.

ДУЭЛЬ ПУШКИНА С ДАНТЕСОМ

Недосыгаемое совершенство поэзии Пушкина, благородство и обаяние его личности, трагическая кончина более полутора столетий привлекают внимание читателей и исследователей к его личности. Стараниями филологов и историков отыскиваются новые документы, с ним связанные, вновь анализируются давно известные, многое уточняется, приобретает новые смыслы и значения.

Первым тему гибели поэта попытался исследовать правовед, литературный критик Б. В. Никольский (1870—1919). В 1899-м юбилейном пушкинском году вышел его очерк «Последняя дуэль Пушкина»¹. Достаточными знаниями автор не располагал, очерк успеха не имел. Вслед за ним только что окончивший университет выдающийся историк и филолог П. Е. Щеголев (1877—1931) опубликовал статью «Дуэль Пушкина с Дантесом»². В 1916 году вышла его книга «Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы»³. Это и последующие два издания произвели сильнейшее впечатление на специалистов и широкий круг читателей.

Владение языком, умение сделать серьезный академический текст интересным для рядового читателя, нисколько не утратив его научной ценности, отличает Щеголева от многих авторов. Идут годы, появляются новые исследования, щеголевский труд несколько потускнел для профессионалов, однако навсегда остается чрезвычайно важное: автор показал, как надлежит работать с документами и какой должна быть научная биография Александра Сергеевича Пушкина. Она до сих пор не написана.

Н. М. Смирнов (1808—1870), входивший в узкий круг друзей Пушкина, пишет: «С 1825 до 1831 года была самая счастливая эпоха в жизни Пушкина. Он жил в Петербурге, ласкаемый царем; три четверти общества носило его на руках»⁴.

История последней дуэли Пушкина начинается чуть раньше окончания этой «счастливой эпохи», постепенным накоплением невзгод, неудач, тяжелейших драматических потрясений. 6 апреля 1830 года после второго сватовства мать невесты Наталья Ивановна Гончарова (1785—1848), в девичестве Загряжская, дала согласие на брак Натальи

Феликс Моисеевич Лурье — публицист, библиограф, историк, автор и составитель 47 книг и альбомов, автор более 200 статей, родился в 1931 году в Ленинграде в семье известного историка М. Л. Лурье (1901—1941).

¹ См.: Никольский Б. В. Последняя дуэль Пушкина // Исторический вестник. 1899. Т. 78. Кн. II.

² См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина // Исторический вестник. 1905. № 1—3. В память об этой его работе названа данная статья.

³ См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы // Пушкин и его современники. Вып. XV—XVII. Пг., 1916. Годом позже вышло второе издание, третье исправленное и дополненное издание увидело свет в 1928 году. В 1936 году М. А. Цявловский издал сокращенный текст. Мы пользуемся четвертым изданием, опубликованным в 1987 году.

⁴ Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. Л., 1998. С. 271.

Николаевны Гончаровой (1813—1863) с Александром Сергеевичем Пушкиным (1799—1837). В ожидании венчания влюбленный жених почти год мучился сомнениями: красавица невеста — не очень хорошо воспитанная и образованная провинциалка. Близкие друзья его выбор не одобряли. Хорошо знавшая и ценившая Пушкина жена австрийского посланника, внучка М. И. Кутузова графиня Д. Ф. Фикельмон (1804—1863) пишет: «Александр Пушкин, вопреки мнению всех своих друзей, пять лет назад женился на Натали Гончаровой, совсем юной, без состояния и восхитительно красивой. С поэтической внешностью, но заурядным умом и характером...»⁵

Полная противоположность Д. Фикельмон, Н. М. Смирнов, дипломат, впоследствии сенатор, превосходно образованный, пишет фактически то же самое: «Женитьба была его несчастье, и все близкие друзья его сожалели, что он женился. Семейные обязанности должны были неминуемо отвлечь его много от занятий, тем более что, не имея еще собственного имения, живя произведениями своего пера и женись на девушке, не принесший ему никакого состояния, он приготовлял себе в будущем грустные заботы о необходимом для существования. Так и случилось. С первого года Пушкин узнал нужду, и, хотя никто из самых близких не слышал от него ни единой жалобы, беспокойство о существовании омрачало часто его лицо»⁶.

Разум подчинился сердцу. За два дня до венчания жених сообщает одному из ближайших друзей П. А. Плетневу: «Через несколько дней я женюсь: и представляю тебе финансовый отчет: заложил я моих 200 душ, взял 38 000, и вот им распределение: 11 000 теще, которая непременно хотела, чтобы дочь ее была бы с приданным — пиши пропало, 10 000 Нащокину, для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные. Остается 17 000 на обзаведение и житье годичное». Деньги эти он получил в Опекунском совете за заложенных с разрешения отца двухсот душ крестьян мужского пола из нижегородской деревни Кистенево⁷. Вместо того чтобы тратить средства из гончаровского приданого, жених влез в долги. Итог: приданое невесты — деньги, взятые в долг у жениха будущей тещей, ею куда-то потраченные и невозвращенные; вместо денег на продажу подарок деда Наталии Николаевны, Афанасия Николаевича Гончарова (1760—1832), — огромный бронзовый монумент Екатерины Великой (Медная бабушка — выражение Пушкина).

Утром 18 февраля 1831 года, в день венчания, будущая теща послала сказать нетерпеливому жениху, что церемонию надобно отложить, так как на карету у нее денег нет. Зная нрав будущей тещи, Пушкин тотчас отправил ей требуемую сумму. До конца дней Александра Сергеевича Наталья Николаевна втайне от мужа сражалась с матушкой и братьями за *свое* приданое, за *свою* долю в наследстве. Лишь в конце 1836 года ей удалось получить от брата Дмитрия 1120 рублей (четверть назначенного годового содержания)⁸ и 3000 за с трудом проданную Медную бабушку.

Венчание устроили в церкви Вознесения Господня, что на Царицынской улице в Москве. Присутствовавшая в церкви княгиня Е. А. Долгорукова вспоминает: «Во время венчания нечаянно упали с наложия крест и Евангелие, когда молодые шли кругом. Пушкин весь побледнел от этого. Потом у него потухла свеча. „Tous les mauvais augures“, — сказал Пушкин, выходя из церкви»⁹.

⁵ Фикельмон Д. Ф. Дневник. 1829—1837. М., 2009. С. 354—355.

⁶ Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 272.

⁷ См.: Пушкин. Письма. Т. III. 1831—1833. М., 1935 (Репринт. М., 1989—1999). С. 12, 205. Письмо П. А. Плетневу от 16 февраля 1831 г. «Пушкин отдал своих 25 тысяч на приданное» (Пушкин в воспоминаниях современников). Т. 2. С. 167.

⁸ Абрамович С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина. СПб., 1994. С. 38.

⁹ Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 140. Перевод с франц.: Все плохие предзнаменования.

19 мая 1832 года у Пушкиных родился первенец — дочь Мария. Чуть больше, чем через год, 6 июля 1833 года родился сын Александр, 14 мая 1835 года на свет появился второй сын Григорий. 23 мая 1836 года последним ребенком родилась Наталья. 1 октября 1834 года в Петербург прибыли сестры Натальи Николаевны — Александра и Екатерина — для совместного с ней проживания. Требовались увеличение площадей жилищ, числа прислуги, средств существования. Расходы на содержание растущего семейства катастрофически росли.

В 1928 году увидела свет книга П. Е. Щеголева «Пушкин и мужики. По неизданным материалам»¹⁰. Глава «Помещик» — почти сто страниц посвящены характеристике поместий, принадлежавших С. Л., Н. О. Пушкиным и их детям, деятельности управляющих и положению крестьян. Автор убедительно показал, до какого состояния довел поместья вечно хныкавший, капризничавший бездельник Сергей Львович, не желавший, не умевший заниматься доставшимся семье наследством. Единственным пытавшимся привести хозяйство в порядок оказался старший сын, самый занятый, самый ответственный, самый нуждающийся. Досадно читать текст этой главы, досадно видеть, как мечется гений, как никудышная родня предъявляет ему претензии, а он чувствует себя виноватым, растрчивает силы и время на добывание денег для всех.

«Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина», начиная с 1831 года, с нарастающей частотой содержит заемные письма ростовщикам, споры с мужем сестры о разделе имений, постоянно мелькают записи Александра Сергеевича об оплате долгов отца и брата, о визитах к родителям и суммах, передаваемых им «на хозяйственные расходы». Письма Натальи Николаевны к родным горестно читать¹¹.

«Ни друзья, ни родственники поэта не понимали до конца, насколько затруднительно его положение. Родные со всех сторон теребили Пушкина в связи с предстоящим разделом Михайловского. Брат Лев в письмах из Тифлиса просил прислать деньги в счет будущего наследства. Он писал, что деньги нужны ему срочно, и ждать он не может. Необоснованными денежными претензиями назойливо преследовал поэта и его зять Павлищев. Все это становилось невыносимым»¹².

30 декабря 1833 года министр иностранных дел граф К. В. Нессельроде известил министра двора князя П. М. Волконского о пожаловании титулярного советника А. С. Пушкина в звание камер-юнкера. Узнав о предстоящем пожаловании, Александр Сергеевич рассвирепел. Титулярный советник в Табели о рангах — чиновник 9-го класса, камер-юнкер — придворный 5-го класса, повышение на три класса¹³. Генералиссимуса А. В. Суворова пожаловали в камер-юнкеры семидесяти лет от роду. Кажется, он даже не обзавелся камер-юнкерским мундиром (возможно, уже тогда военным этот мундир не требовался). Пушкина сделали камер-юнкером, чтобы Наталья Николаевна была представлена ко двору. Торжественная церемония прошла 14 января 1834 года. Теперь в сопровождении мужа ей следовало посещать балы в Аничковом дворце. Натали счастлива, свершилось, она в восторге, будет отплясывать на всех столичных балах. Это было давней и чуть ли не главной мечтой провинциалки. Она ни от кого не скрывала, что скучала на «говорильных» вечерах Карамзиных и Вяземских. Камер-юнкерский мундир, бальные платья, украшения, соответствующий выезд требуют

¹⁰ См.: Щеголев П. Е. Пушкин и мужики. М., 1928.

¹¹ См.: Обнинская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. Неизданные письма Н. Н. Пушкиной, Е. Н. и А. Н. Гончаровых. М., 1975. С. 75—76.

¹² Абрамович С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина. С. 37.

¹³ Указ, допускающий жаловать званием камергера только статских советников, вышел в 1836 году, в 1833 году ничего не мешало пожаловать Пушкина камергером.

немалых денег¹⁴. Главная беда камер-юнкерства: оно вынуждало соблюдать правила придворного этикета, поглощавшего бесценное время на пустую светскую болтовню и разного рода никчемные мероприятия. Сомнительный друг Александра Сергеевича В. А. Соллогуб вспоминает: «Певец свободы, наряженный в придворный мундир, для сопутствования жене красавице, играл роль жалкую, едва ли не смешную. Пушкин был не Пушкин, а царедворец и муж»¹⁵. Как же он стеснялся этого ненавистного мундира! Как же он старался избежать обязательных посещений царских резиденций в этом проклятом мундирчике.

Все благодеяния власти в отношении Пушкина неизменно оборачивались для него мелкими или крупными бедствиями. Император вовсе не собирался его обидеть или унижить. Он не удивился словосочетанию «первый поэт России, камер-юнкер Пушкин». О таком пустяке Николай Павлович не думал: на руках у монарха империя. Не понимал он, что великого поэта негоже втискивать в камер-юнкерский мундирчик. Не думал он, что навязал гению противоестественный для него образ жизни, закабаливший его, сделавший глубоко несчастным не фактом дурацкого пожалования, а последствиями. Наш император не был ни мудрецом, ни глупцом, его следует назвать глубоким консерватором, самоуверенным и самовлюбленным донельзя, а еще злопамятным и мстительным. Его ухо ласкало звонкое «камер-юнкер», но не мрачное «сочинитель». Оценить Пушкина он не мог и не умел.

Приведу мнение Александра II о Пушкине, услышанное состоявшим в его свите А. А. Пушкиным, сыном поэта, записанное его кузеном А. Л. Пушкиным:

«Будучи наследником престола, я имел встречи с Пушкиным, но каждая встреча отдаляла поэта от двора. Казалось, что поэт не скрывает своего пренебрежительного отношения ко двору и к окружающим поэта верноподданным государя. Никто не может отрицать, что поэзия Пушкина плохо действовала на поведение молодежи... Пушкин и Лермонтов были неизменными противниками трона и самодержавия и в этом направлении действовали на верноподданных России. Двор не мог предотвратить гибель поэтов, ибо они были слишком сильными противниками самодержавия и неограниченной монархии, что отражалось на деятельности трех защитников государя — Бенкендорфа, Мордвинова и Дубельта и не вызывало у них необходимости сохранить жизнь поэтам. Мы сожалеем о гибели поэтов Пушкина и Лермонтова: они могли быть украшением двора — воспеть самодержца»¹⁶.

Страшные слова! Так ли говорил Александр II, мог ли он такое сказать сыну поэта, зачем ему требовалось это говорить, не выдумал ли А. Л. Пушкин, искажил ли слова брата, точно ли передал А. А. Пушкин услышанное от Александра II? Тем не менее родной племянник поэта оставил нам этот текст, возможно сказанный учеником В. Жуковского, его воспитанником и почитателем. В разыгравшейся драме Николай I именно так относился к свободолюбивому вольнодумцу Пушкину.

П. Е. Щеголев, многие годы изучавший отношения поэта и царя, пишет: «Вопрос об отношениях царя к поэту требует всестороннего рассмотрения. Легенду об исключительном отношении Николая к Пушкину можно теперь сдать в архив. Двойственный характер отношений Николая I окончательно выяснен. Царь был невысокого мнения о Пушкине и как о поэте, и как о человеке; искусством его он интересовался в той мере, в какой оно могло служить выставкой его двора; сам Пушкин пред-

¹⁴ Пушкин не заказывал дорогостоящий мундир. Продававшийся за ненадобностью мундир князя Витгенштейна приобрел для него Н. Н. Смирнов (см.: Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. СПб., 1998. С. 278, 541).

¹⁵ Из воспоминаний графа В. А. Соллогуба // Русский архив. 1865. № 5—6. Стб. 755.

¹⁶ Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л., 1977. С. 31—32.

ставляется ему человеком незначительным и неприятным, требовавшим постоянного за собой надзора; убеждения Пушкина никогда не внушали Николаю полного доверия, что там ни писал Пушкин»¹⁷.

Царь желал этому чужому ему человеку добра, желал, чтобы поэт играл достойную его, императора, роль, чтобы приносил ему, Николаю Павловичу, пользу. Иначе зачем назначать сочинителя Пушкина историографом и доверять ему копаться в секретных бумагах. К работе в архивах допускались те, кому власть доверяет абсолютно. Не случайно словом «архив» в I веке до Р. Х. начали называть место хранения документов. Слово это происходит от греческого *αρχή* — власть. Власть привязывала историографа к себе, делала его без нее беспомощным.

Из 786 известных нам писем Александра Сергеевича 54 адресованы начальнику III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, шефу Корпуса жандармов графу А. Х. Бенкендорфу, ближайшему к императору лицу.

Письма 1835—1836 годов содержат объяснения катастрофического положения семьи поэта и просьбы о предоставлении ссуд, займов, оплате расходов на издание его произведений¹⁸. Предполагаю, что хладнокровный Александр Христофорович тихо радовался, что может себе позволить не каждый раз устремляться на помощь просителю Пушкину и монарх его за это даже не пожурит.

Во второй половине июля 1831 года в Царском Селе произошла неожиданная встреча императора с поэтом. Приятельница Пушкина А. О. Россет запечатлела разговор Николая I с Александром Сергеевичем: «Государь сказал Пушкину, что хотел бы, чтобы король Нидерландский отдал ему домик Петра Великого в Саардаме. На что Пушкин, шутя, попросил назначить его дворником. Николай рассмеялся и сказал: „Я согласен, а покамест назначаю тебя историком и даю позволение работать в тайных архивах“. Тогда же император приказал А. Х. Бенкендорфу „написать графу Нессельроде, что государь велел его (А. С. Пушкина. — Ф. Л.) принять в Иностранную коллегию с позволением рыться в старых архивах для написания истории Петра Первого. Не угодно ли будет графу испросить или самому назначить Пушкину жалованье“»¹⁹.

22 июля 1831 года Пушкин пишет П. А. Плетневу: «К стати скажу тебе новость (но да останется это, по многим причинам, между нами): царь взял меня в службу — но не в канцелярскую, или придворную, или военную — нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем, чтобы я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: *Puisqu'il est marié et qu'il n'est pas riche, il faut faire aller sa marmite*. Ей-богу, он со мною мил»²⁰.

14 ноября 1831 года «высочайшим приказом» коллежский секретарь Пушкин зачислен в Коллегию иностранных дел с жалованьем пять тысяч рублей в год²¹. Вслед за чтимым всеми Николаем Михайловичем Карамзиным его назначили историографом. Александр Сергеевич был счастлив. История интересовала его с лицейских времен. Позже обнаружилось, что он, бесспорно, был одарен талантом историка²². Предполагаю, что первая избранная им тема — история Петра I — названа не только из любви к истории Отечества. Пытаясь в 1827 году написать исторический роман о своем африканском прадеде, он понял, что располагает недостаточным числом документов.

¹⁷ Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. Т. 2. М.; Л., 1931. С. 128.

¹⁸ См.: Пушкин А. С. Письма последних лет. Л., 1969.

¹⁹ Цит. по: Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т. Т. 3 (1829—1832). М., 1999. С. 361, далее Летопись.

²⁰ Пушкин. Письма. Т. III. С. 37. Перевод с франц.: Раз он женат и небогат, надо дать ему средства к жизни (буквально: Заправить его кастрюлю).

²¹ Пушкин. Письма. Т. III. С. 359—360.

²² Читайте: Пушкин А. С. История пугачевского бунта.

Лишь при изучении эпохи Петра Великого и до Екатерины II ему удастся собрать материал для завершения начатого романа²³. Занимаясь пугачевским бунтом, он написал «Капитанскую дочку».

В России никто, кроме императора, не мог допустить к работе в архиве. Правители всех стран во все времена ревностно охраняли архивы: проникновение в них не имеющего репутацию верноподданного влечет за собой опасность распространения секретных сведений. Только власть и доверенные лица вправе располагать полнотой информации. Чиновники для службы в архивах Российской империи отбирались тщательнейшим образом. Государственный архив находился на последнем этаже здания Главного штаба в помещениях Коллегии иностранных дел²⁴. Всеми секретными документами архива ведал правитель Канцелярии министерства, тайный советник В. А. Поленов (1776—1851), человек весьма образованный. С 1831 года и до кончины в 1837 году Александр Сергеевич часто посещал Государственный архив, знакомясь с бумагами, запечатлевшими деятельность Петра I и пугачевский бунт. Вскоре Пушкин и Поленов прониклись друг к другу взаимным уважением и даже симпатией.

Разрешение монарха работать с архивными документами не освобождало Пушкина от необходимости преодоления николаевской бюрократии. Постоянно приходилось обращаться то к одному, то к другому министрам с просьбами выдать хранящиеся в их ведомствах документы. Завязывалась переписка, в нее включались третьи и четвертые лица. Решений, не всегда положительных, приходилось ждать месяцами²⁵. Интенсивно работать над «Историей Петра» Пушкину удалось лишь в 1835 году. Ранее все время отнимала «История пугачевского бунта»²⁶. В 1836 году ему было не до архивов — лавина разного рода мерзостей полностью захлестнула его.

Уже в 1831 году, молодое семейство нуждалось в деньгах, голова Александра Сергеевича все более заполнялась мыслями о хлебе насущном. Уже тогда, Медная бабушка напоминала ему о себе.

16 декабря 1775 года Екатерина II посетила калужское имение Гончаровых Полотняный Завод с Парусно-полотняной и писчебумажной фабрикой. Прапрадед невесты А. А. Гончаров испросил разрешение императрицы в память этого события поставить в имении ее монумент. Получив согласие Екатерины II, А. А. Гончаров заказал берлинскому ваятелю В.-Х. Мейеру ее скульптуру. После отливки и чеканки статуи весом около трех тонн и высотой более трех метров ее отправили в Петербург, оттуда в Полотняный Завод, но не воздвигли. Наталья Николаевна 25—27 мая 1830 года представила главе семейства Гончаровых Афанасию Николаевичу (1760—1832) своего жениха Александра Сергеевича. Дед невесты подробно обсудил с женихом проект несостоявшегося дарения невесте в составе приданого части нижегородского имения Катунки. Заодно непутевый Афанасий Николаевич, промотавший огромное отцовское состояние, предложил Пушкину помочь ему продать Медную бабушку, а вырученные деньги присоединить к приданому внучки.

29 мая 1830 года по просьбе А. Н. Гончарова Пушкин обращается к Бенкендорфу с просьбой о получении разрешения на переплавку Медной бабушки. 26 июня Бенкендорф сообщил Пушкину, что государь «высочайше изъявил соизволение свое на расплавление». Часть 1830-го и весь 1831 год статуя без движения пролежала в Полотняном Заводе. Мучимый мыслью о внучке-бесприданнице Афанасий Николаевич

²³ См.: Лурье Ф. М. Абрам Ганнибал: Африканский прадед русского гения. СПб., 2012. С. 10—77; его же. Абрам Ганнибал. М., 2019. С. 9—67.

²⁴ См.: Фейнберг И. Л. Незавершенные работы Пушкина. М., 1964. С. 131.

²⁵ См.: «Пушкин». Документы Государственного С.-Петербургского и Главного архива Министерства иностранных дел, относящихся к службе его 1831—1837. СПб., 1900.

²⁶ Вышла из печати 25 декабря 1834 года.

в феврале 1832 года появился в Петербурге и на годовщину венчания подарил Наталье Николаевне залежавшийся монумент. Медную бабушку привезли в столицу в начале мая 1832 года и поставили во дворе дома Алымова (на территории: Фурштатская, 20), где Пушкины снимали квартиру.

8 июня 1832 года Александр Сергеевич пишет Бенкендорфу второе письмо по поводу Медной бабушки. Основываясь на предварительной с ним беседе по поводу монумента, Пушкин предлагает правительству приобрести его за 25 000 рублей, «что составляет четверть его стоимости». Бенкендорф передал письмо министру императорского двора князю П. М. Волконскому. Волконский обратился к президенту Академии художеств А. Н. Оленину с просьбой о создании комиссии с целью «осмотреть означенную статую и донести как о достоинстве оной, так и о цене ее». 12 июля был составлен акт осмотра Медной бабушки. Комиссия решила: «...колоссальная статуя Екатерины II <...> заслуживает внимания правительства; что же касается до цены сей статуи 25 тысяч рублей, то мы находим ее слишком умеренной, ибо одного металла, полагать можно, имеется в ней, по крайней мере, на двенадцать тысяч рублей, и если бы теперь заказать сделать такую статую, то она, конечно, обошлась бы в три или четыре раза дороже цены, просимой г. Пушкиным». Не получив ответа на письмо Пушкина Бенкендорфу от 8 июня 1832 года, Наталья Николаевна 8 февраля 1833 года отправила Волконскому просьбу сообщить о его решении. 25 февраля Пушкины получили сообщение об отказе правительства от покупки Медной бабушки²⁷. При переезде от Алымова монумент удалось отправить на литейный завод Франца Берда. В 1835—1836 годах Александр Сергеевич продал Медную бабушку владельцу завода за три тысячи рублей²⁸. Незадолго до кончины Александру Сергеевичу удалось получить большую часть приданого.

От унижительных поисков средств возвратимся к трудам историографа. Последняя запись в коротком дневнике А. С. Пушкина помечена февралем 1835 года и начинается фразой: «С Генваря очень занят Петром»²⁹. Больше ничего о своей работе над «Историей Петра» он не пишет. Приведем извлечение из комментариев выдающегося пушкиниста Б. Л. Модзалевского (1874—1928) к этой записи Александра Сергеевича: «О. Н. Смирнова (дочь А. О. Россет. — Ф. Л.) прибавляет к этому месту записок [А. О. Россет]: «Моя мать сделала юмористическое замечание по этому поводу. Уваров, недовольный тем, что Государь назначил Пушкина на место [историографа Н. М.] Карамзина, жаловался [Е. А.] Карамзиной (его вдове. — Ф. Л.), думая ей угодить. Она ответила сухо: „Я в восторге, если бы Государь только знал, какое он доставил мне удовольствие. Муж мой также одобрил бы его“. Моя мать прибавляет: „Уваров полагает, что надо быть лысым, беззубым, пузатым и носить очки, чтобы быть ученым! Или же быть Уваровым, или, по меньшей мере, Устряловым“». В 1833 году Пушкин привлекал к сотрудничеству в этой работе М. П. Погодина, но союз этот не состоялся, и Пушкин трудился самостоятельно — в Петербурге и в Москве. В начале апреля поэт писал Погодину: «К Петру приступаю со страхом и трепетом, как вы — к исторической кафедре». Говоря о работах Пушкина над историей Петра Великого, Н. М. Смирнов (муж А. О. Россет и отец О. Н. Смирновой. — Ф. Л.) свидетельствует, что Петр был «идолом Пушкина», который «этим делом занимался с любовью, но не хотел начать писать прежде, чем соберет все нужные материалы, и для достижения сего читал все, что было напечатано о сем государе, и рылся во всех архивах. Многие сомневались, чтобы он был в состоянии написать столь серьезное сочинение, чтобы у него досталось на то терпения. Зная коротко Пушкина (и мое мнение разделено Жуковским, Вязем-

²⁷ См.: Пушкин. Письма. Т. III. С. 502—505.

²⁸ См.: Чарейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1988. С. 36.

²⁹ Дневник Пушкина. 1833—1835. М.; Пг., 1923. С. 26.

ским, Плетневым), я уверен, что он вполне удовлетворил бы строгим ожиданиям публики; ибо под личиною иногда ветрености и всегда светского человека, он имел высокий, пронизательный ум, чистый взгляд, необыкновенную сметливость, память, не теряющую из виду мельчайших обстоятельств в самых дальних предметах, высокоблагородную душу, большие познания в Истории, — словом, все качества, нужные для историографа, к которым он присоединил еще свой блистательный талант, как писатель. Нельзя также сомневаться, чтобы у него не доставало бы терпения для окончания столько важного сочинения; ибо он имел в важных случаях твердую волю и благоговение, которое он имел к Петру I, вооружало его нужным терпением. Он же доказал трудами своими в собирании справок, долгим изучением своего предмета, и в глазах знающих коротко Пушкина медленность его в начатии писать историю великого государя служила доказательством его твердого намерения посвятить все силы своего ума». Результатом усердных и кропотливых трудов Пушкина, прерванных лишь смертью, было обширное собрание разнородных, едва обработанных материалов и данных для его работы. Но, как правильно говорит П. В. Анненков, «то, что у Пушкина называется материалом для Истории, не представляет собственно материалов, но только выписки из них и ссылки. Это черновая работа, свидетельствующая о добросовестности, с которой приступил он к задаче своей: Пушкин употребил 5 лет на один первый, подготовительный труд. Конечно, не менее времени потребовала бы и полная разработка его»; далее Анненков дает подробную характеристику всех собранных Пушкиным материалов по истории Петра I и указывает, что, судя по дате, стоящей под последней тетрадью чернового, хронологического, погодного свода сведений о Петре, поэт кончил его 15 декабря 1835 года. Этот свод, заключающийся в целом ряде набело переписанных самим Пушкиным тетрадей, был в 1840 году передан в цензуру как предназначенный для печати и разрешен ею, но остался неизданным; ныне эти рукописи принадлежат Пушкинскому Дому при Российской академии наук. П. Е. Щеголев в одном из научных собраний Пушкинского Дома в 1921 году делал о них специальный доклад. О работе Пушкина над историей Петра Великого см. в статье В. С. Иконникова «Исторические воззрения Пушкина»³⁰.

«Дневник» расположен на 26 страницах, комментарии к нему на 220-ти. Так Модзалевский комментировал тексты. Читать им написанное чрезвычайно интересно, поучительно и полезно.

13 октября 1836 года по просьбе Пушкина его однокашник М. А. Корф передал ему список книг, содержащих сведения о Петре I. Названия книг он выписал из составленного им каталога «Россики»³¹. На другой день благодарный историограф пишет Корфу: «Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился: большая часть цитированных книг мне неизвестна. Употреблю все возможные старания, дабы их добыть»³².

За три недели до кончины по приглашению Пушкина его посетил сын историка Е. Е. Келлера лицеист четвертого курса Д. Е. Келлер. Запись их разговора сохранил его дневник: «На вопрос о своей „Истории Петра“ Пушкин ответил: „Я до сих пор ничего еще не написал, занимался единственно собиранием материалов: хочу составить себе идею обо всем труде, потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам“. О занятиях историей Петра сказал (по-французски): „Эта работа убийственная <...> если бы я наперед знал, я бы не взялся за нее“»³³.

³⁰ Там же. С. 238–239. Уваров С. С. (1786–1855) — президент Академии наук, министр просвещения, председатель Главного управления цензуры. Устрялов Н. Г. (1805–1870) — профессор, историограф, автор «Истории царствования Петра Великого».

³¹ Летопись. Т. 4. С. 510.

³² Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. Т. 16. М., 1997. С. 168.

³³ Летопись. Т. 4. С. 566–567.

Осмелюсь предположить: со сроками окончания «Истории Петра» Александр Сергеевич погорячился. Ключевая фраза в разговоре с Келлером — последняя. Время шло, работа продвигалась медленно. Получаемое за нее жалованье следовало отрабатывать. Царские деньги требовали воздержания в поступках и высказываниях: не критикуй, не ворчи, умерь пыл, а это раздражало — изволь ревностно, как службу, посещать балы. Язвительный Н. В. Гоголь пишет: «Пушкина нигде не встретишь, как только на балах. Так протранжирует всю жизнь, если только какой-нибудь случай, и более не необходимость, не затащит его в деревню»³⁴. Раздражение не способствует творчеству, на литературный труд почти не оставалось времени. Если бы Н. М. Карамзину навязали подобный образ жизни, то мы вряд ли увидели его великий труд «Историю государства Российского». При назначении историографом в 1803 году Николаю Михайловичу установили жалованье 2000 рублей. Зимой он с семьей жил в Москве, а летом в имении Вяземских Остафьево. На сводной сестре П. А. Вяземского Карамзин был женат. При переезде в конце жизни в столицу ему в Царском Селе давали казенную дачу. В 1825 году Николай I установил Карамзину пенсию 50 000 рублей, по его кончине пенсия переходила к вдове. Ни мундиров, ни бальных платьев у старшего поколения Карамзиных не было.

Летом 1835 года Александр Сергеевич посчитал, что за год проживания в столице растущая семья потратила 30 000 рублей. Год спустя в письме жене он называет ничем не обоснованные 80 000 рублей, необходимые для той жизни, какой они живут. Сохранились записи П. Е. Щеголева, сделанные им при подготовке к докладу «Бюджет Пушкина в последние годы его жизни»³⁵. Доходы семьи складывались из трех источников: от поместий (целиком уходили на содержание родственников и погашение процентов за залоги в Опекунский совет); жалованье историографа и главный источник дохода — литературные заработки³⁶. Разумеется, при таком образе жизни литературным трудом содержать семью Пушкин не мог. Безрезультатные попытки вырваться из созданного не им положения погружали в отчаяние. От раздражения в его умнейшей голове зрели непродуманные планы, их реализация приводила к еще худшей ситуации. Точнее, правдивее всего душевное состояние Пушкина запечатлели его письма и стихи.

Летом 1834 года мучимый катастрофическими долгами и несовместимостью должности историографа с обязанностями камер-юнкера Александр Сергеевич решил подать в отставку и с семьей поселиться в деревне. Теоретически это прекращало его бедственное положение. Не продумав последствий, не посоветовавшись с В. А. Жуковским, верным другом, близким к императору лицом, он 25 июня пишет А. Х. Бенкендорфу:

Граф,

Поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вижу себя вынужденным оставить службу, и покорнейше прошу ваше сиятельство исходатайствовать мне соответствующее разрешение.

В качестве последней милости я просил бы, чтобы дозволение посещать архивы, которое соизволил мне даровать его величество, не было взято обратно.

Остаюсь с уважением, граф, вашего сиятельства нижайший и покорнейший слуга.
Александр Пушкин³⁷.

³⁴ Письма Гоголя. Т. I. С. 241. Письмо А. Данилевскому, начало 1833 г.

³⁵ ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 3. Д. 219.

³⁶ См.: Пушкин А. С. Письма последних лет. С. 233—234.

³⁷ Пушкин А. С. Там же. С. 52—53.

В ожидании ответа Пушкин пишет два катрена, предполагая в дальнейшем стихотворение завершить.

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

После обсуждения с императором просьбы историографа об отставке Бенкендорф 30 июня 1834 года сообщает Пушкину:

Милостивый государь Александр Сергеевич!

Письмо ваше ко мне от 25-го сего июня было мною представлено государю императору в подлиннике, и его императорское величество, не желая ни кого удерживать против воли, повелел мне сообщить г. вице-канцлеру об удовлетворении вашей просьбы, что и будет мною исполнено. —

Затем на просьбу вашу, о предоставлении вам и в отставке права посещать государственные архивы для извлечения справок, государь император не изъявил своего соизволения, так как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенною доверенностию начальства. —

С совершенным почтением имею честь быть ваш покорный слуга граф Бенкендорф³⁸.

Тогда же состоялись два разговора Николая I с Жуковским. Император с раздражением говорил о желании Пушкина получить отставку. Встревоженный Василий Андреевич отправляет Александру Сергеевичу четыре письма: 1 июля (не сохранилось), 2, 3 и 6 июля³⁹. Письма пропитаны тревогой за друга, упреком, почему не сказал ему о причинах, вынудивших просить отставку (тогда он назвал бы их возмущенному императору, и, возможно, он сменил бы гнев на милость), как мог проситель об отставке не подумать о последствиях, совершить такую глупость. Надобно умолять Николая Павловича простить его, неблагодарного, каяться изо всех сил. Во всех письмах Жуковский называет Пушкина глупцом. Поняв, что действительно совершил ошибку, Александр Сергеевич пишет 3 июля Бенкендорфу:

Граф,

Несколько дней тому назад я имел честь обратиться к Вашему сиятельству с просьбой о разрешении оставить службу. Так как поступок этот неблагоприятен, покорнейше прошу вас, граф, не давать хода моему прошению. Я предпочитаю казаться легкомысленным, чем быть неблагодарным.

Со всем тем отпуск на несколько месяцев был бы мне необходим.

Остаюсь с уважением, граф, вашего сиятельства нижайший и покорнейший слуга Александр Пушкин⁴⁰.

³⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. Т. 15. С. 171.

³⁹ См.: там же. С. 171, 172, 175.

⁴⁰ Пушкин А. С. Письма последних лет. С. 57.

Вероятно, Александр Сергеевич считал недостаточным раскаяние в этом письме и на другой день отправляет Бенкендорфу новое письмо:

Милостивый государь граф Александр Христофорович.

Письмо Вашего сиятельства от 30 июня удостоился я получить вчера вечером. Крайне огорчен я, что необдуманное прошение мое, вынужденное от меня неприятными обстоятельствами и досадными, мелочными хлопотами, могло показаться безумной неблагодарностью и сопротивлением воле того, кто доньше был более моим благодетелем, нежели государем. Буду ждать решения участи моей, но, во всяком случае, ничто не изменит чувства глубокой, преданности моей к царю и сыновней благодарности за прежние его милости.

С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивый государь, Вашего сиятельства покорнейший слуга

Александр Пушкин.

4 июля 1834.

С. П. Б.⁴¹

Письмо Жуковского Пушкину от 6 июля начинается следующей фразой: «Я право не понимаю, что с тобою сделалось; ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение»⁴². Далее он выражает недовольство содержанием его писем Бенкендорфу от 25 июня, 3 и 4 июля, требует внятного объяснения причин, побудивших просить об отставке, и извинений за досаду и раздражение, испытанные добрейшим монархом в связи со сложившимися обстоятельствами. Ознакомившись с письмом Жуковского, Пушкин старается выполнить совет друга:

Граф,

Позвольте мне говорить с вами вполне откровенно. Подавая в отставку, я думал лишь о семейных делах, затруднительных и тягостных. Я имел в виду лишь неудобство быть вынужденным предпринимать частые поездки, находясь в то же время на службе. Богом и душою моею клянусь, — эта была моя единственная мысль; с глубокой печалью вижу, как ужасно она была истолкована. Государь осыпал меня милостями с той первой минуты, когда монаршая мысль обратилась ко мне. Среди них есть такие, о которых я не могу думать без глубокого волнения, столько он вложил в них прямоты и великодушия. Он всегда был для меня провидением, и если в течение этих восьми лет мне случалось роптать, то никогда, клянусь, чувство горечи не примешивалось к тем чувствам, которые я питал к нему. И в эту минуту не мысль потерять всемогущего покровителя вызывает во мне печаль, но боязнь оставить в его душе впечатление, которое, к счастью, мною не заслужено.

Повторяю, граф, мою покорнейшую просьбу не давать хода прошению, поданному мною столь легкомысленно.

Поручая себя вашему могущественному покровительству, осмеливаюсь изъявить вам мое высокое уважение.

Остаюсь с почтением, граф, вашего сиятельства нижайший и покорнейший слуга Александр Пушкин.

6 июля. С.-П.⁴³.

Он знал, что отправка писем Бенкендорфу влечет за собой их передачу или пересказ императору. Гордость и чувство собственного достоинства требовали объяснить

⁴¹ Там же. С. 58.

⁴² Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. Т. 15. С. 175.

⁴³ Там же. С. 59–60.

причину прошения об отставке «семейными делами» и не сообщать о бедственном положении семьи. Иначе просьба об отставке звучит как мольба о вспомоществовании, чего Пушкин не желал допустить. На этот раз ему удалось удержаться, нервы позволили.

История с отставкой кончилась ничем. Иначе она и не могла кончиться — ехать отставному историографу было некуда, не было такой деревни у Александра Сергеевича⁴⁴. Если бы вопрос деревни удалось уладить, то всплыло бы иное препятствие. Наталья Николаевна, прожившая в Полотняном Заводе, слышать не желала об отъезде в деревню⁴⁵. Учитывая содержание письма от 6 июля, император вынес решение о том, что Пушкин никаких прошений не подавал. Позже несостоявшийся отставник записал в дневнике: «Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился со двором — но все перемололось. Однако это мне не пройдет»⁴⁶. Не впервые подтвердилось, что свет, двор не его, а он не их, он для них чужой и неисправимый вольнодумец. У власти свой взгляд на происходящее: сколько милостей оказано ему, а он неблагодарный. Стихотворение «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит» дописать не случилось. И с «Это мне не пройдет» он оказался прав.

8 января 1835 года Александр Сергеевич оставил в дневнике последнюю запись. В ней имеется следующий сюжет:

«Недавно государь приказал князю Волконскому принести к нему из кабинета самую дорогую табакерку. Дороже не нашлось, как в 9000 рублей — Князь Волконский принес табакерку. Государю показалась она довольно бедна. — „Дороже нет“, — отвечал Волконский. — „Если так, делать нечего, — отвечал Государь; — я хотел тебе сделать подарок, возьми ее себе“. Вообразите себе рожу старого скряги. С этой поры начали требовать бриллианты. Теперь в кабинете табакерки завелись уже в 60 000 рублей».

В обширном комментарии к этому тексту Б. Л. Модзалевский пишет, что только в 1834 году министр Императорского двора, управляющий Кабинетом его императорского величества князь Петр Михайлович Волконский (1776–1852) получил особую трость, украшенную бриллиантами и титул «светлости»⁴⁷. Своих особо преданных верноподданных Николай I одаривать не скупился. Табакерка за 60 000 рублей кому-то, отнюдь не бедствующему, досталась в подарок. Каково было все это знать дошедшему до крайности первому поэту Отечества.

Новые попытки изменить ухудшающееся положение семьи Александр Сергеевич предпринял весной 1835 года. Еще в 1825 году Пушкин начал думать об издании литературно-политической газеты. В 1831 году предпринял попытку организовать выпуск газеты «Дневник». В 1832 году был составлен пробный номер. По разным причинам до реализации дело не дошло⁴⁸. 16 апреля 1835 года Пушкин посетил Бенкендорфа, на встрече говорили об издании литературно-политической газеты⁴⁹. Вскоре ему «было объявлено, что Николай I не дал разрешения на издание газеты»⁵⁰. Спустя восемь месяцев в письме от 31 декабря 1835 года Пушкин просил Бенкендорфа о разрешении издавать литературный журнал⁵¹. После доклада императору Бенкендорф известил председателя Главного цензурного управления, министра просвещения С. С. Уварова о высочайшем соизволении. 11 апреля 1836 года увидел свет пер-

⁴⁴ Абрамович С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина. С. 20.

⁴⁵ См.: Летопись. Т. 4. С. 336.

⁴⁶ Дневник Пушкина. С. 20.

⁴⁷ Там же. С. 25, 232.

⁴⁸ См.: Пушкин. Письма. Т. III. С. 489–500.

⁴⁹ См.: Летопись. Т. 4. С. 298.

⁵⁰ Пушкин А. С. Письма последних лет. С. 266.

⁵¹ См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. Т. 16. М., 1997. С. 168.

вый том пушкинского «Современника». При тираже 2400 экземпляров удалось распространить лишь треть. Доход от журнала, на что надеялся Александр Сергеевич, обернулся убытком. Второй том, отпечатанный тем же тиражом, поверг издателя в еще худшее положение. Полный провал. До самой его кончины материальное положение семьи хоть сколько-нибудь улучшить не удалось.

Через месяц после получения отказа на издание газеты Пушкин вновь обращается к Бенкендорфу:

Граф,

Мне совестно постоянно надоедать вашему сиятельству, но снисходительность и участие, которые вы всегда ко мне проявляли, послужат извинением моей нескромности.

У меня нет состояния; ни я, ни моя жена не получили еще той части, которая должна нам достаться. До сих пор я жил только своим трудом. Мой постоянный доход — это жалованье, которое государь соизволил мне назначить. В работе ради хлеба насущного, конечно, нет ничего для меня унижительного; но, привыкнув к независимости, я совершенно не умею писать ради денег; и одна мысль об этом приводит меня в полное бездействие. Жизнь в Петербурге ужасающе дорога. До сих пор я довольно равнодушно смотрел на расходы, которые я вынужден был делать, так как политическая и литературная газета — предприятие чисто торговое — сразу дала бы мне способ получить от 30 до 40 тысяч дохода. Однако дело это внушало мне такое отвращение, что я намеревался взяться за него лишь при последней крайности.

Ныне я поставлен в необходимость покончить с расходами, которые лишь вовлекают меня в долги и готовят мне в будущем только тревоги и хлопоты, а может быть — нищету и отчаяние. Три или четыре года уединенной жизни в деревне снова дадут мне возможность по возвращении в Петербург возобновить занятия, которыми я еще обязан милостям его величества.

Я был осыпан благодеяниями государя, я был бы в отчаянии, если бы его величество заподозрил в моем желании удалиться из Петербурга какое-либо другое побуждение, кроме совершенной необходимости. Малейшего признака неудовольствия или подозрения было бы достаточно, чтобы удержать меня в теперешнем моем положении, ибо, в конце концов, я предпочитаю быть стесненным в моих делах, чем потерять во мнении того, кто был моим благодетелем не как государь, не по долгу и справедливости, но по свободному чувству благожелательности возвышенной и великодушной.

Вручая судьбу мою в ваши руки, честь имею быть с глубочайшим уважением, граф, вашего сиятельства нижайший и покорнейший слуга

Александр Пушкин.

1 июня. С. П. Б.⁵²

На письме имеется резолюция Николая I: «Нет препятствия ему ехать куда хочет, но не знаю, разумеет он согласовать сие со службой; спросить хочет ли отставки, ибо иначе нет возможности его уволить на столь продолжительный срок». Милая резолюция самодержца, который выше закона и может все.

На этот раз автор письма более внятно сообщает о бедственном положении семьи. В резолюции Николая I, вопреки предположению Жуковского, ничего нет о материальной помощи. Ознакомившись с резолюцией императора, Пушкин пишет Бенкендорфу:

Милостивый государь
граф Александр Христофорович,

⁵² Там же. С. 94, 266.

Государю угодно было отметить на письме моем к Вашему сиятельству, что нельзя мне будет отправиться на несколько лет в деревню иначе, как взяв отставку. Предаю совершенно судьбу в царскую волю, и желаю только, чтоб решение его величества не было для меня знаком немилости и чтоб вход в архивы, когда обстоятельства позволят мне оставаться в Петербурге, не был мне запрещен.

С глубочайшим почтением, преданностию и благодарностию честь имею быть,
милостивый государь,
Вашего сиятельства
покорнейшим слугою.
Александр Пушкин.
4 июля 1835. С. П. Б.⁵³

Помета на письме рукою Бенкендорфа: «Есть ли ему нужны деньги государь готов ему помочь, пусть мне скажет; есть ли нужно дома побывать то может взять отпуск на 4 месяца»⁵⁴.

Казалось бы, понятнее и быть не может, что просителю нужны деньги.
Следующее письмо Пушкина Бенкендорфу:

Граф,

Я имел честь явиться к вашему сиятельству, но, к несчастью, не застал вас дома. Осыпанный милостями его величества, к вам, граф, должен я обратиться, чтобы поблагодарить за участие, которое вам было угодно проявлять ко мне, и чтобы откровенно объяснить мое положение.

В течение последних пяти лет моего проживания в Петербурге я задолжал около шестидесяти тысяч рублей.

Кроме того, я был вынужден взять в свои руки дела моей семьи; это вовлекло меня в такие затруднения, что я был принужден отказаться от наследства, и единственными средствами привести в порядок мои дела были: либо удалить в деревню, либо одновременно занять крупную сумму денег. Но последний исход почти невозможен в России, где закон предоставляет слишком слабое обеспечение заимодавцу и где займы суть почти всегда долги между друзьями и на слово.

Благодарность для меня чувство не тягостное; и, конечно, моя преданность особе государя не смущена никакой задней мыслью стыда или угрызений совести; но не могу скрыть от себя, что я не имею решительно никакого права на благодеяния его величества и что мне невозможно просить чего-либо.

Итак, вам, граф, еще раз вверяю решение моей участи и, прося вас принять уверение в моем высоком уважении, имею честь быть с почтением и признательностью, граф, вашего сиятельства нижайший и покорнейший слуга.

Александр Пушкин.
22 июля 1835. С.-Петербург⁵⁵

Помета на письме рукой Бенкендорфа: «Император предлагает ему 10 тысяч рублей и отпуск на 6 месяцев, после которого он посмотрит, должен ли он брать отставку или нет»⁵⁶.

Издательская реакция Николая I на письмо Александра Сергеевича от 22 июля не могла его удовлетворить, и он пишет Бенкендорфу последнее из этой серии обращения:

⁵³ Там же. С. 98—99.

⁵⁴ Там же. С. 268.

⁵⁵ Там же. С. 101.

⁵⁶ Там же. С. 269.

Граф,

Мне тяжело в ту минуту, когда я получаю неожиданную милость, просить еще о двух других, но я решаюсь прибегнуть со всей откровенностью к тому, кто соизволил быть моим провидением.

Из 60 000 моих долгов половина — долги чести. Чтобы расплатиться с ними, я вижу себя вынужденным занимать у ростовщиков, что усугубит мои затруднения или же поставит меня в необходимость вновь прибегнуть к великодушию государя.

Итак, я умоляю его величество оказать мне милость полную и совершенную: во-первых, дав мне возможность уплатить эти 30 000 рублей и, во-вторых, соизволив разрешить мне смотреть на эту сумму как на заем и приказав, следовательно, приостановить выплату мне жалованья впредь до погашения этого долга.

Поручая себя вашей снисходительности, имею честь быть с глубочайшим уважением и живейшей благодарностью, граф, вашего сиятельства нижайший и покорнейший слуга

Александр Пушкин.

26 июля 1835. С.-Петербург⁵⁷.

Помета на письме рукою Бенкендорфа: «Император отпускает ему 30 тысяч рублей с удержанием, как он того просит, его жалованья»⁵⁸.

Пушкин пытается объяснить, что ему и семье не на что жить. От щедрот своих монарх распоряжается выдать историографу его жалованье за шесть лет вперед. Откровенное свидетельство отношения к истинной гордости России, ее национальному достоянию. Или сделал вид, что не понял, или «сытый Сганарель думает, что семья накормлена» (Мольер). Превосходно понимал.

Бабка Николая I Екатерина Великая, как бы она поступила? Предполагаю, погасила бы все долги поэта и увеличила жалованье. Она знала толк в литературе и политике, не стала бы советовать, как и что писать гению, как это имел наглость делать ее внук. В 1765 году мудрая императрица приобрела библиотеку Дени Дидро (1713—1784) с тем, что книги до кончины владельца оставались в его собственности, и назначила его библиотекарем с пожизненным жалованьем. Узнав, что обещанные деньги он получает нерегулярно, Екатерина Алексеевна распорядилась выплатить ему жалованье за 20 лет вперед. Вся Европа знала об уме и щедрости русской императрицы. Завидные гены Екатерины Великой по пути к Николаю Павловичу куда-то подевались.

Наверное, внук Екатерины II догадывался, что Пушкин желает получить отпуск от балов, парадов, приемов, торжественных богослужений, где ему приходилось в толпе юных камер-юнкеров слушать светскую болтовню. В отпуске он нуждался, чтобы погрузиться в работу. Но власть терпела камер-юнкера Пушкина, и ни в каком ином она не нуждалась. За это ему платили. Тридцать тысяч взаймы удалось получить из казначейства не сразу, пришлось обращаться к министру финансов графу Е. Ф. Канкрину⁵⁹. Лишь 30 сентября царь написал: «Исполнить».

После унижительных переговоров с властью истерзанный Александр Сергеевич, находясь в подавленном состоянии, отправился во Псковскую губернию. Находясь там, за 40 дней (10 сентября — 20 октября) он большую часть времени провел в Голубове (три визита), имении Вревских, Тригорском (четыре визита), имении Осиповых и лишь немногие дни в Михайловском. Его мучило одиночество, оставаясь в Михайловском, он еще и еще переживал унижительное выпрашивание денег — проклятую переписку с надменным, бесчувственным бревном Бенкендорфом, последнюю резо-

⁵⁷ Там же. С. 102—103.

⁵⁸ Там же. С. 270.

⁵⁹ Там же. С. 105, 112.

люцию царя-благодетеля. Из этой псковской поездки сохранилось пять писем к Наталье Николаевне. 21 сентября 1835 года Пушкин пишет: «А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения; он его уже вполтину промотал; Ваше имение на волоске от гибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне, да на тетке. Ни я, ни тетка не вечны»⁶⁰. В письме от 29 сентября есть следующие строки: «Г.<осударь> <...> заставляет меня жить в П.<етер> Б.<урге>, а не дает мне способов жить моим трудом. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошки деньги трудовые, и не вижу ничего в будущем»⁶¹.

Наталья Николаевна знала почти все о непреодолимых трудностях мужа, о его переживаниях, как могла, пыталась ему помочь. В конце июля 1836 года она пишет брату Дмитрию:

«Теперь я хочу немного поговорить с тобой о моих личных делах.

Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала, но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в том затруднительном положении, в котором он находится; несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одного, вот почему я вынуждена, дорогой брат, прибегнуть к твоей доброте и великодушному сердцу, чтобы умолять тебя назначить мне с помощью матери содержание, равное тому, какое получают сестры, и, если это возможно, чтобы я начала получать его до января, то есть с будущего месяца. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом, голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами, и без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам и, следовательно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию: для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна. И, стало быть, ты легко поймешь, дорогой Дмитрий, что я обратилась к тебе, чтобы ты мне помог в моей крайней нужде. Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение; по крайней мере, содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что если бы он знал об этом, то несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать. Итак, ты не рассердишься на меня, дорогой Дмитрий, за то, что есть нескромного в моей просьбе, будь уверен, что только крайняя необходимость придает мне смелость докучать тебе»⁶².

Из родных и близких лишь Наталья Николаевна, В. А. Жуковский и, возможно, С. А. Соболевский понимали состояние Александра Сергеевича и переживали за него. Родители Пушкина взволновались, получив письмо младшего сына — лоботряса, где он сообщает, что погибает от нищеты. Родители не знают, что деньги, взятые займы, он тратит на карточные игры и кутежи, а его долги оплачивает старший брат. Матушка от неприятного известия заболела. К старшему сыну постоянные претензии. Не успел Александр Сергеевич получить щедрый государев заем, как родня оживилась — сестра срочно пишет мужу-вымогателю о тридцати тысячах. 29 марта 1836 года скончалась долго болевшая Надежда Осиповна. Хоронить ее в Святогорский мона-

⁶⁰ Там же. С. 107—108; тетка Е. И. Загряжская, сестра Н. И. Гончаровой, матери Н. Н. Пушкиной.

⁶¹ Там же. С. 109.

⁶² Обнинская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. Неизданные письма Н. Н. Пушкиной, Е. Н. и А. Н. Гончаровых. М., 1975. С. 175—176.

стырь отправился Александр Сергеевич. Все семейство — отец, брат, сестра и ее муж-вымогатель — тяжелым грузом висело у него на шее. Но были еще четверо детей с женой и отчасти свояченицы.

Закончим материальную тему следующим сюжетом. Весной 1835 года С. А. Соболевский познакомил Пушкина с отставным подполковником А. П. Шишкиным (1787—1838), «самым добрым и честным ростовщиком». Под залог жемчуга, столового серебра, шалей и часов «брегет», принадлежавших Соболевскому, А. Н. Гончаровой, Н. Н. и А. С. Пушкиным, с 1 апреля 1835 года по конец января 1837 года только у Шишкина Александр Сергеевич получил 20 440 рублей, то есть 2/3 годового содержания семьи. Последний поход к Шишкину состоялся 24 января 1837 года (дуэль произошла 27 января). Под залог столового серебра А. Н. Гончаровой он получил 2200 рублей. Осевший у Шишкина за это время залог был выкуплен в течение 1837 года. Благородный Соболевский последним получил свое столовое серебро 24 января 1838 года. В этот же период Пушкины под заемные письма взяли у В. Г. Юрьева 13 900 рублей, долг после кончины Пушкина оплатила Опека⁶³. Расходы семьи в 1836 году полностью покрывались деньгами ростовщиков.

Николай Михайлович Смирнов, не раз выручавший Александра Сергеевича деньгами, пишет: «Я уверен, что беспокойствия о будущей судьбе семейства, долги и вечные заботы о существовании были главною причиною той раздражительности, которую он показал в происшествиях, бывших причиною его смерти»⁶⁴.

В январе 1836 года вспыхнул скандал по поводу опубликованного осенью 1835 года стихотворения Пушкина «На выздоровление Лукулла». Всеми узнанный в нем С. С. Уваров через Бенкендорфа пожаловался императору. В результате разбирательства Пушкину было передано неудовольствие Николая I. Цензура находилась в ведении Уварова, Александру Сергеевичу и раньше докучали цензоры. Не надо было досажать их шефу. Но реакция на обиды, сыпавшиеся от цензуры, независимо от поэта вызревала стихами. Стихи сами по себе выплескивались из него. Не мог он иначе, хотя и знал, что это усложнит ему жизнь.

В феврале 1836 года Пушкин мог довести до дуэли три пустяковых, почти надуманных им инцидента с С. С. Хлюстиным, князем Н. Г. Репниным и графом В. А. Соллогубом. Слава богу, все закончилось миром. Александр Сергеевич не искал смерти, он, быть может, неосознанно нуждался в разрядке от нарастающего напряженного состояния, в котором находился не один год.

Свидетель первого конфликта Г. П. Небольсин пишет:

«Приехав к нему вместе со старым его знакомым гусаром Хлюстиным, я был принят им по обыкновению весьма любезно и сначала беседа шла бойко, пока не коснулась литературы русской, с которой Хлюстин, живя долго за границей как человек очень богатый, получивший французское воспитание, был мало знаком. Он упомянул между прочим, что Булгарин писатель недурной и романист с дарованием. Это взорвало Пушкина, он вышел из себя, наговорил Хлюстину дерзостей, так что мне пришлось с ним удалиться. Затем между Хлюстиным и Пушкиным завязалась переписка в таких обоюдных оскорбительных выражениях, что только усилия общих знакомых могли предупредить неизбежную между ними дуэль»⁶⁵.

Последний год он жил в материальном и духовном аду. Казалось бы, достаточно катастрофических неприятностей и тысячи мелких невзгод, куда еще хуже? Ан нет. 8 октября 1833 года в Россию прибыл барон Жорж Дантес (1812—1895). Имея реко-

⁶³ См.: Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. IV. С. 293, 390, 411, 496, 500, 540, 559, 581, 653, 654; Чарейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1988. С. 499.

⁶⁴ Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 272.

⁶⁵ Временник Пушкинской комиссии. 1969. Л., 1971. С. 71.

мендательное письмо прусского принца Вильгельма, он был допущен к облегченному офицерскому экзамену, успешно сданному. 8 февраля 1834 года только что испеченного корнета зачислили в привилегированный гвардейский Кавалергардский полк. По случаю получения Дантесом офицерского чина Александр Сергеевич 26 января 1834 года записал в дневнике: «Гвардия ропщет»⁶⁶. Запомните это выражение, мы к нему возвратимся вслед за развязкой надвигавшейся драмы.

По пути в Россию Дантес познакомился с бароном Луи Борхардом Геккереном де Беверваардом (1792—1884), нидерландским посланником при русском дворе, и они на одном пароходе прибыли в Кронштадт. Вскоре солидный дипломат пожелал усыновить молодого корнета и дать ему свою фамилию. Усыновление объясняло, почему два неженатых мужчины проживают вместе. Чтобы не вносить путаницу, мы новой фамилией Дантеса пользоваться не будем, еще и потому что усыновление это голландские власти не признали⁶⁷. Для Дантеса вопрос денег решился сам собой. Можно было жить у Геккерена, не возбуждая нежелательных слухов. О законном отцовстве «отец» и «сын» соврали. Возможно, соврал Геккерн, а Дантес не знал, что отцовство *может* вступить в силу лишь через год, а *может* и не вступить⁶⁸. Не вступило.

Высокий, стройный красавчик, обаятельный беззаботный весельчак, к тому же француз, женщины без ума, почти поголовно. Он тотчас привык всем нравиться, все получать сполна. Его не покидал восторг от самого себя и окружающих. Он носился с бала на бал, плясал с невестами, высматривая самую подходящую, неосторожно флиртовал, и это сходило ему с рук. Жизнь в России, Петербурге ему нравилась все больше и больше. Служба барона Дантеса шла наилучшим образом, необходимо стараться, и он старался. 26 января 1836 года его произвели в поручики. Получением очередного чина Дантес обязан собственному радению.

В конце 1835 года произошло знакомство Натальи Николаевны с Дантесом. 20 января 1836 года «приемный сын» сообщил Геккерну («отец» находился вне России с весны 1835-го по май 1836 года), что влюблен в жену Пушкина. Робкие знаки внимания не вызывали осуждения. Свойство красивой женщины — нравиться. Молодой, жизнерадостной, неискушенной красавице льстило ухаживание блистательного кавалергарда, на которого с восхищением смотрят все женщины столицы. 5 февраля 1836 года М. Мердер (1815—1870), дочь воспитателя наследника престола, сделала в дневнике следующую запись: «Пробыв на балу не более получаса, мы направились к выходу; барон (Дантес. — Ф. Л.) танцевал мазурку с г-жою Пушкиной. Как счастливы они казались в эту минуту!»⁶⁹ Г. М. Седова вполне обоснованно сомневается в подлинности этого текста⁷⁰.

Мы знаем и другие подобные свидетельства. Д. Ф. Фикельмон пишет, что Наталья Николаевна «развлекалась искренне и без кокетства, пока один француз по имени Дантес, офицер-кавалергард, усыновленный Геккереном, голландским министром, не начал за ней ухаживать; он был влюблен в нее в течение года, как это позволительно всякому молодому человеку, живо восхищаясь ею, но ведя себя тактично и не посещая их дом; однако беспрестанно виделся с ней в свете, и вскоре в тесном дружеском кругу стал более открыто проявлять свою любовь»⁷¹.

Невоспитанный, наглый, избалованный, эгоистичный Дантес не желал скрывать ухаживаний за Натальей Николаевной. Почти весь 1836 год столичный свет наблю-

⁶⁶ Дневник Пушкина. С. 7.

⁶⁷ См.: Витале С., Старк В. Черная речка. До и после — к истории дуэли Пушкина. СПб., 2000. С. 220—221.

⁶⁸ Там же. С. 216.

⁶⁹ Листки из дневника М. К. Мердер // Русская старина. 1900. № 8. С. 384.

⁷⁰ Седова Г. М. Ему было за что умирать у Черной речки. СПб., 2012. С. 474.

⁷¹ Фикельмон Д. Ф. Дневник. С. 355.

дал за кокетничаньем замужней женщины, матери трех, затем четырех детей. Просто-душная, неопытная женщина не заметила, что ухаживания воздыхателя сделались неприлично настойчивыми. Когда же они зашли возмутительно далеко, Наталья Николаевна не смогла поставить наглеца на место. Ей пришлось пережить домогательства, угрозы, возмутительные выходки Дантеса, пошлые нашептывания и уговоры опасного интригана Геккерера.

Н. М. Смирнов, высоко чтивший Александра Сергеевича, вспоминал: «Скоро он страстно влюбился в г-жу Пушкину. Бедная Наталья Николаевна, быть может, немного тронутая сим новым обожанием, невзирая на то что искренно любила своего мужа, до такой степени, что даже была очень ревнива (что иногда случается в никем еще не разгаданных сердцах светских женщин), или из неосторожного кокетства, принимала волокитство Дантеса с удовольствием. Муж это заметил, были домашние объяснения; но дамы легко забывают на балах данные обещания супругам, и Наталья Николаевна снова принимала приглашения Дантеса на долгие танцы, что заставляло мужа ее хмурить брови»⁷².

Страстная влюбленность Дантеса вызывала сомнение современников, точнее, это была страстная жажда победы во что бы то ни стало. Предполагаю, что поведение Дантеса начало раздражать Пушкина в начале весны 1836 года. Ухаживания эти раздражали не одного его. Княгиня Вера Федоровна Вяземская, верный преданный друг Александра Сергеевича, рассказала историку П. И. Бартеневу:

«Н. Н. Пушкина бывала очень часто у Вяземских, и всякий раз, как она приезжала, являлся и Геккерн (Дантес. — Ф. Л.), про которого уже знали, да и он сам не скрывал, что Пушкина очень ему нравится. Сберегая честь своего дома, княгиня напрямик объявила нахалу французу, что она просит его свои ухаживания за женой Пушкина производить где-нибудь в другом доме. Через несколько времени он опять приезжает вечером и не отходит от Натальи Николаевны. Тогда княгиня сказала ему, что ей остается одно — приказать швейцару, коль скоро у подъезда их будет несколько карет, не принимать г-на Геккерена. После этого он прекратил свои посещения, и свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных»⁷³.

Важные наблюдения оставила нам дочь историка Н. М. Карамзина княгиня Е. Н. Мещерская:

«Собственно говоря, Наталья Николаевна виновата только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменяла чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую пламенную душу Пушкина. В сущности, она сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блистательных дам, которых, однако ж, из-за этого принимают не хуже прежнего; но она не так искусно умела скрыть свое кокетство, и, еще важнее, она не поняла, что ее муж иначе был создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам»⁷⁴.

Увы, не одна Наталья Николаевна этого не понимала. Даже сестра Е. Н. Мещерской Софья Карамзина не разглядела, что происходило на ее глазах, не поняла, что между Пушкиным и Дантесом нет равенства, между ними зияющая пропасть. Они должны были существовать в непересекающихся плоскостях. Но наша жизнь так устроена: непересекающиеся плоскости пересекаются.

19 октября 1836 года, в 25-ю лицейскую годовщину, Александр Сергеевич работал над стихотворением, посвященным этой дате, но закончить не успел, написал сложный мировоззренческий ответ П. Я. Чаадаеву на присланный им текст первого

⁷² См.: Пушкин в воспоминаниях современников. С. 273.

⁷³ Русский архив. 1888. Т. II. С. 308.

⁷⁴ Цит. по: Вересаев В. В. Пушкин в жизни. Т. 2. СПб., 2017. С. 317.

«Философического письма», завершил роман «Капитанская дочка» и провел пять часов с собравшимися однокашниками⁷⁵. Пушкин читал начало стихотворения:

Была пора, наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался...

Дальше читать не мог, разрыдался... Встреча получилась невеселой. До появления на свет окаянного пасквиля оставалось шестнадцать дней.

На другой день после встречи с однокашниками Александр Сергеевич пишет отцу: «Лев поступил на службу и просит у меня денег; но я не в состоянии содержать всех; я сам в очень расстроенных обстоятельствах, обременен многочисленной семьей, содержу ее своим трудом и не смею заглядывать в будущее. Павлищев упрекает меня за то, что я трачу деньги, хотя я не живу ни на чей счет и не обязан отчетом никому, кроме моих детей. Он утверждает, что они все равно будут богаче, чем его сын; этого я не знаю, но не могу и не хочу быть щедрым за их счет.

Я рассчитывал побывать в „Михайловском“ — и не мог. Это расстроит мои дела по меньше мере еще на год. В деревне я бы много работал; здесь я ничего не делаю, а только исхожу желчью»⁷⁶.

Утром 4 ноября 1836 года на набережной Мойки, 12 в квартире Пушкина появился письмоносец городской почты, доставивший анонимный пасквиль. Приведем его текст в переводе с французского:

Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры Светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом капитуле под председательством достопочтенного Великого магистра Ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали господина Александра Сергеевича Пушкина коадьютором Великого магистра Ордена рогоносцев и историографом Ордена.

Непременный секретарь граф Борх⁷⁷.

Тотчас по прочтении пасквиля произошло объяснение Александра Сергеевича с женой⁷⁸. Наталья Николаевна «рассказала о преследованиях, которым она подвергалась

⁷⁵ См.: Летопись. Т. 4. С. 515.

⁷⁶ Пушкин А. С. Письма последних лет. С. 157.

⁷⁷ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. М., 1987. С. 368, далее ссылки только на это издание. Кoadьютор — в католической церкви помощник епископа, впавшего в физическую или духовную дряхлость. Супруга Д. Л. Нарышкина была многолетней любовницей Александра I. Об Иосифе Борхе см.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 378. Его жена жила с кучером, а он с фореитором (А. С. Пушкин); см.: Щеголев П. Е. Пушкин и Николай I. Последнее свидание в 1836 году // Из жизни и творчества Пушкина. Т. 2. М.; Л., 1931. С. 141. В пасквиле нет ни слова ни о Дантесе, ни о Наталье Николаевне. Возможно, Пушкин не получил пасквиля, а ознакомился с его содержанием по полученному Е. М. Хитрову. Получение Пушкиным пакета нигде не зафиксировано, кроме неотправленного письма А. Х. Бенкендорфу (см. ниже). Но из него не следует, что один из трех пасквилей, указанных в письме, получен Пушкиным по почте. Подробнее об анонимном пасквиле и поисках анонима см., например: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 368—435; Поляков А. С. О смерти Пушкина (по новым материалам). Пг., 1922; Абрамович С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина. С. 34—80; Огонек. 1987. С. 20—21; Лурье Ф. М. Пушкинист поневоле: Дела и дни П. Е. Щеголева. СПб., 2017. С. 147—217.

⁷⁸ См.: Цявловская Т. Г. Неизвестные письма к Пушкину — от Е. М. Хитрову // Прометей. Т. 10. М., 1974. С. 257. Содержание пасквиля Пушкин узнал из присланного ему Е. М. Хитрову, затем пасквиль принес ему Соллогуб, и уж потом его экземпляр доставила городская почта. По прочтении какого экземпляра произошло объяснение с женой, мы не знаем, наверное — Хитрову.

в последние недели, показала мужу письма Дантеса к ней и, возможно Геккерена»⁷⁹. Вечером по городской почте Александр Сергеевич отправил Дантесу вызов⁸⁰. Поводом послужил не «диплом рогоносца», а откровения Натальи Николаевны. Она рассказала о подстроенной 2 ноября И. Г. Полетикой ее встрече с Дантесом. Содержание признания Натальи Николаевны мужу мы можем почерпнуть из записанной П. И. Бартеневым беседы с княгиней В. Ф. Вяземской. К ней жена Александра Сергеевича приехала, выбравшись из дома Полетики, «вся впопыхах и с негодованием рассказала, как ей удалось избежать настойчивого преследования Дантеса: „Мадам N (И. Г. Полетика. — Ф. Л.) по настоянию Геккерена (Жорж Дантес. — Ф. Л.) пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому“. Пушкина рассказала княгине Вяземской и мужу, что, когда она осталась с глазу на глаз с Геккерном (Жорж Дантес. — Ф. Л.), тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. К счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки явилась в комнату, и гостя бросилась к ней»⁸¹. Александр Сергеевич, потрясенный рассказом жены, не колеблясь, встал на ее защиту. По прочтении пасквиля он «пришел к заключению, что анонимный пасквиль был мстью Дантеса Наталье Николаевне»⁸².

Наш добросовестный император Николай Павлович желал знать все, что происходило на территории его необъятной империи. Он требовал, чтобы ему докладывали о подвыпившем мужичке, замерзшем под забором в уездном городе Восточной Сибири (читайте отчеты Министерства внутренних дел). Так управлял Николай I империей. Попробуйте не доложить ему вовремя о творящемся у него под носом... Превосходно обо всем осведомленный, он знал и о содержании подлого пасквиля, и о вызовах, отправленных Пушкиным Дантесу, затем Геккерну, мог многое предупредить, предотвратить. Не предотвратил. Злого умысла в этом не было.

По свидетельству дочери Николая I великой княжны Ольги Николаевны, император потребовал найти пасквилянта:

«Воздух был заряжен грозой. Ходили анонимные письма, обвиняющие красавицу Пушкину, жену поэта, в том, что она позволяет Дантесу ухаживать за ней. Негритянская кровь Пушкина вскипела. Папá, который проявлял к нему интерес, как к славе России, и желал добра его жене, столь же доброй, как и красивой, приложил все усилия к тому, чтобы его успокоить. Бенкендорфу было поручено предпринять поиски автора писем»⁸³.

Даже при умеренном усердии чиновников III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии можно было отыскать мелочную лавку («приемное место» городской почты) по ее номеру «58», написанному приемщиком на внешних конвертах пасквиля. Мы это видим на сохранившемся внешнем конверте пасквиля, полученного графом Мих. Ю. Виельгорским. «Сиделец» в лавке получал для отправки примерно 2—4 «закрытки» (пакета) в день и вполне мог запомнить отправителя или посыльного⁸⁴. Случалось, жандармы бегали по «приемным местам», подобрав полы шинелей, и находили отправителей⁸⁵. Но для этого требовалось особое распоряжение высокого начальства. Вероятно, Бенкендорф не проявил ожидаемую подчиненными жесткость, отдавая это распоряжение. Для этого требовалось хотя бы не ненави-

⁷⁹ Летопись. Т. 4. С. 524.

⁸⁰ См.: Там же. С. 524.

⁸¹ Цит. по: Витале С., Старк В. Черная речка. До и после — к истории дуэли Пушкина. С. 164.

⁸² Абрамович С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина. С. 69.

⁸³ Временник Пушкинской комиссии. 1970. Л., 1972. С. 26.

⁸⁴ См.: Быт пушкинского Петербурга. Опыт энциклопедического словаря. П—Я. СПб., 2005.

⁸⁵ См.: Огонек. 1987. № 6. С. 20.

деть Пушкина. Приемное место № 58 находилось в Коломне, рядом с Покровской площадью на углу Английского проспекта и Прядильной улицы (ныне ул. Лабутина). Сегодня примерно на этом же месте располагается отделение связи № 8.

5 ноября у Пушкина появился Геккерн и попросил отсрочку дуэли на 24 часа. «Отец» и «сын» понимали, что дуэль поставит крест на их карьерах и в лучшем случае им предстоит позорный отъезд из России. Почему же они о таком развитии событий не подумали раньше?

Утром 6 ноября, не зная, как будут развиваться события, понимая, что в пасквиле читается намек на близость его жены с императором, Пушкин отправил министру финансов Канкрину письмо, в котором сообщает о желании немедленно полностью расчитаться с казной. В сложившейся ситуации он не желал быть должен императору. «Честь, — пишет П. А. Плетнев, — можно сказать рыцарская, была основанием его поступков. — И он не отступал от своих понятий ни одного разу в жизни при всех искушениях и переменах судьбы своей»⁸⁶. Его долг — 45 000 рублей, из них 25 000 — из тех 30 000, которые он получил осенью 1835 года, то есть те, что он выпрашивал в счет жалованья историографа (5000 уже им погашены). За 45 000 Пушкин предложил купить у него часть деревни Кистенево. Через две недели был получен отказ⁸⁷. Опять финансы не принесли ему хотя бы частичного успокоения.

В тот же день, около полудня к Пушкину явился Геккерн и попросил отсрочки дуэли на две недели. Александр Сергеевич согласился. С получения вызова все действия Дантеса и Геккерна направлены на предотвращение дуэли. Вслед за Геккерном пришел Жуковский, осведомленный Натальей Николаевной о случившемся. На другой день он посетил Геккерна и узнал от него, что, оказывается, Дантес давно и страстно влюблен в Екатерину, сестру Натальи Николаевны. Обрадованный услышанным, Василий Андреевич едет к Пушкину. Пушкин пришел в ярость, полагая, что это выдумка, направленная на отказ от дуэли.

8 ноября Жуковский у Е. И. Загряжской встретился с Геккерном. Барон повторил намерение «сына» жениться на Екатерине. 9 ноября Жуковский встретился с Геккерном и «сыном». «Отец» вручил ему письмо с просьбой о посредничестве при разговоре Пушкина с Дантесом. Пушкин с возмущением отказался от встречи с противником.

Жизнь Пушкина запечатлена не только в его творчестве, письмах, документах, но и в свидетельствах очевидцев во все периоды: московский младенец, легкомысленный лицеист, петербургский свободолюбец, необузданный ссыльный в южных краях, тоскующий затворник на псковской земле, счастливый глава семейства, драматург и главное действующее лицо драмы последних лет жизни. Всюду он разный и один и тот же. В 1833—1837 годах Александр Сергеевич предстает человеком долга, чести, собственного достоинства. Пожалуй, один Достоевский мог бы описать жизнь Пушкина последних лет.

10 ноября Жуковский, отказавшись от посредничества, говорил с Пушкиным, результаты неизвестны. Позже Александр Сергеевич объяснил А. Н. Гончаровой, что сватовство Дантеса предпринято с целью избежать дуэли, а брак не состоится. Жуковский мечется между Пушкиным, Геккерном и Загряжской. Геккерн и Дантес устремились срочно получать массу документов, разрешавших этот брак и венчание в православной и католической церквях, включая согласие императора.

14 ноября Геккерн в доме Е. И. Загряжской официально сообщил о предстоящем бракосочетании Дантеса с Е. Н. Гончаровой: «Пушкин ввиду этого просит рассматривать его вызов как не имевший места»⁸⁸. Поспешное сватовство, помолвка и венчание

⁸⁶ Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 287.

⁸⁷ Пушкин А. С. Письма последних лет. С. 159, 333.

⁸⁸ Летопись. Т. 4. С. 531.

взбудоражили Петербург. Ничего подобного никто, даже самые близкие не ожидали. С. Витале и В. Старк объясняют произошедшее добрачным зачатием ребенка Е. Гончаровой⁸⁹. Нидерландский филолог Ф. Сауассо пишет: «В некоторых документах делаются намеки на гомосексуальную связь Геккерна с Дантесом. Отдельные замечания в документах из Архива Высшего совета дворянства дали мне повод более внимательно рассмотреть высказанную Гроссманом еще в 1929 году гипотезу о том, что Екатерина Гончарова была беременна еще до своей помолвки с Дантесом. В результате я убедился в том, что Гроссман был прав»⁹⁰. Вторая редакция статьи Л. П. Гроссмана надежно подтверждает его предположение⁹¹. Судя по сохранившимся документам, роман Е. Н. Гончаровой с Дантесом вспыхнул не позже августа 1836 года.

По мнению этих авторов, вызов на дуэль и сватовство являются совпадением. Как же красноречиво происшедшее опровергает страстную любовь Дантеса к Наталье Николаевне! С чего бы карьерист воспылал страстью, если она явно угрожает карьере?

16 ноября секретарь французского посольства, секундант Дантеса О. д'Аршиак привез Пушкину письмо Дантеса с просьбой «объяснить ему лично, почему он изменил свое намерение относительно дуэли». По прочтении письма возмущенный Пушкин объявил д'Аршиаку, что завтра пришлет своего секунданта графа В. А. Соллогуба. На другой день благодаря стараниям секундантов Пушкин писал Соллогубу:

Я не колеблюсь написать то, что могу заявить словесно. Я вызвал г-на Ж. Геккерна на дуэль, и он принял вызов, не входя ни в какие объяснения. И я же прошу теперь господ свидетелей этого дела сообразоваться рассматривать этот вызов как не имевший места, узнав из толков в обществе, что г-н Жорж Геккерн решил объявить о своем намерении жениться на мадемуазель Гончаровой после дуэли. У меня нет никаких оснований приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека.

Прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом так, как вы сочтете уместным. Примите уверение в моем совершенном уважении.

А. Пушкин.

17 ноября 1836⁹².

Письмо показали Дантесу. Прочитав его, он обратился к Соллогубу: «Ступайте к Пушкину и поблагодарите его, что согласен окончить нашу ссору. Я надеюсь, что мы будем видаться как братья»⁹³. На слова Дантеса, переданные Соллогубом, Александр Сергеевич ответил: «Никогда между домом Пушкина и Дантеса ничего общего быть не может»⁹⁴. Ни Геккерн, ни Дантес не собирались раздражать, возмущать, огорчать Пушкина, они хотели с ним дружить, не понимая, что для него это противоестественно, они не понимали, что у них нет ничего с ним общего, столкнувшие их обстоятельства так сложились. Просьба Дантеса, предложение дружить, быть братьями не бесить Александра Сергеевича не могли.

Лица, принадлежавшие к светскому обществу, куда по происхождению и занимаемому положению входил Пушкин, жили в строгом соответствии со сложившимися традициями и правилами, предусматривавшими обязательное участие во всех мероприятиях, устраиваемых двором. А они требовали различных трат, лишавших Алексан-

⁸⁹ См.: Витале С., Старк В. Черная речка. С. 221–223.

⁹⁰ Там же. С. 212.

⁹¹ Гроссман Л. П. Женитьба Дантеса // Цех пера. Статьи о литературе. М., 1930.

⁹² Пушкин А. С. Письма последних лет. С. 161.

⁹³ Соллогуб В. А. Воспоминания. М.; Л., 1931. С. 364.

⁹⁴ См.: Пушкин А. С. Письма последних лет. С. 161, 335; Летопись. Т. 4. С. 535.

дра Сергеевича возможности нормального содержания семьи и занятий литературным трудом. Попытки изменить навязанное ему положение улучшения не давали. Накапливались раздражение и ярость неудач. От перенасыщения унижениями просить помощи у монарха он больше не желал. Зрела неизбежность разрядки. Не будь Дантеса, Геккерна, пасквиля, что бы изменилось? Произошла бы другая дуэльная история, другая встряска. Смириться с той жизнью он не мог. У нее отсутствовало будущее. Сосуществование не получилось. Это главная причина происшедшего. Пушкин идти под пули не стремился, но и оставаться в той жизни он не мог.

Начиная с получения пасквиля и до его кончины родные, друзья, самые близкие ему лица не понимали, отчего он мрачен, нервен, зол. А он знал, понимал, видел больше других, его раньше других посещало предчувствие. Он был не такой, как они. Он с рождения понимал и чувствовал, чего не ведали они близ смертного одра. Не случайно его юношеские стихи недостижимы даже для больших поэтов. Попробуйте в них что-нибудь хоть чуть-чуть изменить, исправить. Не получится! Не огорчайтесь, он — гений. 25 апреля 1818 года П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу о только что окончившим лицей Пушкине, племяннике поэта В. Л. Пушкина:

«Стихи чертенка-племянника чудесно хороши. *В дыму столетий!* Это выражение — город. Я все отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестия! Надобно нам посадить его в желтый дом: не то этот бешеный сорванец всех нас засадит, нас и отцов наших»⁹⁵. Предполагаю, что Вяземский всю жизнь завидовал Пушкину. Он не делал ему гадостей. Но когда Александр Сергеевич особенно нуждался в сочувствии и поддержке, Петр Андреевич упражнялся в небезобидном остроумии.

Пушкин многое скрывал от самых близких, а они не могли понять, отчего он так себя ведет. Даже Вяземский, почти такого же ума. Умные, воспитанные Карамзины поняли, что с ним происходило, лишь после дуэли. Поэтому среди них, любивших его, он страдал от одиночества. Он не мог и не должен был говорить даже самым близким о том, как вел себя Дантес 2 ноября 1836 года у Полетики. При идеальном поведении Натальи Николаевны тень от этого грязного события ложилась и на нее. Вообразите, что чувствовал Пушкин, узнав о подстроенном свидании у Полетики. Что чувствовал он, видя, как Дантес продолжает увиваться вокруг его жены после помолвки с Е. Н. Гончаровой и их венчания. А еще хочет с ним дружить. Попробуйте встать на его место. Он терпел куда дольше, чем на его месте терпели бы другие. 12 марта 1837 года самый верный и преданный друг Александра Сергеевича В. А. Жуковский писал И. И. Дмитриеву: «Жизнь Пушкина была мучительная, — тем более мучительная, что причины страданий были все мелкие и внутренние, для всех тайные»⁹⁶.

Жуковский всегда понимал Пушкина, всегда устремлявшегося ему помочь. Не случайно Наталья Николаевна 5 ноября отправилась к нему за помощью в Царское Село, а он тотчас примчался в Петербург, метался и предотвратил дуэль после первого вызова 4 ноября. Не допустил вспышки при следующем обострении отношений, не смог предотвратить и ликвидировать последнюю катастрофическую ситуацию. Ни домашние, ни кто другой не сообщил ему о картеле, посланной Пушкиным Геккерну, они ничего не знали. Наталья Николаевна любила мужа, переживала за него, страдала вместе с ним, но поставить на место Дантеса она не могла, вряд ли не хотела, не могла.

17 ноября Е. И. Загряжская пишет Жуковскому: «Слава богу, кажется все кончено. Жених и почтенный его Батюшка были у меня с предложением. К большому счастью за четверть часа перед ними приехал из Москвы старший Гончаров и объявил им Родительское согласие, и так, все концы в воду... Теперь позвольте мне от всего моего серд-

⁹⁵ Цит. по: Вересаев В. В. Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. СПб., 2017. С. 107.

⁹⁶ Цит. по: Вересаев В. В. Пушкин в жизни. Т. 2. С. 343.

ца принести вам мою благодарность и простите все мучения, которые вы претерпели во все сие бурное время...»⁹⁷ Что означают «слава богу, все кончено», «к большому счастью», «все концы в воду»? О расстройстве одной лишь дуэли выразились бы иначе, письмо было бы иным. Не есть ли это еще одно подтверждение добрачной беременности невесты? О ней обязательно должна была знать ее тетка — покровительница. С ней прежде других обо всем советовалась Е. Н. Гончарова. Наиболее надежным доверенным лицом Загряжская могла избрать Жуковского, принявшего деятельное участие в сватовстве Дантеса. Если Екатерина забеременела в конце лета 1836 года, то многое становится яснее, например, публичные припадки истерического восторга невесты во время сватовства и не вполне приличная торопливость ее родни во время сватовства и венчания. Это смущало многих. Известно свидетельство К. О. Россета о письме Дантеса с просьбой руки Екатерины, полученного Пушкиным 4 ноября 1836 года, почти одновременно с пасквилем. Настораживающее совпадение. Услышав текст письма, Екатерина «бросила салфетку и побежала к себе»⁹⁸. Почему-то этот эпизод отсутствует в «Летописи жизни и творчества Пушкина», но есть в изданиях Пушкинского Дома? Только страдавшая в неопределенности могла так реагировать на наконец-то состоявшееся сватовство.

Все невзгоды, происходившие с Александром Сергеевичем, все невзгоды, происходившие с ним и вблизи него, накладывались на постоянно нараставшее раздражение, ни на минуту не покидавшее его. Причиной этого дополнительного раздражения был Дантес, его существование, все его поступки, все, что он делал. Куда бы Пушкины ни являлись — везде наталкивались на него. И что поразительно — Дантес не понимал, отчего он так раздражает Пушкина: все разрешилось, его жена — свояченица Александра Сергеевича, они родственники. Отчего бы не дружить? Отчего бы не продолжать флиртовать с его женой?

17 ноября Пушкин сообщил секундантам, что просит их рассматривать вызов, посланный им Дантесу 4 ноября «как не имевший места». В тот же день Александр Сергеевич сел писать два весьма важных письма. Бенкендорфа он ставил в известность о том, что произошло. Письмо Геккерну содержит такие резкие выражения, что об отмене или переносе дуэли не может быть и речи. Что же произошло?

Пушкин полагал, что Дантес достаточно наказан: вынудил жениться на совсем непривлекательной Екатерине Гончаровой (1809—1843), засидевшейся бесприданнице, и тем самым выставил его трусом, таким гнусным способом улизнувшим от дуэли.

Теперь настала очередь «отца», интригана и негодяя. Но «Летопись жизни и творчества Пушкина» свидетельствует: «Ноябрь. 17... 21. В светских толках и пересудах помолвка Дантеса с Е. Н. Гончаровой связывается с каким-то скандалом в семье Пушкина, в результате которого Дантес ради спасения чести любимой женщины вынужден был просить руки ее сестры. Направляемая Геккерном-старшим и поддерживаемая в близких ему кругах версия о том, что Дантес „пожертвовал собою“, становится общераспространенной»⁹⁹. Пушкина бесило рыцарское толкование женитьбы Дантеса.

Приведем письмо А. Х. Бенкендорфу:

Граф!

Считаю себя вправе и даже обязанным сообщить вашему сиятельству о том, что недавно произошло в моем семействе. Утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены. По виду

⁹⁷ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 96.

⁹⁸ См.: Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 348, 566.

⁹⁹ Летопись жизни и творчества Пушкина. Т. 4. С. 536.

бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата. Я занялся розысками. Я узнал, что семь или восемь человек получили в один и тот же день по экземпляру того же письма, запечатанного и адресованного на мое имя под двойным конвертом. Большинство лиц, получивших письма, подозревая гнусность, их ко мне не переслали.

В общем, все были возмущены таким подлым и беспричинным оскорблением; но, твердя, что поведение моей жены было безупречно, говорили, что поводом к этой низости было настойчивое ухаживание за нею г-на Дантеса.

Мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил сказать это г-ну Дантесу. Барон Геккерн приехал ко мне и принял вызов от имени г-на Дантеса, прося у меня отсрочки на две недели.

Оказывается, что в этот промежуток времени г-н Дантес влюбился в мою свояченицу, мадемуазель Гончарову, и сделал ей предложение. Узнав об этом из толков в обществе, я поручил просить г-да д'Аршиака (секунданта г-на Дантеса), чтобы мой вызов рассматривался как не имевший места. Тем временем я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна, о чем считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества.

Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю.

Во всяком случае надеюсь, граф, что это письмо служит доказательством уважения и доверия, которые я к вам питаю.

С этими чувствами имею честь быть, граф, ваш нижайший и покорнейший слуга А. Пушкин.

21 ноября 1836¹⁰⁰.

Письмо Геккерну приведем позже. Вечером 21 ноября на Мойке в квартире Пушкина появился начинающий литератор граф В. А. Соллогуб (1813—1882), секундант Александра Сергеевича. Вот что он пишет об этом визите:

«Он (А. С. Пушкин. — Ф. Л.) запер дверь [кабинета] и сказал: „Я прочитаю вам мое письмо ко старику Геккерну. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте“.

Тут он прочитал мне всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я промолчал невольно, и так как это было в субботу (приемный день кн. Одоевского), то поехал к кн. Одоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма. Действительно, это ему удалось: через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил, и письмо послано не будет»¹⁰¹.

На другой день Василию Андреевичу удалось говорить с Николаем I о пасквиле, вызове, неожиданной помолвке и отказе от вызова. Опасаясь нового вызова, Жуковский просил вмешательства самого императора. Узнав о назначенной монархом ему встрече, Александр Сергеевич решил подготовленных 17—21 ноября писем пока не отправлять. Письмо Геккерну он использует позже в качестве черновика.

О приглашении Пушкина 23 ноября 1836 года в царский кабинет Аничкова дворца стало известно лишь в 1928 году из публикации П. Е. Щеголева¹⁰². Павел Елисеевич

¹⁰⁰ Пушкин А. С. Письма последних лет. С. 165.

¹⁰¹ Соллогуб В. А. Воспоминания. С. 370.

¹⁰² Щеголев П. Е. Царь, жандарм и поэт. Новое о дуэли Пушкина // Огонек. 1928. № 24 (272). С. 4—5.

тщательнейше изучил записи Камер-фурьерского журнала и «извлек все самые малейшие данные, которые могли бы иметь касательство к Пушкину»¹⁰³. Приведем обнаруженный Щеголевым текст:

«1836 г. Месяц Ноябрь. Присутствие их величеств в собственном дворце. Понедельник. 23-го. С 6-ти часов его величество принимал с докладом военного министра Царства Польского ген.-адъютанта графа Грабовского, действительного статского советника Туркуля, статс-секретаря Лонгинова, министра высочайшего двора князя Волконского и генерал-адъютанта Киселева. За сими с рапортом военного генерал-губернатора графа Эссена, коменданта Мартынова и обер-полицеймейстера Кокошкина.

10 минут 2-го часа его величество одни в санях выезд имел прогуливаться по городу и возвратился в 3 часа во дворец.

По возвращении его величество принимал генерал-адъютанта графа Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина»¹⁰⁴.

Ни Жуковский, никто из друзей Пушкина, никто из близких к трону лиц о важнейшем разговоре императора с поэтом воспоминаний не оставил. Объяснить это можно лишь тем, что встреча Николая I с Пушкиным приятной ни для поэта, ни для царя не была.

Располагая сведениями, содержащимися в документах, найденных после кончины Щеголева, проанализировав тексты воспоминаний П. А. Вяземского¹⁰⁵ и В. А. Соллогуба¹⁰⁶, записанные П. И. Бартеневым и Е. Н. Вревской¹⁰⁷, записанные М. И. Семевским, а также писем Е. А. Карамзиной¹⁰⁸ и С. А. Бобринской¹⁰⁹, С. Л. Абрамович воссоздала наиболее достоверную картину событий, происшедших 22 и 23 ноября 1836 года¹¹⁰.

Император «заверил Пушкина, что репутация Натальи Николаевны безупречна в его глазах и в мнении общества и, следовательно, никакого серьезного повода для вызова не существует». [Предполагаю, что о подстроенном свидании 2 ноября 1836 речи не шло. — *Ф. Л.*] Александр Сергеевич дал слово не доводить дело до дуэли и обо всем извещать императора¹¹¹. Одним из подтверждений этому служит ставшая теперь понятной фраза умирающего Пушкина, сказанная лейб-медику императора Н. Ф. Арендту: «Попросите государя, чтобы он меня простил»¹¹².

После разговора с Пушкиным или вслед за венчанием Дантеса 10 января 1837 года император мог распорядиться перевести его служить на Кавказ, китайскую границу, в царство Польское, много куда. Лишь тогда эта часть тоски, тревоги, раздражения покинула бы Александра Сергеевича. Николай I назначил соглядата, докладывавшего ему обо всем касавшемся кавалергарда Дантеса¹¹³. Александр Христофорович Бенкендорф внимательно наблюдал за действиями императора и по ним выносил суждения о его истинном отношении к той или иной персоне. Больше месяца Пушкин не видел Дантеса, увидел и тотчас помрачнел. 11 января 1837 года на другой день после венчания Дантес с женой приехали к Пушкиным со свадебным визитом. Александр Сергеевич их не принял. 14 января на обеде у графа Г. А. Строганова Геккерт подошел

¹⁰³ Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.; Л., 1931. С. 144.

¹⁰⁴ Там же. С. 144—145. Камер-фурьерский журнал, заведенный Петром I во время первого Азовского похода, фиксировал практически все, что происходило с русским сувереном и вблизи него.

¹⁰⁵ См.: Русский архив. 1888. № 7. С. 305; 1902. № 10. С. 235.

¹⁰⁶ См.: Русский архив. 1865. № 5—6. С. 765.

¹⁰⁷ См.: Русский вестник. 1869. № 11. С. 90—91.

¹⁰⁸ См.: Пушкин в письмах Карамзиных С. 170.

¹⁰⁹ См.: Прометей. Т. 10. С. 266—269.

¹¹⁰ Абрамович С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина. С. 133—141.

¹¹¹ Там же. С. 140—141.

¹¹² Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 146.

¹¹³ См.: Яшин М. Хроника преддуэльных дней // Звезда. 1963. № 9. С. 171.

к Пушкину с попыткой примирения. Пушкин категорически отказался от каких бы то ни было отношений с семейством Дантесов—Геккернов. Вскоре Дантес возобновил публичную демонстрацию «увлечения женой поэта и, компрометируя ее в глазах света»¹¹⁴. 23 января на балу у графа И. И. Воронцова-Дашкова Дантес в присутствии значительного числа гостей говорил «остроты», оскорблявшие собственную жену и Н. Н. Пушкину. Д. Ф. Фикельмон пишет: «Наконец, на одном балу он так скомпрометировал мадам Пушкину своими взглядами и двусмысленными речами, что все ужаснулись, и тогда Пушкин принял окончательное решение. Чаша переполнилась, теперь уже не было никакой возможности предотвратить несчастье!»¹¹⁵

25 января к Пушкину приезжал Геккерн, произошла ссора на лестнице, дальше его не пустили. Наверное, у читателя давно сложилось впечатление, будто Дантес и Геккерн умышленно раздражают Александра Сергеевича. Ничего подобного, им скандал грозил карьерой в России, меньше всего им хотелось Россию покидать. Умысла не было, были глупость, непонимание, фантастическая бестактность. За две недели до отъезда из России утративший самообладание Геккерн пишет оправдательное письмо русскому министру иностранных дел графу К. В. Нессельроде, в нем имеется следующий опус:

«Наконец, мне скажут, что я должен был использовать свою власть над сыном. И снова неопровержимый ответ могла бы предоставить госпожа Пушкина, воспроизведя письмо, которое я потребовал от сына, письмо ей адресованное, которым он объявлял, что не имеет больше на нее претензий. Вручителем сего письма был я сам и передал его в собственные руки. Г-жа Пушкина, воспользовалась им, чтобы доказать семье и мужу, что вовсе не забыла свой долг»¹¹⁶.

Упомянутое письмо Дантеса к Наталье Николаевне не сохранилось. Каково было его читать Пушкину? Значит, раньше к его жене претензии были? С. А. Абрамович полагает, что это письмо было передано жене Александра Сергеевича 20—21 ноября 1836 года, твердого обоснования даты не приведено¹¹⁷. Геккерн мог передать письмо на балу 23 января, мог привезти на Мойку 25 января. Или это письмо, или разнузданное поведение Дантеса сделались причиной последнего письма Пушкина к Геккерну. Письмо, написанное и не отправленное 17—21 ноября 1836 года, взято им в качестве основы:

Барон!

Позвольте мне подвести итог тому, что произошло недавно. Поведение вашего сына было мне известно уже давно и не могло быть для меня безразличным. Я довольствовался ролью наблюдателя, готовый вмешаться, когда сочту это своевременным. Случай, который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен, весьма кстати вывел меня из затруднения: я получил анонимные письма. Я увидел, что время пришло, и воспользовался этим. Остальное вы знаете: я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое, быть может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в презрении самом спокойном и отвращении вполне заслуженном.

Я вынужден признать, барон, что ваша собственная роль была не совсем прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему

¹¹⁴ См.: Летопись жизни и творчества Пушкина. Т. 4. С. 572.

¹¹⁵ Фикельмон Д. Ф. Дневник. С. 357.

¹¹⁶ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы // Пушкин и его современники. Вып. XV—XVII. Пг., 1916. С. 185—186. Перевод с французского Е. П. Чебучевой.

¹¹⁷ Абрамович С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина. С. 125—126.

сыну. По-видимому, всем его поведением (впрочем, в достаточной степени неловким) руководили вы. Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и глупости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына.

Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела какие бы то ни было сношения с вашей. Только на этом условии согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение. Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой и — еще того менее — чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто трус и подлец. Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проишкам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь.

Имею честь быть, барон, ваш нижайший и покорнейший слуга.

Александр Пушкин.

26 января 1837¹¹⁸.

11 февраля 1837 года Геккерн пишет голландскому министру иностранных дел барону Ж.-Ж. Верстолку ван Сулену о дуэльной истории, жизни его семьи после венчания 10 января и письме Пушкина от 26 января. Приведем извлечение из этого письма:

«Мы в семье наслаждались полным счастьем; мы жили, облаканные любовью и уважением всего общества, которое наперерыв старалось осыпать нас многочисленными тому доказательствами. Но мы старательно избегали посещать дом господина Пушкина, так как его мрачный и мстительный характер нам был слишком знаком. С той или другой стороны отношения ограничивались лишь поклонами.

Не знаю, чему следует приписать нижеследующее обстоятельство: необъяснимой ли ко всему свету вообще и ко мне в частности зависти, или какому-либо другому неведомому побуждению, — но только прошлый вторник (сегодня у нас суббота), в ту минуту, когда мы собирались на обед к графу Строганову, без всякой видимой причины, я получаю письмо от господина Пушкина. Мое перо отказывается воспроизвести все отвратительные оскорбления, которыми наполнено было это подлое письмо.

Все же я готов представить вашему превосходительству копию с него, если вы потребуете, но на сегодня разрешите ограничиться только уверением, что самые презренные эпитеты были в нем даны моему сыну, что доброе имя его достойной матери, давно умершей, было попорчено, что моя честь и мое поведение были оклеветаны самым гнусным образом»¹¹⁹.

Не удивляйтесь, голландского посланника при русском дворе барона Геккерна не раз уличали во лжи.

Вторую половину дня 26 января и другой день до начала дуэли видевшие Пушкина обратили внимание на то, что он бодр и весел. 27 января у Черной речки близ Комендантской дачи около пяти часов пополудни произошла эта проклятая дуэль. Бенкендорф знал, как надо действовать, когда потребовалось предотвратить ту роковую дуэль. Он послал жандармов не на Черную речку, а в Екатерингоф¹²⁰. Ему даже оправдываться не понадобилось.

¹¹⁸ Пушкин А. С. Письма последних лет. С. 183—184.

¹¹⁹ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 273.

¹²⁰ См.: Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 399.

Первым к барьеру подошел Пушкин и начал целиться. Дантес, не доходя до барьера одного шага, выстрелил.

Около шести часов вечера смертельно раненного Александра Сергеевича привезли домой. Ни на минуту не теряя самообладания, окруженный близкими, страдая от сильнейшей боли и понимая, что с ним происходит, 29 января 1837 года в 2 часа 45 минут пополудни Пушкин скончался. Около постели умирающего все эти скорбные дни провела Екатерина Александровна Долгорукова (1811—1872), дочь А. Ф. Малиновского, директора Архива Министерства иностранных дел и племянница первого директора Царскосельского лицея. Ф. Г. Толь записал кусочки ее воспоминаний: «Пушкин, умирая, просил княгиню Долгорукову съездить к Дантесу и сказать ему, что он простил ему. — „Moi aussi je lui pardonne (Я тоже ему прощаю)!“ — нахально ответил он»¹²¹.

Помните, когда Дантеса после экзамена произвели в офицеры, Пушкин в дневнике записал: «Гвардия ропщет!» Никто из офицеров не вызвал этого мерзавца на дуэль.

¹²¹ Декабристы на поселении (Из архива Якушкина). М., 1926. С. 135.



ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

МЫСЛЬ СЕМЕЙНАЯ-2023

Роман, авторское определение смысла которого вынесено в наш заголовок и прямо упоминается в одной из рецензий, — одна из самых популярных книг мировой литературы. Толстой писал конкретную историю: героиня, Анна, бросается под поезд, а не в реку, как полтора десятилетиями раньше ее несчастная предшественница Катерина; один герой строит отношения с крестьянами после крестьянской реформы, второй уходит на русско-турецкую войну. Но он всегда, с первой фразы (все... каждая) искал общий смысл.

Книги, посвященные современным вариациям мысли семейной, стали предметом рецензий очередного курса студентов-магистров СПбГУ по специальности «Критика и литературное редактирование». Они же, что важно, и предложили эту тему.

Итог разборов неожиданно предсказуем. Практически все авторы-женщины (исключение — лишь Евгений Алехин) пишут не о всех счастливых, а о каждой несчастной. Но ведь пишут, заново переживают прежние травмы и обиды, хотят быть услышанными. Значит, есть надежда.

Игорь СУХИХ

«СОЗДАТЬ НОВЫЙ ДОКУМЕНТ»

Евгений Алехин. Луноход-1. — М.: Прорубь, 2023. — 146 с.

Детская память как лоскутное одеяло — состоит из маленьких разноцветных куточков, сшитых друг с другом крупными стежками. Каждое воспоминание примыкает к другим со всех сторон и само тоже окружено такими же яркими вырезками. Это одеяло мягкое и теплое, оно соткано близкими людьми. Самые красивые элементы обычно пришивает мама, папа берется за более плотные ткани с геометрическим рисунком, а у сестры или брата лоскутки получаются с кривыми краями, потому что они еще тоже дети и пока не знают, что ткнут одеяло. Каждая семья, что называется, шьет по-своему.

Уголками своего лоскутного одеяла Алехин поддразнивал читателя уже давно. Сцены из детства были во многих его романах и повестях (которые, безусловно, предельно автобиографичны), но всегда будто вскользь, с некоторой неловкостью. «Луноход-1» — первый текст автора, полностью посвященный детству. Луноход-1 — первый в истории самоходный аппарат для исследования других планет.

Главный герой произведения — маленький Женя, он же Евгеша, Енечка. Вдумчивый, стеснительный, чувствительный ребенок, однако автор не отправляет его в одиночку бороздить инопланетный грунт. Еще в начале текста повзрослевший Женя (назовем его Евгений) сразу обозначает свое присутствие, описывая рабочий стол компьютера, на котором вот-вот начнется работа над повестью. Итак, Евгений включает компьютер и начинает описывать «первые шаги из вечности к мирскому» маленького Жени.

Эта деталь вскрывает сразу две важных характеристики текста. Во-первых, перед нами ретроспектива. Детские воспоминания описаны глазами ребенка, но с рефлексией взрослого. Евгений философствует о переломных моментах детства, иронизирует над своей детской наивностью, сомневается в реальности воспоминаний...

Во-вторых, присутствие одновременно двух повествователей проявляет полифонию. Голоса Жени и Евгения звучат поочередно, их можно перепутать, но они никогда не сливаются. «Нажимая на стрелки, передвигая квадратик, пробелом меняя его цвет, мы написали, конечно же, первое кривое „жопа“», — расскажет семилетний Евгеша. «Наверное, жопа — мое тотемное животное», — добавит Евгений с высоты своего жизненного опыта.

Итак, Евгеша родился. Он не сразу идентифицирует себя в новом мире, на протяжении нескольких глав Женя будто смотрит на себя со стороны, а повествование ведется от третьего лица. «Мучительное детсадовское „я“» впервые появляется тогда, когда ребенок ощущает на себе чужой взгляд. Воспитательница Ольга Борисовна показывает рисунок Жени в пример другим детям, а он смущается и не понимает — хвалят его или журят.

Вообще, наивная картина мира, которая как нельзя достоверно отображает внутренний мир ребенка, пронизывает все повествованием трогательным и очаровательным юмором. Евгеше кажется, что в детском саду с названием «Елочка» вместо игрушек на новогодние елки обязательно подвешивают детей. Он уверен, что остатки еды сами собой исчезают в раковине, а за сексуальные фантазии обязательно накажет Бог.

Часто комический эффект возникает из оксюморона, в котором сочетаются и детские проблемы, и взрослые размышления о них. «Мое „ге“, и особенно когда мама говорила „Евгеша“, было признаком слабого человека, которому нет спасения. Мне нужна была лингвистическая опора», — думает четырехлетний ребенок, когда пытается доказать себе, что он действительно мальчик, а не девчонка (ведь голубые глаза и белобрысые волосы так убедительны!). А когда кто-то из детей спрашивает у Жени, верит ли он в Деда Мороза, тому кажется, что подобный вопрос «имеет религиозно-философский смысл». «Я верю в чудо, — размышляет маленький Евгеша, — но отказываюсь верить, что за любым чудом стоит Бог. Я верю в Бога, но свою свободу ставлю выше этой веры. Я должен был верить в Деда Мороза и принимать тот факт, что его образ вселился в случайного дяденьку из подъезда». Эти слова ошибочно можно приписать взрослому Евгению, однако развитие событий доказывает обратное: «Короче говоря, я ответил: — А это кто?»

Женя постепенно познает планету, на которой оказался, и забавных ситуаций тут не избежать. Однако забавные они только для читателя. Для маленького Жени они полны совершенно разных эмоций — от восторга до глубокого сожаления, и даже Евгений относится к ним с полной серьезностью. «Какие-то вещи нужно сперва пережить, чтобы понять», — это Евгений скажет не о разводе родителей или ссорах с сестрой, а о том, как Женя постирал набитый учебниками рюкзак в наполненной ванне.

Изучать мир герою помогает его окружение. Женя очень близок с матерью, он любит ее и лелеет так же, как она его. Отец его менее эмоционален, но тоже очень внима-

телен к сыну. Женя восхищается его любовью к жизни, С обоими родителями у Жени очень сильная связь — но с каждым по отдельности. Он собственным трудом зарабатывает свой жизненный опыт, но осознание своей принадлежности к интеллигенции, predetermined профессиями родителей, далось ему с пеленок: «Мы теперь в подготовительной группе, не полагается так себя вести. Моя мама теперь главная на радио, и я должен соответствовать. Папа — редактор, он живет в Кемерове, и у него тоже несколько людей в подчинении». Родители Жени развелись, однако Женя очень легко переживает эту разлуку, он рад, что у него появились новые (сводные) брат и сестра, что во время каникул с папой можно жить в его новом доме, а не в душной городской квартире...

У Жени есть и родная сестра — надменная и своенравная Ольга. С ней у него особые отношения. Он ее побаивается, но точно знает, что в случае чего она за него заступится. Он обижается на Ольгу, но уважает ее сильный характер. Она же ревнует к брату родителей, иногда избивает ради забавы, но пророчит ему судьбу великого художника (ведь по гороскопу он рак).

Дворовые друзья, одноклассники, соседи по даче — мальчишки-ровесники открывают взрослому Жене тайны «полового воспитания», которые тому кажутся богохульными непристойностями, но такими желанными и манящими.

Религия, кстати, тоже играет большую роль во взрослении Жени. Мать крестила его в семь лет, воспитав в нем уважение к Богу и трепет к его всемогуществу. Отец же, напротив, был атеистом и этого не скрывал. «Он дурак, что с него взять», — скажет мама об отце (а маленький Женя тем временем будет со страхом смотреть на лоб отца, ожидая увидеть на них 666).

Вот, пожалуй, из чего складывается лоскутное одеяло Жени Алехина. Оно не самое яркое и красивое (а могло ли оно таким быть на Кузбассе?), но для героя оно прекрасное. На нем есть мама и папа, тайга и море, школа и детский сад. На нем счастье, страх, удивления и другие эмоции, которые ребенок не может понять, а может только почувствовать. Книга заканчивается смертью матери героя, на этом заканчивается и его детство.

Сама книга тоже будто состоит из лоскутков. Иллюстрации Жени Комельфо, сопровождающие ключевые эпизоды повести, такие же простые и наивные, как и мировосприятие героя. Со всей прямоотой они отображают ту интимность, в которой состоит человек с миром.

При прочтении не раз застанешь себя за размышлениями о том, а что бы я написал в такой повести, из чего сшито мое лоскутное одеяло? Наверное, из тех же комков капусты из борща, смеха Пугачевой в песне «Арлекино», «Денискиных рассказов» и мифов о Геракле, из первого мата — который на губах ощущается слаще, чем первый поцелуй...

Что же есть «Луноход-1»? «Очень нежная, неожиданная от Алехина повесть...» — так сказал мне продавец в книжном. Неожиданная и долгожданная, могу добавить я. В предыдущих текстах герой Алехина всегда был прямолинейным и откровенным, иногда — романтичным и никогда — настолько откровенным. Новая повесть писателя под увеличительным стеклом показала явление детства — «процесс транспортировки до места, восторженные воспоминания об этом сложном пути, в котором ощущался каждый миг».

Дарья ПАНУРОВА

ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Оксана Васякина. Степь. — М.: Новое Литературное Обозрение, 2022. — 232 с.

Совсем недавно ее книги появились на полках книжных магазинов, а сегодня это имя, которое стало известно уже почти каждому. Оксана Васякина. Она ворвалась в современную русскую литературу и сказала в ней новое слово. Свое. Живое. Настоящее.

Бывшая студентка Литературного института им. М. Горького родом из Сибири. Сразу после окончания вуза она выпустила свою первую книгу стихов «Женская проза». Но настоящую славу ей принесли последние три романа, ставшие трилогией. Книги из этой серии входили в шорт- и лонг-листы таких крупных литературных премий, как «Дебют», «Премия Андрея Белого», «Нос», «Большая книга», и были удостоены высокой оценки критиков.

Роман «Степь» стал второй частью трилогии (последняя — роман «Роза» — вышла в этом году), в которой автор рассказывает о своей семье, детстве, сложных взаимоотношениях с отцом, о его смерти и о судьбе всей страны в целом.

Все три книги написаны в известном с конца прошлого века и популярном особенно сейчас жанре автофикшн. Это что-то между нон-фикшном и художественной прозой. Создаются такие произведения на реальной основе. Все события в произведении не выдуманы. Автор не старается «замазывать» имена своих персонажей, не скрывает их под чужими. Здесь все предельно честно, прозрачно, можно даже сказать — откровенно. Для кого-то может показаться, что это слишком личное. Что-то такое, что нельзя выставлять напоказ. И с этим довольно сложно поспорить, однако мы живем во время социальных сетей, где все знают о нас практически всё. Конечно, где-то приходится приукрашивать реальность, иначе читателю будет совсем скучно. Своеобразным фильтром, который изменяет реальные черты, становится взгляд самого автора, который и является героем произведения. Мы смотрим на его жизнь через призму его собственной прозы.

Но такое модное определение жанра не отменяет и того факта, что произведение Васякиной имеет лиро-эпическое происхождение. Это поэма о жизни и о времени, об отце и о себе, о стране и о своем поколении. Подобные поэмы в русской литературе можно пересчитать по пальцам одной руки. Классические образцы из этого ряда: «Мертвые души» Н. Гоголя и «Москва—Петушки» В. Ерофеева. В одном из своих интервью сама Васякина признается, что «„Степь“ — это скорее песня. Это песни степи, там даже есть фраза, что степи нужен язык. Героиня говорит: „Я бы хотела стать языком, который ошупывает все в этом мире“».

Сюжет романа «Степь» представляет собой воспоминания героини, похоронившей отца, ушедшего слишком рано из-за болезни, которую называют «чумой XXI века». В центре произведения — отношения с отцом. Он — свободолюбивый «босяк» («Отец говорил, что Горький был босяком, как все, кто его окружал и как сам отец») с криминальным прошлым, последние годы его жизни обрывает заболевание, ставшее следствием злоупотребления запрещенными веществами и множества беспорядочных половых связей.

Отношения с матерью и другими членами семьи — тоже важная часть романа, однако они отходят здесь на второй план. Самое главное для Васякиной — через такой обнаженный рассказ понять, кем же был ее отец. Ведь без этого понимания она не может найти собственное место в этом мире.

Такой близкий и такой далекий. Родной отец — загадка для собственной дочери, которая уже давно стала взрослой женщиной, но так и не разобралась в самой себе

до самого конца. Именно поэтому ей и нужно вернуться в прошлое и пережить все заново на бумаге, рассказать эту историю нам с вами, чтобы не было возможности отступить.

Об этом говорит сама автор: «Почему я не могу написать о себе?» И сама отвечает на свой же вопрос: «Потому что я — это основа отражающей поверхности зеркала. Металлическое напыление. Можно долго всматриваться в изнаночную сторону зеркала и ничего не увидеть, кроме мелкой поблескивающей пыли. Я отражаю реальность».

Тема «босячества» здесь совсем не случайна. Автор и в то же время героиня романа неоднократно подчеркивает уважительное отношение отца к творчеству Максима Горького: «Он верил, что Горький был честный человек из низов, так оно и было. Горький был до старости нищим внутри себя и не умел обращаться с нажитым. Умел только раздавать. И отец был такой, он не умел жить на деньги. Он умел жить в дороге».

Совершенно естественно, что у босяка не может быть семьи. А если она и есть, то он мало участвует в ее жизни, потому что босяк на то и босяк, чтобы ни к кому и ни к чему не привязываться. Поэтому мы и читаем историю семьи, в которой каждый сам по себе.

Семья существует лишь номинально. Мы видим ее полный распад: «Мой отец был загадочным материком, но мать с отвращением говорила, что я вся в отца. Он казался мне моим братом, другом по несчастью, моим врагом в битве за внимание матери. Он был моим отцом, и, думая о нем, я испытывала горькую тоску по нему. Он был загадочным материком, и в то же время он был темной моей стороной».

Подробнее об отношениях с матерью, которая в «Степи» является для героини совершенно чужим человеком, автор рассказала до этого в своей первой книге «Рана» (2021).

Героиня размышляет о степи: «Степь все забирала и непонятно, куда оно все девалось». Под образом степи здесь можно понять всю Россию, которая растянулась с Запада на Восток. Такая просторная и в то же время равнодушная. Она сама по себе. Ей никто не нужен. Она стоит и будет стоять, несмотря на смену политических режимов и страшные события, которые происходят на ее территории. Мы все в ее власти. Заворожено мы смотрим на нее. Мы — часть ее. Нас забирает время и болезни, а она остается». Так случилось и с отцом героини. Он тоже был ее частью: «Отец любил степь... у отца не было ничего кроме степи, которую он понимал, как свой дом, он степь любил за простор».

Степь — это не просто топоним в романе Васякиной. Это отдельный персонаж. Он объединяет разьединенных героев. Дочь и отец-дальнобойщик едут вдоль степи, завороженно смотрят на нее из окон МАЗа и чувствуют себя охваченными ею.

Героиня признается даже, что всегда говорит со степью. Для нее она живая, хотя древнее море — то, чем она была раньше, — ушло.

Эта трилогия — история о детях, которые расплачиваются за грехи своих родителей, но делают это без осуждения и злости. Это история о нас с вами. И если в свое время Ф. М. Достоевский говорил: «Все мы вышли из гоголевской шинели», то про наше поколение мне хочется сказать: «Все мы вышли из „Степи“ О. Васякиной».

Дети 90-х — это не только представители поколения, которое появилось на свет в переломный момент для страны и всего мира в целом, но и их родители, чья молодость пришлась на это странное время, когда нужно было искать опору, переучивать себя, строить семью и просто жить.

В неблагополучное время дети всегда растут и взрослеют беспризорными. Даже при живых родителях. И это самое страшное. Ребенок наблюдает за своими родите-

лями, за их миром, наполненным неоправданной жестокостью, бесконечной болью и полной растерянностью, и пытается постигнуть тайны этого мира.

Но проблема в том, что кто-то должен в это время не только заботиться об этом ребенке, но и воспитывать его. Вот только этим заниматься совершенно некому, потому что этого ребенка окружают такие же дети в только оболочке взрослых людей.

Роман Оксаны Васякиной — это попытка психологической саморефлексии. Вся книга представляет собой одновременно довольно личный диалог с самой собой и с невидимым читателем, которому она не стесняется рассказать о себе все. Она делится самым сокровенными и не боится быть непонятой или высмеянной. Это особая степень доверия миру и принятия себя.

Мария КИСЕЛЕВА

ПЛЯСКА СМЕРТИ

Марина Кочан. Хорея. — СПб.: Поляндрия, 2023. — 192 с.

«Хорея» — первый роман Марины Кочан, благодаря которому автор попала в список номинантов 2023 года премии «Лицей» в номинации «Проза». Хотя «Хорея» предстала перед читателем только в начале лета 2023 года, идея о написании романа появилась давно. Как рассказывает сама писательница, первые попытки что-то написать были еще восемь лет назад (тогда умер папа Марины Кочан). Тогда, в 2015-м, в самиздате вышел зин «Что я знаю о папе».

Немного позднее Марина Кочан публиковала рассказы: «Совпадение» в антологии рассказов «Одной цепью», посвященной проблемам современных семей (проект издательства «Есть смысл»). Чуть позже в этом же издательстве Марина Кочан напечатала рассказ «Дача „Чернобыль“», вошедший в сборник рассказов «Срок годности». Также в 2022 году был создан сайт-антология «Что я знаю о папе», где опубликованы тексты-воспоминания об отцах. Авторы этих текстов — люди, желающие высказаться о папе. Тема взаимоотношений с отцом, воспоминаний о нем продолжается и в этом романе.

Наверное, первый вопрос, который возникнет в голове у читателя: «Что такое хорея?» Редкое заболевание, которое Марина Кочан сравнивает с танцем, плясками.

Его танец напомнил мне хореографию Пины Бауш. Неловкость, резкость и неуклюжесть, и при этом пластика и своеобразие движений. Его танец как будто имел некую схему, цепь повторений, а повторения часто делают из рутины искусство, если поместить их на сцену.

Именно такая цепь повторений и неуклюжесть движений свойственна лирическому герою стихотворения Дмитрия Озерского «Падал». С цитирования этого текста и начинается роман Марины Кочан.

«Ходил и падал» долгие годы отец автора. Но об истинной причине таких бесконтрольных движений его тела Марина Кочан узнала после смерти отца, будучи беременной. Это усилило ее тревожность: болезнь может быть передана ребенку. Переживания по поводу наследственной болезни, чувство вины перед мужем и ребенком преследуют главную героиню-писательницу (роман — «личный дневник» Марины Кочан, автофикшн, поэтому она и все ее близкие становятся героями книги).

Я винила себя за то, что не загуглила раньше. Не набрала в интернете список симптомов, один за другим. Теперь это казалось проще простого. Я винила себя за не-

вежество. Сознание само подбрасывало мне страшные сюжеты: муж будет ухаживать сначала за мной, а потом и за повзрослевшим ребенком. Если только не бросит нас раньше.

Обозначенная автором проблема поможет читателям романа, столкнувшимся не только с этой болезнью, но и с любой другой, которая усложняет жизнь. Ведь родственники болеющих стесняются этого, не знают, как себя вести. А сами больные не только стесняются, но и отрицают болезнь. Так делал и отец Марины Кочан. Он долгое время «прятал» симптомы, пока они не стали слишком явными. Но даже тогда он отказывался признавать болезнь и говорить о ней. Потому и все близкие, включая Марину, делали вид, что все так же, как раньше — до болезни.

Помимо личных переживаний по поводу болезни Геттингтона (еще одно название хореи), в романе описываются взаимоотношения в семье писательницы.

Воспоминания, связанные с «первой» семьей Марины Кочан, очень разные по настроению. И влияет на это фигура отца. Так, память героини рисует перед нами картины домашнего насилия в ее семье: отец мог поднять руку на мать и на старшую сестру, но никогда на Марину. С другой стороны, отец главной героини предстает заботливым и любящим папой: вместе с дочкой ездит в санаторий, он учит ее кататься на велосипеде, берет с собой на работу и бережно хранит ее рисунок с подписью «Этого слона нарисовала Марина у папы на работе». Есть и третья сторона: больной папа. Он уже не мог быть физически опасен, но и не имел возможности далеко отходить от дома (из-за болезни ему тяжело было контролировать свое тело, и местом обитания стала гостиная). Он стал живым призраком в их семье: никто, «ненужный раздражающий и даже пугающий элемент».

Много воспоминаний связано и с матерью девушки: ее образ также строится на контрасте.

«На людях всегда веселая, мама любила быть в центре внимания» — «Но дома черная грусть забирала ее к себе под крыло».

Есть и упоминания о сестре, а в последних главах эпизоды-рассуждения о том, какие у них были отношения и о каких взаимоотношениях мечтала сама Марина. Что было, а что нет?

«Вторая» семья Марины Кочан — это ее муж и недавно родившийся сын. Эпизоды, где автор проводит время с мужем, всегда наполнены любовью и теплотой. А вот с сыном могут быть разными: сегодня автор ощущает безграничную любовь к своему ребенку, завтра (когда он сильно кричит и «становится тревожным») «поднимается знакомое темное, я сжимаю зубы, чтобы не выпустить крик». Переживания по поводу своей агрессии к сыну также атакуют девушку: она боится, что может навредить ему. В один из таких моментов, когда Марина Кочан пыталась сдерживать свои эмоции, рядом оказалась сестра (у которой четверо детей), она поддержала Марину, рассказав о собственном опыте.

Исследование собственных воспоминаний, воспоминаний своих близких (девушка ездит к дальним родственникам, расспрашивая их о болезни отца, о его детстве) и сохранившихся фотографий помогает автору пережить болезнь и смерть отца, переосмыслить свои отношения с семьей, свою жизнь. Интересно, что все это совпадает с периодом, когда девушка становится матерью. Новая социальная роль — новый виток в жизни автора.

Привлек внимание не только анализ воспоминаний, взаимоотношений, но выбор цветовой гаммы. Читая роман, отметила, что часто встречаются оттенки красного

и белого цветов: темно-красный, темно-бордовые, мокрое красное; молочно-бежевые, мутно-белый, цвета сырого теста. Автор упоминала, что красный и все его вариации — любимый цвет мамы, возможно, поэтому он так часто встречается в тексте. Почему же второй основной цвет романа — белый? Данное сочетание уже давно известно читателю: эти два цвета часто используются для противопоставления двух сторон, но при этом их часто сочетают (например, в одежде). Если предположить, с кем связан белый цвет, можно сказать о сложных взаимоотношениях между мамой Марины Кочан и этим человеком. Так, может получиться пара: мама — папа (они разные, но все равно вместе), мама — сама Марина (они были достаточно близки, но Марина не чувствовала себя свободной рядом с мамой: приходилось контролировать себя, чтобы не сказать лишнего). И последняя пара: две стороны матери (она была заботливой, любящей, веселой в то же время печальной, делала попытки уйти из жизни).

Такое изложение событий, без выдумок, фантазий, характерно для литературы нон-фикшн (с англ. non-fiction — «не вымысел»), включающей в себя жанры нехудожественной литературы: мемуары, документальные произведения и др. Данный роман также не является фикцией: все события, персонажи взяты автором из ее жизни. Конечно, никто, кроме автора, не знает, где проходит грань между вымыслом и реальностью, но благодаря Интернету у читателя есть возможность проверить некоторые факты из книги на достоверность. Это позволяет нам сказать, что роман «Хорея» — нон-фикшн, а именно автофикшн, потому что автор осмысливает собственный опыт.

В книге много личных переживаний, размышлений и откровений, что характерно для личного дневника. Такая форма близка и давно известна писательнице: в книге не раз упоминалось о том, что она вела дневник в детстве (с 13 лет). Также сразу после рождения сына автор завела его дневник, в котором описала то, что может стать первыми воспоминаниями сына. Марина Кочан отказалась от шаблонных дневников, куда можно вклеить фото, положить первый волос. Поэтому создала на гугл-диске новый документ, доступ к которому имела не только она, но и муж.

Достаточно точно автор определила для себя, в чем ценность таких дневников: в будущем она сможет перечитать тексты и понять, что сделала не так. Наверно, и роман «Хорея» станет новой формой личного дневника для девушки.

Мне и, возможно, другим читателям немного неловко читать этот роман: будто подглядываешь за кем-то, наблюдаешь через щелку за чужой личной жизнью. Тем не менее роман пользуется популярностью. Ведь семья занимает большую часть нашей жизни, а значит, и книги на семейные темы всегда будут интересны и актуальны.

Анжела МАСЛОВА

ВЕТВИ И КОРНИ

Ольга Аникина. Назови меня по имени. — СПб.: Литературная матрица. — 544 с.

Нам часто говорят, что все мы — родом из детства. И действительно, семья, наше окружение, среда — как говорили представители натуральной школы — с младых ногтей формируют нас как личность. Но если ты — дочь известного биолога, твой дед — академик, а прадед — один из первых гистологов и рентгенологов, то для тебя уже написана жизненная программа, все давно распланировано и единственное, чего от тебя ждет и требует мать — следовать судьбе. Годами, несколькими поколениями откатанный путь, что может пойти не так?

Как подсказывает сама жизнь — все. Но разрыв традиционного сценария, конечно, случится не сразу: развод родителей, парочка подростковых бунтов, неудачное замужество — и вот уже из приличной девочки в блузке с манжетами вырастает бунтарка, которая пытается жить по своим правилам. Иногда — выживать, но не сдаваться.

Ольга Аникина — писатель, поэт, но в первую очередь, по основному своему образованию и роду деятельности, — врач. И она с медицинской внимательностью и дотошностью, через увеличительное стекло рассматривает историю болезни своей пациентки — Марии Александровны Иртышовой. В стиле Аникиной нет вычурностей и украшений, он хирургически точен и почти стерилен, читателя ничего не отвлекает от самого главного — истории о семейных травмах, о подростковой жестокости и травле, о расчетливости и чистоте любви, о бунтах и предательствах в четырех частях. О силе воли одной женщины.

Автор не случайно зовет свою героиню Маша — так просто и по-домашнему, как называет ее только любимый отец. В школе, куда пошла работать от безысходности, она — Мария Александровна, для любовника Марка, убедившего ее в неправильности подобранного имени, — просто Мышь, иногда — Мышильда, для старшей сестры Альки — Малыш, для матери — просто «ты». Хотя ей подходит именно «Маша» — мягкое по звучанию, короткое, как будто слегка усталое из-за шипящей и в то же время радостное из-за двух бодрых «а». И почему-то так ее никто не называет, хотя, кажется, она сама отчаянно в этом нуждается.

Канун нового 2009 года, подмосковный Королев, покривившаяся, как Машина жизнь, новогодняя елка в однокомнатной хрущевке — в таком антураже мы встречаемся с героиней. Маша «земную жизнь прошла до половины»: ей 34 года, у нее избрательный сын-подросток от нелюбимого мужа, который постоянно о себе напоминает и планирует забрать Петьку в Швейцарию, чтобы дать ему все самое лучшее, нелюбимая работа учителя-словесника в нелюбимой московской школе, нелюбимый Королев, ставший ей домом после Петербурга и Репино, с непогашенной ипотекой, нелюбимая избалованная сестра, нелюбимая капризная мать, считающая, что все мысли Маши — только о наследстве. Из приятного, пожалуй, только любовник Марк, «журналист и странствующий рыцарь», как он себя называет, старше ее на 17 лет, и влюбленный в Марию Александровну девятнадцатилетний Алеша — ученик одиннадцатого «А», с которым она дополнительно занимается русским, литературой и историей на дому. По иронии судьбы именно между этими мужчинами Маша должна будет делать выбор.

Как много в жизни одной женщины этих «не», похожих на круги ада: работа, родственники, быт. Но она мужественно сопротивляется внешним невзгодам, пытается сохранять в себе человека и бороться с несправедливостью всеми доступными средствами: вне программы читать одиннадцатиклассникам Сэлинджера, чтобы научить их честности и милосердию, в ночь мчаться за сыном из Москвы в Петербург, чтобы забрать его у мужа, с которым он провел зимние каникулы и хотел остаться подольше, уволиться из школы, не желая жить в системе показательной порки, вранья и директорского произвола. Так и хочется ее спросить: «Маша, дорогая, как же ты дошла до жизни такой?» А ответ, как можно догадаться, кроется в ее детстве.

«Отец ушел из семьи, когда Алле было уже восемь лет, а Маше только-только исполнилось шесть» — начало типичной бытовой истории. Но как раз именно этот фактор запустит целую цепочку событий, которые через много лет приведут героиню к своему личному несчастью. Уход любимого отца не станет для Маши предательством, она не потеряет с ним связи, но предательством станут поступки ее матери и сестры. После слов Альки о том, что Малыш — «случайный» и нежеланный ребенок в семье, у Маши появится комплекс младшей сестры — зудящее желание доказать всем, что это

не так, что любви и похвалы достойна не только старшая Алла, умеющая себя преподнести, влюбчивая и общительная, недалекая и глуповатая, но и Мария, осторожная, замкнутая в себе и рефлекслирующая. Она начнет сбегать из дома и с ненавистных танцев на отцовскую дачу в Репино — семейное гнездо, ставшее самым светлым детским воспоминанием. И это будет ее первым бунтом. Потом она, вопреки семейной традиции медиков и биологов, поступит в педагогический университет, на исторический факультет, который не окончит (филологическое образование получит лишь несколько лет спустя). Она первой выйдет замуж за богатого и перспективного бизнесмена, синьора Помидора — бизнесмена Андрея Заряднова, от которого родит сына и через несколько лет сбежит с ним сначала в столицу, а потом и в Королев, но перед этим, стоя на даче в Репино, в старой куртке и камуфляжных штанах она будет сжигать дорогие туфли, сумки и платья, будто предавая огню свою старую петербургскую жизнь, чтобы фениксом воскреснуть в новой, московской.

Мать, долгое время живущая с любовником, особенно не занимавшаяся дочерьми и выстроившая им по звездам и образцу собственной жизни план на будущее, нарушение этого идеального порядка воспринимает как предательство. Интересная деталь: в последнюю петербургскую встречу в торговом центре Ираида Михайловна будто случайно роняет под ноги Маше перчатки, которые та поднимает и бежит, пытаясь вернуть их владелице. Но не было ли это намеренным брошенным вызовом? Мол, я посмотрю, как ты будешь жить без меня, без моего надзора и моей опеки, без моего наследства, которое ты, я вижу, жаждешь заполучить. Когда девушка решается на уход от мужа, первым делом она ищет убежища у матери, но замки в квартире на Горюховой давно поменяны, и хода в родной дом больше нет. Это потом, почти через десяток лет, Маша поймет, как глубоко несчастна ее мать, вышедшая замуж за отца в надежде стать женой академика и научного светила, а получившая лишь мягкого и не стремящегося к славе предков заведующего кафедрой. Она даже постарается ее простить, но это все — потом, а пока ее переполняют жгучая обида и злость.

Как будто неосознанно повторяя сценарий жизни матери, Маша сама выходит замуж за нелюбимого мужчину (в тот момент ей так, конечно, не кажется), рождает от него сына, разводится, сбегает в другой город в надежде начать новую жизнь, заводит любовника. Она наступает на те же грабли, но упорно это не признает. И все-таки в ней, папиной дочке, есть главное от породы Иртышовых — стремление оставаться человеком в любых жизненных ситуациях. И Маша пытается донести эту мысль до своих учеников. И через книги, и через собственный пример.

Мысль семейная становится центром всего романа: Иртышвы, Зарядновы, Девятовы, Красневские. Благополучная увядающая и вырождающаяся семейная ветка академиков-интеллигентов, молодая и приземленная семья предпринимателя со стальной (во многих смыслах) хваткой, семья позднего и желанного Алеши с деспотичным авторитарным отцом и матерью-прислугой, как их антипод — обеспеченная семья его одноклассника, избалованного Данилы, золотого ребенка, способного мстить и ненавидеть тех, кто мешает его сиянию. Аникина подтверждает давнюю мысль Толстого об одинаковом счастье и разном несчастье всех семей. Счастливых здесь нет — у каждого свои травмы и болевые точки, свои обиды и свои примирения.

Символом нескольких поколений семьи Иртышовых, корнем, от которого по стволу расходятся крепкие ветки и еще зеленые побеги, становится дача в Репино. Почти дворянское гнездо, большое, некогда уютное, со стеклянной витражной башенкой, прадедушкиным кабинетом, скрипучими полами, теперь ветшает и рушится: выбита рама окна в кухне, разошлись доски, и дом по ночам трясется, как в лихорадке, и тяжело вздыхает. Маша сбежала в Репино от нелюбви своей семьи, пряталась от мужа

и останавливалась там в каждый свой петербургский визит, для нее этот дом, наполненный мудростью предков, историей семьи, всегда был местом и источником силы. И в один день его не стало: Алька с молчаливого согласия сестры продала его ради операции для заболевшей матери. Связь поколений как будто разрывается, и в эти дни Маше особенно тяжело даже физически.

Собственно, темой семьи и темой памяти — грузом детских разочарований, подростковых бунтов, взрослых ошибок, привязанных к жизни, как бантики к хвосту Петькиного воздушного змея, — и интересен роман Аникиной. Автор медленно и профессионально, слой за слоем, ткань за тканью, вскрывает нарывы и обнажает незажившие раны. Корни трагедийности жизни Маши, ее долгой покорности школьной системе, способной перемолоть в порошок любого, ее миражной любви к Марку (между прочим, успешно женатому и воспитывающему ребенка), ее болезненной пуповинной привязанности к сыну — в неумении отпускать и жить без оглядки на прошлое. Не случайно чаще всего она обращается к одному своему детскому воспоминанию, связанному не с доминантными мужскими фигурами отца, деда и прадеда, а с фигурой бабушки, обрезавшей любимые розы на их семейной даче и чувствительные герани в квартире на Васильевском острове:

...бабушка любила повторять: не забывай про ножницы. Смысл был в том, что чем чаще человек приходит в свой сад с ножницами, тем красивее в этом саду вырастают цветы. <...> Маша удивлялась, откуда герани берут силы, чтобы восстановиться и зацвести снова. Нина Александровна отвечала, что все самое важное скрыто от глаз садовника. «Корни все помнят, — говорила бабушка, — корни вытянут». И Маша верила ей.

Метафора ножниц и обрезаемых цветов, метафора корней в книге становятся ведущими. Умение отсекай лишнее, уже сухое и вредящее здоровому организму, умение отпускать без сожаления и возвращаться к самому главному, пожалуй, в какой-то мере к собственному имени — Маша, Маруся, Мария Александровна Иртышова (она так и не взяла фамилию мужа) — как к корню — способно спасти героиню от нравственной и даже физической гибели.

И Маша делает к этому самые возможные шаги: отпускает сына за границу, тяжело это переживая, мирится с матерью, убирает на антресоли сломанную куклу Марусю, которая с недавних пор может лежать только на боку и которую с ее портрета лепила подруга Ирка. Вообще, кукла в определенной степени олицетворяет героиню, сначала подчиняющуюся собственной матери, затем — мужу и только потом, после травматичного разрыва, старающуюся жить своей жизнью, своими ошибками и своими правилами. И ссылка фарфоровой Маруси с глаз долой — первый сигнал окончательного расставания с чужой волей.

Она звонит помирившемуся с женой Марку и требует назвать ее по имени. Не Мышь. Не Мышильда.

Назови меня по имени.

Как будто если она его вспомнит, если она его услышит, то, как в сказке, очнется от бесконечного, почти летаргического сна, в который впадает с началом лета, сбросит с шеи камень кредитного долга, несчастливой и невзаимной любви, перережет веревку удушающей материнской любви к сыну, разорвет путы формальных семейных обязательств перед матерью и сестрой.

Финал романа остается открытым. Случится ли в следующем мае встреча Алеши, попросившего подождать его год, и Марии Александровны? Как сильно изменится Петр после жизни у отца в Швейцарии? Сможет ли Маша выбраться из затягивающейся де-

прессии, по завету бабушки отрезать все лишнее и продолжить расти, а может быть, даже расцвести, как сильные герани из детства?

В вазе на окне Машиной квартиры верба, сорванная несколько месяцев назад, уже обзавелась молодыми упругими листьями и, верно, скоро пустит свои корни. Не пора ли и Маше последовать ее примеру?

Наталья ДРОБИНИНА

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ, ИЛИ ИЗ КВАКЕРОВ В ПРОЗАИКИ

Энн Тайлер. Французская косичка: Роман / Пер. с англ. М. Александровой. — М.: Фантом Пресс, 2023. — 352 с.

Чуть больше месяца назад, 25 октября 2023 года, американской писательнице и литературному критику Энн Тайлер (Anne Tyler) исполнилось 82 года. Ее последний, дошедший до России, роман был написан в 2022 году и называется «Французская косичка» (French Braid).

В сети Интернет можно прочитать подробную биографию этой писательницы. Например, про то, что она родилась в семье квакеров¹ в Миннеаполисе, штат Миннесота, и до 11 лет с родителями и тремя младшими братьями провела детство в различных квакерских общинах. Или про то, что до означенного возраста не ходила в традиционную школу, а обучалась искусству, труду и кулинарии в коммуне. Что Энн писала рассказы с семи лет, а в 16 лет поступила в Университет Дьюка (Дарем, Северная Каролина), где специализировалась в области русского языка, истории и литературы. Замужество с психиатром иранского происхождения Таги Модарресси, переезд в Балтимор, рождение дочерей Тэз Модарресси и Митры Модарресси. И так далее, и тому подобное... Двадцать четыре опубликованных романа, первый из которых написан в 1964 году. Внушительный писательский опыт, несколько литературных наград и признание.

Позвольте задать вопрос: «Сколько из произведений Энн Тайлер вы читали?» Ну, хотя бы самые «нашумевшие»? «Обед в ресторане „Тоска по дому“» (Dinner at the Homesick Restaurant, 1982), «Случайный турист» (The Accidental Tourist, 1985), «Уроки дыхания» (Breathing Lessons, 1988), «Удочеряя Америку» (Digging to America, 2006), «Катушка синих ниток» (A Spool of Blue Thread, 2015)? Я опросил двадцать человек, увлеченных литературой. Таких, кто заплатит свои деньги за точное местоположение Виктора Пелевина или кинется в драку с хулителем романа Мариам Петросян «Дом в котором...», кто в ночь перед работой готов разгадывать хитросплетения детективов Таны Френч и (о, боже!) читал, а не пролистывал «Роман» Владимира Сорокина. Из этих людей всего одна девушка прочитала несколько книг, остальные — ни одной! Я прочел три романа, и, знаете, мне хватило.

Творчество Энн Тайлер можно охарактеризовать одной фразой: «Рассказы о скрытых сторонах жизни простых американских семей». Можно сказать, что простота или,

¹ Quakers или «трепещущие», иногда «квейкеры» — официальное самоназвание Религиозного общества друзей (Religious Society of Friends). В середине XVII века это было протестантское христианское движение, возникшее в годы английской революции в Англии и Уэльсе, примерно в 1652 году. Сегодня Религиозное общество друзей представляет собой объединение независимых религиозных организаций, чьи вера и практика могут существенно отличаться друг от друга. Богословские взгляды общин квакеров и отдельных членов колеблются от евангелизма и либерального протестантизма до различных форм универсализма и нетеизма.

скорее, незамысловатость изложения является основополагающей чертой ее текстов. В каких-то произведениях больше нюансов и мелких деталей, вроде марок проезжающих машин или бытовых приборов («Морган ускользает»), и тогда кажется, что они захламляют повествование. В других — неторопливое копание в персонажах внезапно прерывается, унося все секреты героев в небытие («Катушка синих ниток»).

В многочисленных рецензиях-отзывах на сайтах российских издательств раздаются восторженные крики о схожести главной темы Тайлер с идеями романа Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Это слишком большое преувеличение. Желание доброго российского читателя увидеть стиль за отсутствием стиля, а за простотой — глубину понятно и похвально, но не является истиной.

Оценки российских читателей произведениям Тайлер замерли в районе 3,6–3,7 по пятибалльной шкале, или около 7,0 — по десятибалльной. Понятно, что Пулитцеровская премия и трогательное восхищение Джона Апдайка дорого стоят, но российскому читателю Энн Тайлер по большому счету... не интересна. Американка пишет скоро уже 60 лет, но и близко не подошла к популярности, например, Анны Старобинец или Донны Тарт. Потому что читать про традиционные семейные ценности, давайте признаем, — скучно. Это не история турецкой и армянской семей, разделенных драматическими событиями на родине (Элиф Шафак «Стамбульский бастард») и не рассказ о двух семьях, члены которых состоят сплошь из психологически больных женщин (Гюльсерен Будаиджи оглу «Внутри медальона»). Мастер семейной хроники, Энн Тайлер раз за разом вскрывает, корежит, раскалывает перед читателем набивший уже оскомину образ американской мечты, показывая, что не все спокойно в датском королевстве. Но читатель зевает и тянет руку к томику Ю. Несбё.

Это странное положение вещей для автора, который называет одним из любимых романов «Анну Каренину» Льва Толстого и не понаслышке осведомлен о русской литературе. Но вполне объяснимое — для книгоиздателей. Если учесть результаты работы книжной отрасли за девять месяцев, которые подвели Ассоциация книгораспространителей, журнал «Книжная индустрия» и Российская книжная палата. Совокупный тираж книг в переплете сократился на 25,3 %. Продажи книг в магазинах упали на 15,3 %. Средняя цена проданной книги составила 493 рубля (в Москве 505 рублей). 88,7 % от совокупного тиража книг издается в Москве, еще 4,5 % в Петербурге. На остальные регионы остается 6,8 %. В таких реалиях объяснимо, почему издательство «Фантом-Пресс» печатает 4000 экземпляров новой книги Тайлер в Ярославле, а в Петербурге книга стоит 900 с лишним рублей. Индустрия тонет, и тот факт, что в американскую писательницу российские издатели вцепились в 2015 году только после того, как «Катушка» вошла в шорт-лист «Букера», говорит о попытках ухватиться за очередную соломинку. А уцепившись, громко выкрикивать, что это целое бревно.

В центре событий нового романа Энн Тайлер «Французская косичка» очередная обычная семья — Гарреттов. Отец семейства Робин, прижимистый и немного инфантильный представитель среднего класса, мать Мерси, которая мнит себя художницей, две дочери, уравновешенная Элис и помешанная на мальчиках Лили, и сын Дэвид, погруженный в свой мир. Занавес открывается летом 1959 года, когда Гарретты отправляются в семейный отпуск. Они не покидают съемный коттедж, в границах или около которого каждый член семьи занимается своим делом: Робин плавает и ведет беседы с главой соседнего семейства, Мерси рисует, Элис смешивает специи и ездит за покупками, Лили зависает с красавчиком Трентом, а Дэвид строит замки из песка и переназывает своих солдатиков. То есть люди занимаются тем, на что в обычной жизни у них нет времени или сил — собой. Любое вмешательство одного члена семьи во времяпровождение другого приводит к фиаско, и все снова возвращаются к себе, любимым. По мнению автора, герои никогда не были так далеки друг от друга, и именно

эта поездка становится причиной того, что впоследствии все в семье незаметно, но все увереннее начинают отдаляться друг от друга.

Таким образом первые 100 страниц книги (почти треть) вызывают недоумение. Неужели, по версии Тайлер, мать должна была готовить обеды, отец возить семью за покупками, а дети умильно рассаживаться ежевечерне за одним столом и вести занимательные беседы? Тогда зачем про это писать роман? Вспоминается лицо Джонни Деппа из «Чарли и шоколадная фабрика», когда его герой пытался произнести слово «родители».

Помимо этого книга с первых страниц перенасыщена чуждыми топонимами и ничего не говорящими названиями: Пайксвилль, Сидакрофт, залив Чесапик, Бак-Смитроуд, коттеджный поселок «Слипи Вудс», ипподром Пимлико и прочее, и прочее. Цитируя саму Энн, можно сказать: «Зрелище навевало тоску. Почти тоску по дому».

Дальше автор «делает монтаж» и переносит читателя в осень 1970 года. Дочери разъехались, Элис уже сама мать, Лили ждет ребенка, а Дэвида семья отвозит в Ислингтонский колледж. Наконец-то Гарретты остаются одни в большом доме, дети пристроены, они могут посвятить время друг другу и себе. Но все зависит от взгляда на ситуацию. Вместо того чтобы «оторваться по полной... сходить куда-нибудь поужинать или, не знаю, заняться безумным сексом на полу в гостиной», Тайлер предлагает своим героям грустить оттого, что «улетел последний птенчик, оставшийся в гнезде».

Конечно, надежда на то, что в саду в дупле старого дуба найдут скелет подростка или в стенах дома послышится шорох босых ног маленькой девочки, не покидает читателя еще некоторое время. Но следующие 100 страниц книги мы вынуждены наблюдать, как Мерси «переезжает» от мужа в соседний гараж и живет в новообразованной студии, а Робин... впрочем, неважно. Читателя окружают какие-то соседи с котами и собственными трагедиями, поиски себя в живописи, распад одних семей и создание новых и прочее, и прочее. То есть читатель подсматривает за обычной, ничем не примечательной жизнью семьи Гарреттов, члены которой просто... живут.

Снова «монтаж», и мы в апреле 1982 года. Малышу Дэвиду уже 30 лет, он не жалует семью ни звонками, ни тем более приездами. И вдруг «младший» (а для некоторых героев уже «дядя Дэвид») объявляет, что приедет на Пасху с девушкой Гретой. Члены семьи сбиваются с ног и неуклюже, отлипая от собственных дел и пытаясь разморозить заскорузлые семейные связи, стараются устроить «семейный ужин». Но у читателя создается ощущение, что все, от главы семейства Робина до малыша Робби, делают это нехотя. Дэвид привозит не только Грету, но и ее дочь Эмили. Неуверенность и растерянность становятся основными состояниями всех присутствующих. Возможно, потому, что за «вот мы какие» и вежливой заинтересованностью у этих людей ничего не стоит. Они и жизнью Дэвида интересуются, как интересовались бы чужие люди в рамках обычной вежливости. Отношения в семье Гарреттов едва дотягивают до социальных и вовсе не похожи на семейные. Многие читатели, скорее всего, посчитают, что в этой главе не содержится ничего удивительного, многие семьи ведут себя так же. Эту же мысль высказывает сама Энн Тайлер: «К счастью, они не были особо сентиментальным семейством». И по отношению автора совсем не чувствуется, что она желает своим героям иной судьбы или они жаждут более тесного общения друг с другом.

Тем более высосанной из пальца выглядит мысль, отраженная в аннотации к книге: «И все же что-то соединяет их всех, несмотря на все разногласия и непонимание, что-то неуловимое. И каждый член этой вроде бы разобщенной семьи оказывает влияние на жизнь всех остальных. Потому что семья — это нечто более глубокое, чем просто родственные отношения, семья — словно французская косичка: ты думаешь, что сбе-

жал от родных, но освободиться от них невозможно, они, точно завитки распушенной косички, все равно сплетены». Никакого сплетения в семействе Гарреттов (кроме географического) не ощущается, поэтому весь образ французской косички и общая идея сплетения явно притянуты за уши. А вот что больше соответствует данному роману — образ французской живописи. С этим направлением сравнивает автор работы своей героини Мерси. Причем даже дочь Элис не понимает этого стиля матери. Она говорит: «Учитывая страсть Мерси к подернутой дымкой расплывчатой французской живописи, можно бы подумать, что ее собственные картины будут такими же размытыми и неопределенными — не столько пейзаж, сколько намеки на него. Но на самом деле все обстояло не так — или, по крайней мере, не совсем так. Взять, к примеру, картину, над которой Мерси работала, когда они втроем вернулись в коттедж. Сосны напоминали расплывшиеся зеленые пирамиды, а лесная подстилка — бурные потеки, но вдруг на переднем плане, в левом нижнем углу, — сброшенные шлепанцы с помпонами, выписанные так четко и детально, будто лежали под увеличительным стеклом. Каждый стежок швов на ремешках, каждая пора в пробковой подошве, даже крошечная пчелка, присевшая на помпон, — воображению не оставалось ни малейшего места. Элис такой контраст раздражал, из-за резкого перехода от туманной неопределенности к конкретной реальности болели глаза». Так и роман Энн Тайлер представляет собой размытое нечто, подернутое расплывчатой дымкой. Суть романа «Французская косичка» так и не вырисовывается. Вспоминается диалог из произведения Сергея Лукьяненко «Спектр»: «— Я рассказал тебе историю своего рода! — Здесь грустно и одиноко, странник...»

И снова монтаж — июль 1990-го, и опять — январь 1997-го, лето 2014-го, весна 2020-го... Мелькают годы, события, персонажи. Но картина не становится цельной, события не складываются в простроенные смысловые паттерны, герои не обретают объемность. Мы смотрим на вкусный (как нам кажется) и пышный омлет через запотевшее стекло крышки на сковородке. Но стоит приподнять крышку и заглянуть под нее — омлет опадает, съезживается и превращается в плоский блин, тоненький и непривлекательный.

Некоторые места остаются откровенно непонятными, но здесь вопросы возникают скорее к переводчику Марии Александровой и к редактору издания Любви Сумм. Читатель волен самолично взять оригинальный текст и сравнить с переводом. Возможно, тогда станет понятно, почему, когда чуть не утонувший Дэвид выходит наконец-то к родителям из спальни, автор дает ремарку: «Даже Мерси понимала достаточно, чтобы не поднимать шума». Фраза в контексте выглядит чужеродной. Или странное выражение «Пойдемте со мной, пока ваша бабушка не станет чуть поживее». И таких мест в книге несколько.

Также несколько сбивает с толку метаграфемика текста, когда повествование превращается в урок по русскому языку для младшеклассников: «Позади них женщина с мягким умиротворяющим голосом говорила по телефону. „Как ты сейчас?“»

Да, в романе есть очаровательные места — лингвистические конструкции, например: «...виден был только затылок. И этот худенький детский затылок казался ужасно печальным». Или то, как у Элис в голове невидимый рассказчик описывает каждое ее действие. Еще утомительная история про дважды сбитую машиной соседку Брайди. Находкой можно также считать, что каждая глава рассказывается от лица одного из членов семьи. Но в результате произведение напоминает не прическу «французская косичка», где все волосы надежно переплетены между собой, а, скорее, дредlocks, спутанные в локоны волосы, которые образовались под воздействием обстоятельств.

Алексей ЗУБАРЕВ

ВЕК ВИОЛЕТЫ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ

Исабель Альенде. Виолета. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 384 с.

Исабель Альенде — чилийская писательница, журналистка. Зарубежные критики уже давно окрестили Альенде почетным званием «Габриэль Гарсиа Маркес в юбке». Дебютный роман «Дом духов» принес ей всемирную известность, победы в нескольких национальных премиях и многочисленную аудиторию.

Новая работа Исабель Альенде — «Виолета» — вдохновлена судьбой матери писательницы, в то же время в книге можно увидеть и элементы автобиографичности. «Виолета» отличается от предыдущих книг Исабель Альенде, некоторые рецензенты даже отмечают, что это произведение значительно слабее остальных.

Роман «Виолета» — это история жизни одной женщины, рассказанная ей самой. С одной стороны, подобный прием ограничивает читателей, демонстрируя только один взгляд на происходящие в книге события, заставляет рассмотреть историю сквозь призму восприятия главной героини. С другой стороны, это позволяет читателям самостоятельно решить, доверяют они рассказчице или нет: в случае недоверия или сомнений можно попытаться найти свое объяснение поступкам героини.

Новый роман Альенде, по сути, представляет собой письмо столетней бабушки своему внуку, в котором она рассказывает обо всех подробностях прожитой жизни. Сама героиня называет это письмо «духовным завещанием». И хотя эпистолярный характер литературных произведений уже не нов, особенно для творчества Исабель Альенде, здесь он ощущается скорее плохо реализованной идеей, своеобразным поводом для написания романа.

Во-первых, сложно поверить, что столетняя бабушка вдруг захотела бы поделиться с внуком подробностями своей жизни (порой очень интимными и экстравагантными), хотя и очень бурной. Во-вторых, большую часть книги мы вспоминаем о том, что это письмо, по редко встречающимся обращениям на «ты» или упоминаниям имени Камило (внука Виолеты). Только ближе к концу произведения наконец появляется сам Камило, и мы узнаем о его жизни, как и обо всех событиях книги, сквозь мироощущение главной героини.

Повествование «Виолеты» очень медленное, тягучее, в чем-то даже монотонное, но это нельзя назвать недостатком. Если бы все события, которые произошли в жизни главной героини, описывались слишком стремительно и бодро, скорее всего, это было бы похоже на нескончаемый фейерверк. Потому что событий в книге действительно много.

Виолета дель Валье родилась в неназванном городе Латинской Америки незадолго до начала эпидемии испанки. И если болезнь обошла обеспеченную семью дель Валье стороной, то Великая депрессия — нет. После разорения и самоубийства главы семьи Виолета вместе с тетусками, матерью, братом и гувернанткой отправляется в провинцию. Изначально очень капризная Виолета быстро привыкает к новой жизни, помогает семье приютивших их фермеров и вскоре взрослеет, избавившись от своей капризности и истеричности. Еще через некоторое время героиня впервые выходит замуж (всего браков у Виолеты будет три, как и у самой Исабель Альенде), открывает собственный бизнес в сфере строительства вместе с братом Хосе Антонио.

Конечно, это была бы не семейная сага, если бы все закончилось так просто, поэтому после трех лет брака Виолета знакомится с Хулианом Браво — летчиком, гангстером и манипулятором. Хулиан принесет в жизнь Виолеты нескончаемую бурю эмо-

ций: второй брак, море страсти, двоих детей, а затем проблемы, связанные с его преступной деятельностью и наркотической зависимостью общей дочери. На протяжении всего повествования мы знакомимся с новыми героями, видим, как меняется жизнь уже известных нам персонажей, оцениваем их влияние на судьбу Виолеты (порой очень значительное) и просто проживаем историю такой, какой ее преподносит автор. Надо сказать, что никакие проблемы или обстоятельства жизни не поколебали решимость Виолеты стать независимой, успешной и, главное, счастливой женщиной.

Мы знакомимся с Виолетой незадолго до ее рождения (она пересказывает эти события со слов своих родственников) и прощаемся после ее смерти. Между этими двумя событиями — жизнь, полная радостей и потерь, страстности и рассудительности, любви и ненависти. Это не только история одной женщины (хотя, конечно, это основная линия повествования), но и жизнь разных народов, проходящая сквозь несколько исторических эпох и затрагивающая все значимые мировые события: политические, социальные, экономические.

При рождении нам выпадают определенные карты, и мы играем свою партию; некоторым достается всякая дребедень, и они проигрывают, но другие играют этими же картами и почему-то выигрывают.

Мы понимаем, что «карты», доставшиеся Виолете, оказались и в наборах других людей той эпохи, но героиня сумела преодолеть все сложности, отбросить в сторону неприятности и стать победителем, несмотря на все «катаклизмы» ее судьбы.

Здесь и свержение чилийской власти для возрождения демократии, и становление феминизма, и мировые войны, и однополые отношения, и зависимости (как от различного рода веществ, так и от людей, отношений с ними и их влияния), и физическое насилие, и репрессии. Все это успешно соединилось на страницах книги, потому что основной целью произведения Исабель Альенде выбирает рассказ о жизни Виолеты, а не об исторических событиях, которые здесь выступают скорее фоном и катализатором для изменений в жизни персонажей.

Нельзя сказать, что остальные персонажи книги — второстепенные. Они занимают определенное место в сюжете и влияют на жизнь Виолеты. Можно смело назвать всех персонажей книги колоритными, самобытными: Альенде хорошо передает и характер Торито — глуповатого, но очень доброго великана, и характер мисс Тейлор — ирландской гувернантки Виолеты. И хотя роль каждого персонажа (и количество упоминаний) в сюжете совершенно различна, все же Альенде удалось раскрыть каждого из них ровно настолько, насколько это было необходимо.

Большое разнообразие характеров, присутствующих в книге, делает ее живой, реальной и близкой читателю. Здесь есть спокойные, рассудительные и принимающие родители Терезы Ривас, есть необузданный, оглушительный и крайне обаятельный в первое время Хулиан Браво, есть тихий, таинственный, но решительный в экстренных ситуациях Торито, есть бойкая, яркая и прогрессивная Тереза Ривас и многие-многие другие. Через образы персонажей Альенде раскрывает не только сюжет, но и исторические реалии XX века: борьба за права женщин, социализм, гангстерство, явление хиппи, политические репрессии, социальное неравенство и ксенофобия.

Сказка о том, что все люди равны перед законом и Богом, — чистое надувательство, не верь ей, Камило. И закон, и Бог относятся к людям по-разному.

«Виолета» — это типичный образец латиноамериканской литературы: несмотря на то, что мы не видим в книге элементов магического реализма, здесь все же присут-

ствуют характерные для латиноамериканских романов черты. Это физиологичность и интимность, которая описывается без пошлости, но очень подробно; историзм, который можно связать с определенной эпохой, но сложно сопоставить с конкретным географическим положением; описание особенностей культуры, быта и традиций; тесное переплетение жизни одного персонажа с политическими и социальными событиями всего мира.

Сопоставлять «Виолету» с другими произведениями Альенде или с романом «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса (что делается в аннотации) — заведомо неправильная стратегия, которая оставит в проигрыше все сравниваемые части. «Виолета» — отдельный, незаурядный, непохожий на другие истории роман, в котором все уравновешено и сбалансировано: монотонность повествования скрашивается многоцветностью описываемых событий, тяжелые исторические явления пересказываются от лица сильной женщины, готовой бороться за свои права и права других людей, даже персонажи подобраны так, что на каждого тихого и безропотного контрастно приходится неумолимый искатель приключений.

Исабель Альенде сумела отразить в судьбе одной женщины, желающей сохранить свой образ в памяти внука, неоднозначность и противоречивость целого века, вмещающего в себя столько ужасных и прекрасных вещей одновременно. Века Виолеты дель Валье.

Алина МАЛЬЦЕВА

ОМУТ В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ

Джули Оцука. Пловцы / Пер. Е. Макаровой. — М.: Лайвук, 2024. — 224 с.

«Пловцы» — третья книга американской писательницы Джули Оцуки, за которую в октябре 2023 года она получила медаль Эндрю Карнеги «за выдающиеся литературные достижения». Среди других произведений Оцуки «Пловцы» отличаются смещением фокуса с культурно-исторической связи Японии и США на более локальный уровень истории распада одной семьи. Правда, нельзя сказать, что направление мысли писательницы всегда строго идет к частному нарративу через общечеловеческий или наоборот, — скорее структура этой мысли всегда фрагментарно встраивает одно в другое. То же самое благодаря своеобразному повествованию Джули Оцуки происходит и в романе «Пловцы».

Голый сюжет книги обрывочно рассказывает о судьбе пожилой женщины по имени Элис, чей жизненный путь привел ее к не особенно примечательной старости, в которой есть (а потом уже «был») еженедельный бассейн, тусклый быт с мужем, разъехавшиеся по миру взрослые дети — и разновидность деменции, под воздействием которой плавно угасает ее сознание. Полный же нарратив преимущественно изображает ворох мыслей, жизненных установок и переживаний людей вокруг Элис. И самым главным голосом среди них является восприятие всей истории дочерью главной героини.

Она помнит, как впервые искупала вас на третий день после вашего появления на свет. Она помнит, что вы были очень толстым ребенком. Она помнит, что вашим первым словом было «нет».

Именно таким образом писательница оформила нарратив «Пловцов», говоря о том, что «мы» знаем, чувствуем и делаем, будучи ее дочерью. И именно в этой детали кроется главный эффект воздействия книги на читателя: в ней раскрывается базовый человеческий страх в отношениях с родителями — это страх не успеть сказать самые важные слова, не успеть выполнить давние обещания и не сделать того, что сделать про-

сто необходимо, пока не станет слишком поздно. Дочь Элис как раз-таки не успела. Родитель еще жив, но момент позаботиться о нем как должно уже упущен. Пожилая женщина сидит в доме престарелых и больше не внимает окружающей ее действительности.

Еще одна история, которая рассказывается на страницах «Пловцов», — это аллегоричная история муниципального бассейна, на дне которого образуется трещина, а впоследствии его закрывают. В этой части книги «мы» — это типичные любители спортивного плавания из американского мегаполиса. В данном случае это не кто-то конкретный, а скорее разрознённый образ человека, имеющего свои причины каждую неделю появляться в темном помещении с хлорированной водой.

Кто-то назовет нашу привязанность к бассейну чрезмерной, если не патологической.

«Мне так жаль, что тебе приходится проплывать ровно шестьдесят восемь дорожек».

В этой части книги Джули Оцука переходит от умильной поэтики вещей и описания быта маленьких происшествий обитателей бассейна к стилистике скорее хроники или репортажа, где каждый из посетителей трактует события в зависимости от своего рода деятельности. Сначала мы узнаем о потерянных в воде предметах, о правилах обгона на дорожках, о часто меняющихся инструкторах на белых стульчиках, об администрации организации и ящичке для жалоб и предложений; а затем, когда на дне бассейна возникает зловещая трещина, мы слышим голоса и мнения всевозможных ученых, спортсменов, рекламщиков, пенсионеров, инспекторов и представителей других групп людей о том, как они интерпретируют эту трещину под водой. Завсегда и бассейн испытывают страх, выражают сомнения, покидают клуб плавания, формируют всевозможные теории вокруг маленькой линии. И все это является длинной метафорой встречи человека с неотвратимым.

В этих эпизодах на поверхность всплывает немаловажный для американского менталитета вопрос самоидентификации. Принадлежность к той или иной группе людей — это ключ к трактовке жизненных перипетий. Правда, в таком случае возникает вопрос первичности или вторичности этой самоидентификации: наша деятельность формирует призму восприятия жизни или жизненный путь приводит нас к тому или иному месту в обществе? Джули Оцука не дает ответа в своем романе, скорее подчеркивая незначительность идентификации себя перед естественным ходом событий. Иными словами, неважно, является ли трещина наказанием от Бога за грехи или же является результатом глобального потепления, — бассейн будет закрыт, а все пловцы будут должны «вернуться на поверхность».

Эта простая истина и транслируется через персонажа Элис, которая так же, как и все, застает конец любимого места для плавания. Потеря памяти позволяет постигнуть болезненное принятие факта без дополнительных стадий отрицания, гнева, торга и депрессии. В этом можно усмотреть черты японской философии, которая может быть свойственна и Элис, и самой Джули Оцуке, так как их корни уходят в далекую восточную страну.

Объединяет две описанные истории мотив забвения, эдакого дыхания Танатоса. Как люди, не столь важно, где родившиеся и к какой культуре принадлежащие, предаются самозабвению во время пересечения резервуара с водой туда-сюда, так и люди, не столь важно, из какой среды вышедшие и с какой историей за спиной, забывают свою прошлую жизнь, которая была за пределами дома престарелых. «Пловцы» Джули Оцуки можно сравнить с «За закрытыми дверями» Жана Поля Сартра: методично, почти буднично, в замкнутом пространстве происходит системный распад воспоминаний человека, чей конец уже определен. Вот уж действительно — омут в четырех стенах.

Однако во всем этом, как и в упомянутом произведении Сартра, помимо принятия неизбежного чувствуется и горестный надлом. Тихое угасание, смирение и достой-

ная, как у самурая, смерть совсем не означают комфорт и уют. В этом месте почему-то при чтении произведения Джули Оцуки снова всплывают в голове особенности американского менталитета. Словно японское смирение в духе эстетики Ваби-саби встречается с распространенной в США этикой добропорядочности и вежливости.

Если вам посчастливилось найти то, что вы искали, не надо подбрасывать вверх кулак и кричать «Да!» Достаточно сказать просто «спасибо» служителю бюро находок. Если вам не повезло, не обращайтесь внимания на боль в сердце и спокойно скажите, пожав плечами: «Ладно, это просто вещь».

Не нужно думать, что вас выбросили. Не нужно думать, что вас оставили. Не нужно думать, что вас забраковали. Вместо этого поставьте чемодан и представьтесь своей новой соседке по комнате.

По этим отрывкам сложно точно определить, что предлагается почувствовать читателю — искреннее принятие происходящего или же желание оставаться «непроблематичным» для окружающих. Судьба героев «Пловцов» прозаична и понятна в своем словесном изложении, но на эмоциональном уровне возникает зудящий на периферии восприятия экзистенциальный ужас и горькое сожаление.

Единственным источником открытого транслирования этого сожаления за судьбу Элис и становится позднее осознание связи с матерью ее дочери. Все последние воспоминания престарелой женщины касаются рождения и взросления девочки-первенца. Сама Элис давно приняла несбыточность своих ожиданий от остатка жизни, приняла свою болезнь, приняла одиночество и старость; но за материнскую кроткость и удобность для всех вокруг болит сердце у нас, у ее дочери. И чем сильнее печаль утраты у ребенка, тем более заметной становится маскировка искреннего страха перед смертью и желания изменить что-то в прошлом у матери.

Семейная драма в «Пловцах» некрасива и неправильна, в ней нет яркого завершающего воспоминания, которое дало бы читающему понять, что все было не зря, что на самом деле все герои понимали, насколько любимы и оберегаемы. Элис умирает с чувством брошенности в полной утрате рассудка, а ее муж и дочь в конце романа мы застаем в состоянии отчаяния и опустошения от невыполненного долга воздания любви. Однако в этом и заключается воздействующая поэтическая сила текста Джули Оцуки — мягкое и ненавязчивое изложение обыкновенной людской трагедии.

Анна ЯКОВЛЕВА

БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ, ИЛИ КАК НА РУСИ ФЕМИНИЗМ ВОЗНИКАЛ

Мария Нестеренко. Розы без шипов. Женщины в литературном процессе России XIX века. — М.: НЛО, 2022. — 280 с.

Мария Нестеренко — филолог, журналист, докторант (Ph. D.) Тартуского университета, литературный критик. А также автор «Горького», составитель серии «Θ» издательства «Common place» и исследователь женской литературы в России первой половины XIX века.

Кажется, что список можно продолжать бесконечно долго. Мария Нестеренко всюду успевает, без нее не обходится ни одна столичная книжная ярмарка, а именитые феминистские журналы непременно обращаются к ней за авторитетным мнением.

Богopodobная цареvна
 Киргиз-Кайсацкия орды!
 Которой мудрость несравненна
 Открыла верные следы
 Царевичу младому Хлору
 Взойти на ту высоку гору,
 Где роза без шипов растет,
 Где добродетель обитает, —
 Она мой дух и ум пленяет,
 Подай найти ее совет.

Упомяная в названии книги строку из оды «Фелица» Г. Р. Державина, посвященной Екатерине Великой, Мария Нестеренко словно дает нам подсказку: специфика положения женщин в литературном процессе XIX века объясняется особенностями XVIII века. Вот она — наша точка отсчета! Именно Екатерину Великую принято считать первой поэтессой, писавшей по-русски. Значит, посмеем утверждать, что женское письмо в России зарождается в конце XVIII века.

Историк Мишель Ламарш Маррезе скажет об этом: «Судя по историческим документам, роль женщины-дворянки в жизни русского общества попеременно то возрастала, то уменьшалась и, достигнув вершины в XVIII столетии, пошла на убыль после царствования Екатерины Великой».

Тут же сам автор книги справедливо замечает, что у русских поэтесс имелась одна «странная» общая черта: семейные связи с признанными литераторами. О каком самостоятельном успехе писательницы могла идти речь? Даже при большом желании. В конце концов, не каждой талантливой девушке выдавалась возможность родиться сестрой Ивана Долгорукова...

И все же интерес возник. Удочка закинута. Лексикограф и писатель XIX века М. Н. Макаров рассмотрит деятельность 63 писательниц и посвятит этому серию статей в «Дамском журнале». Помехи в творчестве писательниц он деликатно объяснит тем, что женщины имели фактически меньше шансов получить образование. Да и многие поэтессы прятались за псевдонимами. Что в целом было свойственно и их европейским современницам.

А какой была русская писательница в XIX веке? Ее идеально описывает Карамзин. Конечно же, скромная, не демонстрирующая слишком явно свою образованность, идеальная слушательница и собеседница, поглощенная интересами мужчины. По сути, образец педагогического трактата Ж.-Ж. Руссо. Только вот в Западной Европе начала XIX века уже достаточно известны журналы для женщин, в то время как в России этот вид издания находился на стадии становления. И вот наконец «Московский Меркурий» П. И. Макарова дает толчок следующему этапу женского просвещения. Женщина все еще в роли посредника и педагога, но на уровне журнальных деклараций она осваивает и ремесло литератора. Нестеренко часто подчеркивает важность П. И. Макарова в становлении женского письма в России. Он открыто публикует «Критику на Сегурову книгу о Женщинах», где прогрессивно рассуждает о равенстве женщин и мужчин («Слабость женщины не доказывает власти мужчин: слон сильнее человека, однако ж повинется ему»), а также часто в своих статьях упоминает великих женщин прошлого и настоящего. Даже сложно представить, что это значило в XIX веке, если и в XXI еще вызывает дискуссии.

Другие издатели тоже вроде как понимают важность женского языка, но и в то же время не сдерживают себя в критических комментариях.

Одним из таких ценителей являлся писатель И. С. Захаров. На одном из заседаний «Беседы» он прочитал «Похвалу женам», которая, по словам его биографов, представляла собой «проповедь добродетелей по Домострою». Ни больше ни меньше. Захаров говорил о женском письме как о способе выражения «нежных женских чувств» и не забыл поблагодарить женщин. Ведь именно они оценивают произведения своих мужей.

А во второй части своей «Похвалы» он еще и воспевал «благоразумную жену». Естественно, это та, что проводит все время «в недрах своего семейства». А есть ли время у такой семейной особы на стихотворения? Под большим вопросом.

И все же справедливо отметить, что семейный вопрос был часто решающим для начинающей поэтессы. В 1807 году Шишков издает сборник «Стихотворения девицы Волковой» и своим предисловием о судьбе Анны Волковой — дочери статского советника Алексея Волкова. Талантливая дочь с печальной судьбой — вот кем она предстанет перед читателями. И все же внимание читателей она удержать не сумела. Такой же «дочерью отца» для него стала и Анна Бунина. Только в этот раз все сложилось намного удачнее. Еще в преамбуле Нестеренко сообщает читателю, что цель ее работы состоит в том, чтобы проанализировать эволюцию литературных процессов в России первой трети XIX века и выяснить, как это отразилось на писательской судьбе и репутации женщин-литераторов. И среди женщин-литераторов автор особенно выделяет одну — Анну Петровну Бунину. Именно ей и ее творчеству посвящает добрую половину своей книги. «Почему именно Анна Бунина?» — спрашивают Марию Нестеренку то интервьюеры, то литературные критики. Ответ почти всегда одинаковый: «Бунина не просто писала стихи. Она сделала поэзию своей стратегией, получая всевозможные пенсии от императорской фамилии». И это правда. В наше время Анну Бунину точно прозвали бы *self-made woman*. Несмотря на то, что семейные регалии и в ее жизни имели место быть: все же Бунина принадлежала к тому же старинному дворянскому роду, к которому принадлежали В. А. Жуковский, И. А. Бунин и Ю. А. Бунин. Но детство ее прошло в селе, а образование (даже для девушки) было довольно скудным.

И тем не менее Анна самостоятельно переехала в Санкт-Петербург.

С петербургскими литераторами ее здесь познакомил брат Иван Бунин. Без хотя бы малейших семейных связей путь девушки в литературу казался еще более тернистым.

В 1809 году благодаря своей «Неопытной музе» Анна Бунина обретает долгожданный успех. Неординарная композиция и жанровое разнообразие первого сборника поэтессы — огромный шаг в развитии женского литературного процесса в России. И происходит самое главное: читательницы видят в героине собственную певицу. Ту, что будет писать на понятные им темы и от их лица. Вот же он! Долгожданный женский голос.

Бунина пишет:

Одне ругательства, — и все страдают дамы!
Ждем мадригалов мы, — читаем эпиграммы.
От братцев, муженьков, от батюшков, сынков
Не жди похвальных слов.

Вот и, собственно говоря, женщина в семье. То ли «благодарная слушательница», то ли птичка, запертая в клетке (читай — в собственной семье)...

Мария Нестеренко в последней главе книги вспоминает и главного литературного критика России — В. Г. Белинского. Как он относился к женщинам в литературе? Если ответить кратко: очень плохо. Критик настаивает на невозможности женских литературных занятий. По его мнению, интеллектуальные способности женщины ограни-

ченны, а писательницы идут против природы. Анна Бунина будет впервые упомянута Белинским в статье «Русская литература в 1841 году», где он назовет ее в числе тех литераторов, которых следует предать забвению. Батюшков же помещает сочинительниц в «семейный» контекст: произведения уподобляет уродливому ребенку, а писательниц называет «позором» для «ада и мужей». С начала XIX века такая образность становится характерной для текстов, направленных против женского литературства, подчеркивает автор.

Что ж, Белинский и его последователи значительно замедляли и без того тяжелый путь женщины в мир литературы.

Зато были и те, кто поддерживал только встающих на ноги поэтесс. Одним из таких литераторов был П. И. Шаликов. В рецензии в «Аглае» он утверждает равенство женщин и мужчин в «тонкости мыслей, в силе чувства и в искусстве» и восхваляет дебют Анны Буниной.

В заключение Нестеренко справедливо отмечает, что начинающая писательница с самого начала выходит за рамки общепринятого женского идеала. Мечтательная и пассивная женщина вряд ли осмелится выступать перед публикой со своими сочинениями. Критики «услышали» ту же Анну Бунину, но вместо конструктивного разбора содержания поэзии просто удивлялись факту существования женщины-поэта.

И все же, несмотря на успех, Анну Бунину не раскрывают по-новому ни модернисты, ни современные литераторы. Мария Нестеренко пишет, что, таким образом, А. П. Бунина становится как бы воплощением метафоры Урсулы Ле Гуин «исчезающие бабушки». Суть в том, что такие «исчезающие бабушки» подготовили почву для современных женщин-литераторов, став, таким образом, их «бабушками». Бунина в буквальном смысле фигурирует в семейных хрониках своих родственников-поэтов как почитаемая старшая родственница, однако стихи ее при этом не перечитываются. Но может быть, иногда главное не актуальность и незабываемость, а простая смелость «стать первой».

К сожалению, женщинам на протяжении сотен веков приходилось бороться за собственные права. За минимальную возможность быть услышанной, проявить себя и свой талант. Им приходилось прятаться за именами своих братьев, отцов и мужей. Постоянно мириться с собственным «местом на кухне» и долгом «воспитывать детей». Может, если бы не давление общества на уязвимое «семейное положение» женщины, мы бы знали гораздо большее количество женщин-литераторов прошлых веков.

«Розы без шипов» Марии Нестеренко — это почти учебное пособие. Тема гендерных исследований актуальна как никогда. Роль женщины в литературе многократно переосмыслиется, и мы хоть и поздно, но знакомимся с теми самыми «бабушками», благодаря которым два века спустя пишем критические статьи для «Невы» и не сталкиваемся с непринятием женского пола в литературе.

Леман ДАЛЕЙИБОВА

ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ:

«Записки из Мертвого дома»

Ф. М. Достоевского

Достоинство личности, в защиту которого возвышал голос Федор Михайлович Достоевский (1861–1881) во всем своем творчестве, — признание за человеком высшей ценности как за существом, обладающим разумом, волей и чувствами. Достоинство человека означает «осознанное моральное отношение человека к самому себе, его самооценку, а также отношение к нему со стороны общества»¹.

Бесспорно, каждый испытывает социальный, психологический, нравственный дискомфорт, если теряет самоуважение или уважение окружающих. Человеку необходимо, чтобы он был признан именно как человек, как неповторимая личность. Это одна из основных его нематериальных потребностей. Именно эта потребность как нематериальное благо закрепляется в статье 21 Конституции Российской Федерации:

Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам².

Право на достоинство личности включается в систему основных личных прав и свобод Конституции РФ. Это естественные, основополагающие, неотъемлемые права человека, которые «призваны гарантировать индивидуальную автономию и свободу, защитить человека от произвола со стороны государства и других людей. К этой группе прав обычно относят право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право на защиту чести и доброго имени и др.»³.

Следует заметить, что некоторые права и свободы не только гармонируют с правом на достоинство личности, но и конкурируют с ним. Так, например, право на свободу слова может вступить в противоречие с правом на достоинство личности. Но в данном

Алла Анатольевна Новикова-Строганова — доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России (Москва), историк литературы.

¹ Институт прав человека в России / Г. Н. Комкова, О. В. Шудра, Т. Г. Даурова и др. Саратов, 1998. С. 90.

² Конституция Российской Федерации // Российская газета. 15.02.1996. № 31.

³ Институт прав человека в России. Саратов, 1998. С. 57.

случае законодатель подчеркивает, что право на достоинство личности *абсолютное*, а на свободу слова — *относительное* — и может быть ограничено абсолютным правом на достоинство личности.

Для российского законодательства особое значение имеет международно-правовой принцип уважения прав человека и его основных свобод, выраженный во Всеобщей декларации прав человека. Российская Федерация состоит в мировом сообществе и должна придерживаться мировых стандартов в области права. Законодательно закрепленное в России право на защиту человеческого достоинства, чести и доброго имени «в основном соответствует международным нормам»⁴.

Так, значение права на достоинство личности особо акцентировано уже в преамбуле Всеобщей декларации прав человека: «Принимая во внимание, что *признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи* (выделено мной. — А. Н.-С.), и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира <...> Генеральная Ассамблея *провозглашает* настоящую Всеобщую Декларацию Прав Человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства»⁵.

Важно обратить внимание на то, что о достоинстве личности говорится не только в самом начале преамбулы, но и первая статья Декларации также утверждает право каждого человека на достоинство от рождения: «*Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства*».

Сущность анализируемого понятия может быть уяснена, если обратиться к этимологии слова «*достоинство*». Корень этого слова находим в древнерусской форме «*достой*». «ДОСТОЙ, — читаем в словаре В. И. Даля, — приличие, приличность, сообразность; *чего стоит человек или дело, по достоинству своему* (выделено мной. — А. Н.-С.)»⁶. Кстати, именно древнерусское слово «достой» — корневая основа фамилии Достоевский.

В самом общем виде понятие о чести и достоинстве означает неопороченность нравственных качеств человека. «Под достоинством личности, — поясняется в комментарии к Конституции Российской Федерации, — понимается осознание самим человеком и окружающими факта обладания неопороченными нравственными и интеллектуальными качествами. Достоинство личности определяется не только самооценкой субъекта, но и совокупностью объективных качеств человека, характеризующих его репутацию в обществе (благоразумие, нравственные установки, уровень знаний, обладание социально-полезными навыками, достойный образ жизни и т. п.)»⁷.

Широко известен монолог о человеке в пьесе М. Горького «*На дне*», в которой писатель патетически возвышает свой голос в защиту человеческого достоинства каждого — даже изгоев, выброшенных на обочину жизни, угодивших на самое ее «дно»: «Человек — вот правда! <...> Чело-век! Это — великолепно! Это звучит ... гордо! Чел-овек! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо!»⁸

Каждый человек нуждается в признании его ценности, уникальности — и в собственных глазах, и в глазах окружающих его людей.

Новаторство Достоевского в том, что он показал уже не просто социальный тип «маленького человека», но и его *самосознание*, требующее признания человеческой

⁴ Белая Книга России (наблюдения и предложения в области прав человека). Франкфурт-на-Майне, 1994. С. 91.

⁵ Всеобщая декларация прав человека 1948 г.

⁶ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. СПб.; М., 1880. С. 479.

⁷ Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 1994. С. 64.

⁸ Горький М. Рассказы. Пьесы. М., 1978. С. 342.

ценности, необходимое для *самоуважения*. К этому стремятся люди в любом положении, даже в условиях каторги, изображенной писателем по его личным впечатлениям, наблюдениям и опыту политического заключенного и ссыльного, приговоренного за участие в социалистическом кружке Петрашевского.

Книга очерков *«Записки из Мертвого дома»* Достоевского явилась документальным свидетельством и художественно-публицистическим исследованием мира русской каторги. Цикл очерков появился в печати именно тогда, когда в русском суде готовились значительные перемены. Книга начала публиковаться в сентябре 1860 года в журнале братьев Достоевских *«Время»*, а в 1862 году уже вышла отдельным изданием. В том же году стали известны «Основные положения преобразования судебной части в России».

Таким образом, новая книга Достоевского писалась об актуальных для всего общества проблемах, о наболевшем, и автор, сам недавно вышедший из каторги, оказывался лицом, «переболевшим» более всех других. *«Записки из Мертвого дома»* захватывали читателя и новизной тематики, и неожиданной глубиной ее осмысления.

В изображении писателя каторга явилась захоронением живых людей. Особый мир «мертвого дома» раскрывается в подчеркнуто строгой, реалистической манере с установкой на документальность повествования. Здесь нет вымысла, особых художественных приемов. Жанр произведения — записки, очерки, документальная проза. Сдержанный стиль отличается достоверностью, почти протокольной точностью. Изображение каторжного мира, увиденное Достоевским, не нуждалось в художественном заострении или преувеличении. Здесь требовалась только точность очевидца. Таким образом, *«Записки из Мертвого дома»* носят характер свидетельского показания. Они основаны на «Сибирской тетради» писателя — живом, дошедшем до нас свидетельстве писательского подвига Достоевского, которому как политическому ссыльнокаторжному было запрещено брать в руки перо⁹.

«Записки...» были не просто новым словом о русском остроге. К моменту печатания книги эта тема уже широко обсуждалась в обществе в связи с подготовкой судебной реформы. Произведение Достоевского поднимало проблемы философские, общечеловеческие: добро и зло, преступление и наказание, свобода и реализация права на достоинство личности как необходимое условие жизни. Вот почему писатель справедливо огорчился, когда видел, что его современники оценивают *«Записки...»* узко, отводя им место только среди книг о тюрьме и каторге¹⁰.

О каторжной тюрьме автор-очевидец пишет как об особой физической данности со своими законами времени и пространства: «Тут был свой особый мир, ни на что более не похожий, тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи...»¹¹ Одна из примет обитателей «мертвого дома» — социальная отверженность. На внешнем уровне это тяжелые кандалы, уродливая прическа: выбритые наполовину головы, арестантская одежда, сшитая из сукна разного цвета. Только по внешней форме наказания каторжника сразу можно отличить от других людей: «одно шельмование, стыд и тягость, нравственная и физическая» (4, 139).

Таким образом, лишение свободы одновременно являлось и унижением человеческого достоинства. Основой наказания становилось право глумления над человеческой личностью. Оставляя заключенным жизнь, закон лишал их звания человека.

⁹ См.: Достоевский Ф. М. Моя тетрадка каторжная (Сибирская тетрадь). Красноярск: Красноярское кн. изд-во, 1985.

¹⁰ См.: Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860—1881 гг. Литературное наследство: Т. 8. М.: Наука, 1971. С. 605.

¹¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972—1974. Т. 4. С. 9. Далее ссылки на этот источник приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

Логика «Записок из Мертвого дома» не совпадала с логикой современного Достоевскому Уголовного кодекса. В изображении писателя устрашение скорее калечит, чем вылечивает. К возрождению может вести не урезание в элементарных человеческих правах, а сохранение живой жизни человеческой души. Какой бы ни была форма лишения свободы, без свободы всякая жизнь мертва. Таково глубоко выстраданное убеждение Достоевского. «Вместилище людей, лишенных свободы, может быть только мертвым домом. <...> В метафоре „мертвый дом“ главным является социально-политический и этический подтекст: свобода — непереносимое условие жизни»¹².

«Свобода или хоть какая-нибудь мечта о свободе выше всего для арестанта» (4, 66), — свидетельствует Достоевский. Наблюдая за жизнью каторги, повествователь фиксирует: если арестанты заводят себе обновки, то «непременно партикулярного свойства: какие-нибудь неформенные черные штаны, поддевки, сибирки» (4, 20).

Жажда свободы у арестантов непомерна, поэтому она может вести к извращению воли. В этом, по глубокому убеждению писателя, антигуманность насилия над человеческой личностью. Под воздействием каторги личность разрушается, ее проявления становятся «тоскливыми», «судорожными», ненормальными: «желание заявить себя, свою приниженную личность» доходит «до омрачения рассудка» (4, 67) и нередко ведет к новым преступлениям.

Возвышая свой голос в защиту человеческого достоинства личности, Достоевский расширяет понятие «мертвый дом». Некоторые зарисовки — например, описание банного дня — представлены Достоевским так, что у читателя не возникает никаких сомнений, что перед ним inferнальная картина ада. Каторга-несвобода — мертвый дом — равнозначны аду с его вечными муками: «Когда мы растворили дверь в баню, — вспоминает писатель, — я думал, что мы вошли в ад... Пар, застилающий глаза, копоть, грязь, теснота... На всем полу не было местечка в ладонь, где бы не сидели, скрючившись, арестанты, плескаясь из своих шаек. <...> Это был уже не жар: это было пекло. Все это орало и гоготало при звуке ста цепей, волочившихся по полу <...> Обритые головы и распаренные докрасна тела арестантов казались еще уродливее. На раскаленной спине обыкновенно ярко выступают рубцы от полученных когда-то ударов плетей и палок, так что теперь все эти спины казались вновь израненными» (4, 98). «Мне пришло на ум, что если мы вместе будем когда-нибудь в пекле, то оно очень будет похоже на это место» (4, 99).

В следующей — десятой — главе «Записок...» тема каторги-ада зазвучала в ином, противоположном ключе: даже в тюрьме живет тоска по идеалу, евангельская «сверх надежды надежда» на прощение и возрождение к новой жизни. Писатель-очевидец показывает, как острог готовится к празднованию Рождества Христова.

Этот светлый радостный праздник, основная идея которого — спасение и искупление человечества милостью Божией («Христос рождается прежде падший восстановити образ»), пробуждает в отверженных надежду на восстановление «падшего образа» человеческого, погружает их в мир светлых воспоминаний, формирует чувство приобщенности ко всем людям: «...арестант бессознательно ощущал, что он этим соблюдением праздника как будто соприкасается со всем миром, что не совсем же он, стало быть, отверженец, погибший человек, ломоть отрезанный, что и в остроге то же, что у людей» (4, 105).

Однако на каторге предполагаемый праздник проходит как обманутое ожидание. В «мертвом доме» радость и праздничное настроение невозможны: «Грусть, тоска и чад тяжело проглядывали среди пьянства и гульбы <...> Весь этот бедный народ

¹² Карлова Т. С. О структурном значении образа «Мертвого дома» // Достоевский: Материалы и исследования. Л.: Наука, 1974. С. 136.

хотел повеселиться <...> и, Господи! Какой тяжелый и грустный был этот день чуть не для каждого» (4, 111).

Идея «Записок...» — мечта о свободе, о «вольной воле» — реализуется в образе-символе орла. Раненый орел жил на тюремном дворе. Затем, когда птица выздоровела, арестанты отпускают ее на волю и долго смотрят вслед улетающему орлу: «„Вишь его!“ — задумчиво проговорил один. „И не оглянется! — прибавил другой. — Ни разу-то, братцы, не оглянулся, бежит себе!“ — „А ты думал, благодарить воротится?“ — заметил третий. „Знамо дело — воля. Волю почуял!“» (4, 195).

Книга завершается «разрешенной свободой», то есть выходом из острога: «Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых... Экая славная минута!» (4, 232).

В «Записках из Мертвого дома» Достоевский не дает ответа на вопросы, что такое преступление, какой именно должна быть система наказания. Писатель выражает убеждение в сложности проблемы: «Да, преступление, кажется, не может быть осмыслено с данных, готовых точек зрения, и философия его несколько потруднее, чем полагают» (4, 15).

Каторжный опыт писателя убедил его в том, что есть и «такие преступления, которые всегда и везде, по всевозможным законам, с начала мира считаются бесспорными преступлениями и будут считаться такими до тех пор, пока человек останется человеком» (4, 15). Достоевский требует охраны общества от «чудовищ» и «нравственных Квазимодо» (4, 63). Описывая таких преступников, как Газин, Орлов или А-в, который «за удовлетворение самого малейшего и прихотливейшего из телесных наслаждений был способен хладнокровнейшим образом убить, зарезать, — словом, на все» (4, 63), автор восклицает: «Нет, лучше пожар, лучше мор и голод, чем такой человек в обществе!» (4, 63)

С другой стороны — писатель показал, что жестокость закона так же, как и бездарное его исполнение, приводят к нравственной и физической гибели человека: «Иные думают, что если хорошо кормить, хорошо содержать арестанта, все исполнять по закону, так и дело с концом. Это тоже заблуждение. Всякий, кто бы он ни был и как бы он ни был унижен, хоть и инстинктивно, хоть бессознательно, а все-таки требует уважения к своему человеческому достоинству. Арестант сам знает, что он арестант, отверженец, и знает свое место перед начальством; но никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь забыть его, что он человек. А так как он действительно человек, то, следственно, и надо с ним обращаться по-человечески» (4, 91). Только **«человеческое обращение может очеловечить даже такого, на котором давно уж потускнел образ Божий»** (4, 91).

«Записки из Мертвого дома» ставили гуманистическую задачу защитить право на достоинство личности, пробудить в человеке человеческое. *Высшая современность книги Достоевского заключается в том, что проблемы русского острога поставлены в ней на широкой основе таких категорий, как свобода и право на достоинство личности, которые писатель воспел как высшее благо.*

Это тем более актуально в условиях, когда ученые-правоведы до сих пор констатируют теоретическую неразработанность в праве ценностных и антропологических проблем исправления преступников.

Писатель показал, что унижение достоинства личности может привести к нравственной и физической гибели человека. Требуя оградить общество от «чудовищ и нравственных Квазимодо», Достоевский в то же время призывал максимально защищать достоинство человека при любых условиях.

Следуя этому завету классика, современное законодательство должно прежде всего обращать внимание на учет индивидуально-психологических особенностей личности в вопросах защиты прав человека.

Блокада Ленинграда. Дневники 1941–1944 годов / Сост. В. Давид. М.: Яуза, 2023. — 608 с.

Эта книга основана на хранящихся в архивах дневниках ленинградцев, запечатлевших в своих записях опыт выживания в осажденном городе. Они выдержали все: голод, стужу, варварские артобстрелы и бомбежки. Познали много горя (но иногда на их долю выпадали и радости). И они выстояли. Авторы дневников — директор завода, инженеры, рабочие, школьницы, студентка, домохозяйка, главврач поликлиники, служащий горкома, работник железной дороги, сотрудник радиоузла, преподаватель музыкальной школы, контролер по учету и выдаче продовольственных карточек. Дневниковые записи 1941–1944 годов дополнены документами и газетными публикациями того «смертного времени», и это позволяет проследить взаимосвязь личных проблем ленинградцев и той огромной организационной работы, которая предпринималась властями разных уровней для спасения города и его жителей. Материал расположен в хронологическом порядке. Есть издержки: извлеченные из дневников фрагменты рассредоточены по книге по главам; авторы обозначены только инициалами, их статус отмечен в сносках только при первом появлении дневниковой записи. В книге пять глав: «Время расставаний», «Начало осады», «Голодная зима 1941–1942 года», «Весна надежды», «На пути к победе». Время расставаний для ленинградцев началось в первый же день войны. «В первый день войны из всех домов потянулись к мобилизационным пунктам призывники. <...> Ближайший призывной пункт находился на Конюшенной площади в помещении клуба Автопарка. Вся площадь заполнена народом, трамвайное движение остановилось. <...> Через решетчатые ворота было видно, как на внутренний двор автопарка выходили призывники, строились в колонну и уходили в назначенном направлении» (Б-ва — домохозяйка, в годы войны — сторож в домоуправлении). А. Б-н, в 1941–1942 годах контролер районного бюро по учету и выдаче продовольственных, хлебных и промтоварных карточек, записал: «...работаем дни и ночи почти без сна. Порой голова кружится от усталости. В помещении первой образовательной школы района работает районный эвакупункт. Я оформляю документы эвакуируемых и выдаю талоны на хлеб и продукты. Шумно. У моего стола огромная очередь. Матери с детишками все идут и идут. <...> По всему Ленинграду мчатся автобусы к вокзалам, их много, так много, что на улицах задерживается движение остального транспорта и пешеходов. В автобусах матери с детишками. Эвакуируют детей без матерей. На вокзалах у вагонов слезы, вопли, истерики. <...> Мама, мамочка! Этот вопль все время стоит в ушах. Думаешь — а все ли доедут до места назначения? Ведь железнодорожные узлы бомбят. Все ли матери дождутся своих детей?» (20.07.41). Началом блокады считается 8 сентября 1941 года, когда была прервана сухопутная связь Ленинграда со всей страной, хотя продовольственные карточки ввели в Ленинграде уже 17 июля, то есть еще до блокады, чтобы навести порядок в снабжении. Нормы отпуска продуктов по карточкам были высокие, и продовольствия хватало. Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло 2 сентября 1941 года. В октябре жители города почувствовали на себе явную нехватку продовольствия, а в ноябре в Ленинграде начался настоящий голод. 26 января 1942 года директор завода А. К-ой, записал: «...был в городе. Все превратилось в сплошную сосульку. Трамваи стоят вмерзшие. По магистралям, ведущим к кладбищам, движутся небольшие группы людей или одиночки, которые везут на санках или тянут волоком, обвязав за шею, трупы. Эвакуацией трупов занимаются женщины и 12–15-летние ребятишки». Единственным путем сообщения Большой зем-

ли с Ленинградом стал маршрут через Ладожское озеро. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города. Начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугубленный особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привел к сотням тысяч смертей среди его жителей. Ленинградцы обращались с просьбой о помощи в советские и партийные органы и лично к первому секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) А. Жданову, к секретарю Ленинградского горкома ВКП(б) А. Кузнецову, к председателю Ленгорисполкома П. Попкову. В книге представлены письма-запросы руководителей крупных предприятий, Монетного двора, академических учреждений, литературных работников газеты «Смена» и частных лиц: ученых, художников, ветеранов... А также документы, в том числе секретные: докладные записки Сталину, страшные справки со статистикой умерших в вышестоящие организации, постановления Военного совета Ленинградского фронта о нормах хлеба для войск фронта и населения Ленинграда, сводки Штаба МПВО Ленинграда о результатах воздушных нападений и артиллерийских обстрелов, выписки из приговоров Ленинградского военного трибунала о смертной казни за людоедство, докладные записки о проблемах водопроводно-канализационного хозяйства и пожарной инспекции, санитарии в школах и работе предприятий общественного питания, о состоянии кладбищ. Повседневная жизнь осажденного города в официальных документах и сугубо личных записках его жителей. Для ленинградцев страшная реальность, собственные лишения усугублялись страхом за близких людей и ужасающими слухами. Были и проблески надежды: увеличение нормы выдачи хлеба в феврале 1942 года, своими собственными силами очищенный ото льда, нечистот и грязи любимый город и, наконец, столь желанное – прорыв блокады в январе 1943 года. «И вот свершилось. 18.01. прозвучали слова такие долгожданные, такие счастливые. Войска Ленинградского и Волховского фронтов воссоединились, прорвав кольцо блокады. Освобождены Шлиссельбург, Дубровка, Липки, Синявино, ст. Поддубная. Взяты и пленные. Новость прозвучала по радио около полуночи. У меня в кабинете собрались соседи по казарменному житью-бытью. Охватившую нас радость невозможно описать словами. Я прочел товарищам записи в дневнике в январе 1942 года. Тогда мы все были на грани смерти, многие погибли, но мы выжили и дождались нашей первой победы. Мы вспомнили мучительный голод и холод, попытки хоть как-то поддержать утасаживающие силы, наши „кулинарные опыты“ по приготовлению студня из столярного клея, лепешек из гнилой картошки и прочее. Мы не забыли надежды и разочарования в ожидании прибавки хлеба, уныния от отсутствия новостей на Ленинградском фронте. Всю ночь не умолкало радио» (20.01.43. М. К., начальник планового отдела завода). Однако осада Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась. 27 января 1944 года город был полностью освобожден, в этот же день состоялся салют в честь окончательного снятия блокады. «Ленинград ликует... можно свободно ходить по городу и не думать, что тебя могут убить... Тихо. Падает легкий снег». Книга памяти.

Владислав Глинка. Воспоминания о блокаде. М.: АСТ, 2023. — 320 с.

Владислав Михайлович Глинка (1903—1983) — писатель, историк, музейный работник, пережил блокаду Ленинграда, работая в это тяжелое время хранителем в Эрмитаже, санитаром в госпитале и одновременно отвечая за сохранение коллекций ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом). Война застала его старшим научным сотрудником Отдела истории русской культуры Эрмитажа, переведенного в Эрмитаж только в марте 1941 года. Первый год блокады, о котором он пишет в своих воспоминаниях, по его признанию, признанию человека, знавшего и революцию, и Гражданскую войну, стал самым страшным в его жизни. Обладая великолепным литературным даром, он запечатлел страшные картины блокадного бытия: труп мужчины с отпиленными но-

гами на льду Невы; останки животных в подтаявших сугробах; погрузка голых трупов у дома 46—48 по Чайковского. «Я заглянул в распахнутые двери, к которым приткнулся грузовик. В глубине вестибюля, занимая всю глубину пространства, ярусами лежали трупы. Несколько плотных мужиков, в таких же куртках, как и те, что были снаружи, покрикивая, разбирали этот штабель, другие стоймя переставляли трупы по конвейеру ко входу. Мелькали серые скорченные ноги, серые скрюченные пальцы, серые волосы. В кузове росла гора». Позднее друг ему скажет: «Мера необходимая. Вот-вот станет тепло, и надо оберечь город от возможных эпидемий. А везут на Пискаревку. Там создается новое кладбище. И этих грузчиков, которые грузят трупы, прислали с большой земли. Их кормят на убой и притом, говорят, в день дают по пол-литра водки...» В. Глинка рассказывает только то, чему сам был свидетелем или, в немногих случаях, что слышал от людей, которым доверял. А еще то, о чем писать было не принято: о грабеже управхозами имущества умерших и их продовольственных карточек, о черном рынке, где за продовольствие отдавали все, о людоедстве. В этом повествовании ясно просматриваются два слоя людей, оказавшихся в блокаде. Один из них — гибнущий. Другой, напротив, необыкновенно живучий. В условиях бедствия 1941—1942 годов беззащитными оказались носители культуры, накопленной несколькими поколениями. Беспомощные в быту, лишенные инстинкта добытчиков интеллигенты гибли первыми, гибли семьями. В. Глинка видел, как уходили из жизни близкие ему по духу люди, как рвалась эстафетная линия передачи от поколения к поколению системы культурных ценностей, духовных и материальных. Этот трагический мотив звучит в ряде эпизодов «Блокады». Переехавшие с началом войны в убежище под двадцатиколонным залом Зимнего дворца семьи сотрудников Эрмитажа поддерживали добрые отношения, вели вечерние беседы, оказывали друг другу услуги, записывались в пожарные команды и команды ухода за ранеными. И даже провели торжественное заседание в юбилей Навои и Низами. А потом стали тихо умирать и в убежище Эрмитажа, и у себя дома. Вымерла в блокаду вся семья композитора Юдина. После смерти художника-графика А. Труханова и его семьи была разгромлена квартира Трухановых: исчезли книжные стеллажи, разорваны книги, акварели, рисунки, изуродован огромный красного дерева стол XVIII века, не пролезший в дверной проем. Удалось спасти коллекцию холстов, гуашей и рисунков, принадлежавшую Ф. Нотгафту, заведующему издательским отделом Эрмитажа. Он был единственным не художником, принятым в общество «Мир искусства», так как вел его издательскую деятельность. Его коллекция в значительной мере состояла из даров друзей-художников. По приказу Орбели тела Нотгафтов отвезли в морг, находившийся в «церкви на крови» Александра II, а картины, рисунки и книги перенесли в Эрмитаж. Благополучно выживали в блокаду люди другого склада, общаться с которыми доводилось автору. Управхоз, полуграмотная баба, несколько не похудевшая за блокаду, обчищавшая квартиры умерших жильцов; начальник гужевого обоза, отвечавший за развоз хлеба по торговым точкам, у которого за ценные вещи можно было выменять хлеб и конину; упитанный столовский повар, которого толпа голых дистрофиков выгнала из бани на Чайковского. Не раз санитар Глинка наблюдал, как, доставив полуживого товарища в стационар, сопровождающий перед уходом чистил карманы своей ноши. И в то же время автор пишет: «Да, кругом кипел обман, воровство, спекуляция и цинизм, но существует тут же рядом и бескорыстная помощь, и способность раскрыть свое сердце для неизвестных тебе, но крайне истощенных людей». Встреча с такими бескорыстными людьми спасла жизнь девятилетней дочери В. Глинки. Самостоятельную ценность имеет предыстория блокадной эпопеи о судьбе Историко-бытового отдела (сокращенно ИБО), в котором много лет служил В. Глинка. Это и картины того, как музейные чиновники в 1930-е годы гоняли с места на место ценнейшие коллекции (ИБО был образован в Русском музее вскоре после 1917 года и за шесть лет четыре раза пе-

реезжал, причем поломано и разбито было немало предметов). Это и рассказы о том, как исчезали в лагерях и тюрьмах виднейшие историки, искусствоведы и отцы города. В. Глинка считает, что в судьбе ИБО отразилась система безответственного отношения государства к культуре, что в блокаду сказалось и на судьбах его друзей и товарищей. Рукопись воспоминаний В. Глинки, датированная 1979 годом, обнаружили его наследники при разборе архива после смерти автора. Готовил ее к печати племянник В. Глинки — Михаил Глинка, морской офицер, историк, писатель. По тексту размещены биографические справки о близких друзьях семьи В. Глинки, среди которых главный архитектор Эрмитажа А. Сивков, ученый-востоковед А. Болдырев, врач-онколог А. Раков, Н. Рынин. А так как многие действующие лица «Блокады» (а это реальные люди) лишь упомянуты, но никак не разъяснено, кто они, откуда взялись, то в заключение даны и комментарии М. Глинки, где он рассказывает о судьбах и характерах людей, испытывавших непростые жизненные драмы, а иногда и трагедии. Среди них и композитор Д. Толстой, и первый директор Музея обороны Ленинграда Л. Раков, литературовед В. Мануйлов, Н. Крандиевская-Толстая и ее дети. И конечно, и мать М. Глинки — Е. Глинка, скончавшаяся в эвакуации в 1944 году, и приемная мать М. Глинки, оставшегося круглым сиротой, так как его отец, родной брат В. Глинки, погиб на фронте, Марианна Глинка. «Когда я вспоминаю Марианну Евгеньевну, — мне не с кем ее сравнить, разве что, если иметь в виду силу духа, сказать, что в ней было что-то от первых христиан. Марианна Евгеньевна — это идеальный образ человека, не думающего о своем благе, при этом не только о материальном, а о благе для себя вообще».

Татьяна Берцева. Лучший парк Лесного. Художественно-публицистическое издание. О парке Санкт-Петербургского лесотехнического университета. СПб.: Северо-Запад, 2023. — 278 с.: ил.

Первый лесной вуз России (Практическое лесное училище) был основан по указу императора Александра I в 1803 году, и располагался он в Царском Селе. В ряде официальных документов это учебное заведение именовалось Царскосельским лесным институтом. В январе 1811 года его перевели в Санкт-Петербург на Выборгскую сторону. Теперь это Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С. М. Кирова, известный и как Лесотехническая академия. На протяжении более двух веков Лесной институт перестраивался, расширялся, переименовывался, одновременно формировался и благоустраивался институтский парк, ныне считающийся одним из красивейших в Санкт-Петербурге. Татьяна Берцева, доцент кафедры декоративного растениеводства СПбГЛТУ, собрала обширную историческую информацию и дополнила ее слухами и домыслами, бытующими среди местных жителей, сотрудников университета и студентов. Свое историческое изыскание она начинает с рассказа о Спасской мызе: под таким названием впервые появилось первое официальное упоминание о поселении на этих местах — объявление о продаже усадьбы, принадлежащей статскому советнику Закревскому, племяннику А. Разумовского, фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Впоследствии среди землевладельцев оказался и И. Кушелев, чье имя осталось в современной топонимике Петербурга (Кушелевка, Кушелевская дорога). Среди владельцев был и английский капитан Давидсон, попытавшийся создать опытное земледельческое хозяйство, но малозаселенные и большей частью заболоченные земли оказались не пригодны для сельского хозяйства, и к 1811 году Давидсон разорился. В книге во множестве представлены топографические карты XVIII — XX веков. Т. Берцева повествует обо всех достопримечательностях парка. А это и несколько хорошо сохранившихся каменных и деревянных строений, и бывшая кадетская баня, и напоминающая средневековый донжон водонапорная башня, которая никогда не использовалась по прямому назначению и где А. С. Попов проводил

свои опыты с радио. И конечно, обелиск на месте дуэли внука графа Орлова, флигель-адъютанта Александра I В. Новосильцева и поручика Семеновского полка К. Чернова, состоявшейся 25 сентября 1825 года. Т. Берцева в подробностях, с привлечением архивных документов излагает историю о том, как высокопоставленный аристократ захотел жениться на капитанской дочке, но на дороге влюбленных встала его мать, а брат скомпрометированной бесприданницы заступился за нее, вызвав Новосильцева на дуэль. Оба получили смертельные ранения. На территории парка есть воинские захоронения: памятник героям Октябрьской революции — братская могила, в которой похоронены рабочие-красногвардейцы, павшие в боях с Красным за Петроград в октябре 1917 года, и моряки Балтийского флота, погибшие в боях с войсками стран Антанты (погребены 30 августа 1918 года). А также пять отдельных захоронений деятелей революции (П. Виноградов, И. Орлов, Н. Кокко, И. Ковалев, К. Баранов) и тех, кто много лет работал в Лесном университете: садовода Э. Вольфа, доктора сельскохозяйственных наук М. Ткаченко, русского лесовода, «отца» русской фенологии Д. Кайгородова. О замечательных ученых, трудившихся на благо русского леса, напоминают мемориальные памятные доски на стенах учебных и жилых корпусов: основателю отечественной школы ландшафтной архитектуры Т. Дубяго, основоположнику русского лесоустройства М. Орлову, химику М. Кучерову, лесоводу Г. Морозову. Единственный отмеченный памятным знаком, чья деятельность не имела никакого отношения к лесу, — генерал Парижской коммуны В. Врублевский, поступивший в Петербургский лесной институт в 1853 году. О чем бы ни рассказывала Т. Берцева, ее всегда интересуют люди, их биографии, их удивительные судьбы, труды. За два с лишним века Лесной академии галерея портретов тех, кто был тесно с ней связан, получилась внушительной: первые владельцы будущих угодий учебного учреждения; архитекторы А. Неллигер, И. Лукини, Р. Першке, Э. Жильбер, И. Дитрих, И. Гальбек (ныне эти имена не слишком-то на слуху). С 1827-го по 1844 год работы в Лесном институте курировал генерал Е. Канкрин, состоявший при Особе Его Величества, министр финансов России. Это он разработал систему каналов и прудов для осушения болота, располагавшегося в центре нагорных владений института (парк раскинулся на двух террасах, перепад высот между которыми составляет девять метров). Т. Берцева рассказывает, как была устроена мелиоративная система Канкрина, описывает «глаза парка» — девять живописных прудов, размещенных на территории парка. Почти сорок лет, с 1893-го по 1931 год, главным садовником Лесного был Э. Вольф, ботаник, дендролог, систематик. Это он собрал дендрологическую коллекцию, которая легла в основу дендрологического сада и салицетума. Несть числа интереснейшим, подчас драматичным биографиям выдающихся людей русской науки, о которых рассказывает автор. Имена некоторых носит и ряд аллей парка: аллея А. Холодковского, М. Орлова, В. Сукачева, Л. Иванова, А. Ткаченко... В богатейшей истории парка есть страницы, которые открылись совсем недавно, так до конца 1990-х годов было засекречено точное место расположения командного пункта «Нева», по сути, резервного штаба Ленинградского фронта, секретного подземного города, сооруженного в парке в 1943 году всего за семь месяцев. Лесной университет — это не просто старейший вуз нашего города, но и хранитель памятников культурного наследия, появившихся на его территории в течение XIX — начале XX века. Ныне парк Лесного, особо охраняемая территория с крупнейшей коллекцией древесно-кустарниковых растений из различных регионов мира, по праву является объектом культурного наследия федерального значения, как и очень многое в этом парке. У Берцевой памятные места парка заговорили...

Публикация подготовлена **Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ**

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную Лавку Писателей (Санкт-Петербург. Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06, www.lavkapisateley.spb.ru)

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ХАРБИН — «РУССКИЙ КИТЕЖ»

Часть 8

СОФИЙСКИЙ СОБОР В ХАРБИНЕ (От храма до музея)

Мне часто кажется, что это — сон,
Что я проснусь, и будет все, как прежде —
Церквей харбинских перезвон,
Мой город в чистой снеговой одежде.
Все дальше уходящие года...
Чужой закат над нами пламенеет.
Я видела красавцы города,
Но ты, мой пыльный город, всех милее...

Елена Недерская

В марте 1907 года в Харбине на Сквозной улице в районе Пристани была построена небольшая деревянная церковь в честь Софии Премудрости Божией. Эта деревянная церковь была перенесена на Пристань из района Корпусного Городка. В так называемом «Корпусном Городке», специальном военном поселке, созданном во время войны и для военных нужд частями войск, защищавших Порт-Артур, а затем вошедших в состав 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, была сооружена деревянная церковь, обслуживающая нужды военных учреждений тыла армии. В 1905—1907 годах она служила здесь военной церковью 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии.

По окончании Русско-японской войны эвакуировавшаяся из Маньчжурии воинская часть под командованием генерала А. Колянковского в 1907 году подарила харбинцам деревянный храм, ранее служивший военной церковью. Генерал А. Колянковский, передавая храм православному населению Харбина, надеялся, что «жертвуемое здание воодушевит его мощный дух для воссоздания здесь величественного храма Святой Софии, по своему великолепию не уступающему нашим древним храмам в древнепрестольном граде Киеве». В дарственном документе военные отмечали,

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

что они совершают свое пожертвование, «дабы русское дело в Харбине под сенью этого храма росло и укреплялось».

Инициатором этих работ был широко известный в Харбине чаоторговец, коммерции советник Илья Федорович Чистяков — крупный и щедрый харбинский благотворитель¹. Вся утварь и внутренняя обстановка храма продана И. Ф. Чистякову за 20 000 рублей². На свои средства купец Чистяков перенес здание храма в район Пристань, потратив на благое дело (в том числе и на благолепное и обильное украшение) не менее 60 000 рублей.

Крупнейший в городе чаоторговец Илья Федорович Чистяков происходил из крестьян Рязанской губернии. Приехал в Маньчжурию в 1902 году из Екатеринбурга, где вел чайное дело. В Харбине начинал с небольшими средствами, открыв маленькую чайную лавочку на Пекарной улице. Уже к началу Первой мировой войны он превратил свое предприятие в миллионную фирму, имевшую отделения от Иркутска до Владивостока. Чай привозился с юга Китая, из города Ханькоу (сегодня — Ухань), обрабатывался, расфасовывался и поставлялся в Россию. Чаоторговец Чистяков был поставщиком Российского императорского дома, а также — богобоязненным, верующим христианином.

На средства Чистякова были построены в Харбине: Софийский храм (старый) и церковные дома при нем; храм в Уссурийском крае; храм в Мукдене на кладбище павших русских воинов — с памятным всем русским мукденцам куполом в виде древнерусского шлема. Он также пожертвовал церкви харбинских коммерческих училищ набор колоколов. За общественно-благотворительную деятельность был пожалован императором Николаем II званием коммерции советника³.

11 февраля 1907 года в Харбине на Пристани, в присутствии членов строительного комитета и огромной толпы народа, происходила торжественная закладка приходского храма во имя Св. Софии Премудрости Божией⁴. На средства И. Ф. Чистякова здание церкви было перевезено из Корпусного Городка, и через 20 дней — в воскресенье 4 марта 1907 года — состоялось малое освящение нового храма⁵, в надежде, что позднее на великое освящение прибудет из Владивостока новый архипастырь. Полное освящение храма состоялось 23 ноября 1908 года, его совершил архиепископ Владивостокский и Приморский Евсевий (Никольский).

Вопрос об украшении христианских храмов, придании им благолепного и величественного вида издавна возбуждал «брожение в умах» и изначально был связан не с эстетическими, а сугубо богословскими вопросами. Время от времени на Западе и на Востоке из уст авторитетных служителей Церкви раздавались призывы к «опрощению» богослужения и суровому аскетизму храмовых интерьеров. Причем во взглядах адептов «опрощения» в глубоком подтексте нередко скрывался пресловутый «христианский рационализм». Дескать, зачем расходовать средства на украшение Божиих храмов? «Рациональнее» потратить их на бедных.

Логика на первый взгляд безупречная, но весьма далекая от православия. Церковь требует *и того и другого* и не усматривает здесь антагонизма. Не случайно архиепископ Евсевий (Никольский), освящая в Харбине Свято-Софийский храм в 1908 году,

¹ Мелихов Г. В. Маньчжурия далекая и близкая. М.: Наука, 1991. С. 204.

² Нилус Е. Х. Деятельность церковного отдела управления КВЖД (Обзор церковной жизни полосы отчуждения) // Русская Атлантида. 2009. № 32. С. 17.

³ Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 301.

⁴ Район Пристань, ул. Водопроводная, угол Мостовой.

⁵ Нилус Е. Х. Деятельность церковного отдела управления КВЖД (Обзор церковной жизни полосы отчуждения) // Русская Атлантида. 2009. № 33. С. 16.

сравнил таких «христианских рационалистов» (а точнее сказать — «христианских прагматиков») не с кем иным, как с Иудой Искаротом, пожалевшим о деньгах, потраченных Марией на умашение миром ног Спасителя (ср.: Ин. 12:3–5). Никакой прагматизм здесь не уместен. У людей ведь нет ничего «своего». Будет почтение к Божию дому — ниспошлются и средства на церковную благотворительность! Храмоздательство имеет две стороны: сугубо строительную (по преимуществу внешнюю) и внутреннюю, связанную с церковным благолепием, создаваемым в храме молитвенной атмосферой. Обе стороны одинаково важны⁶.

Первым настоятелем храма был священник о. Петр Богданов (1908–1910)⁷.

С 1907-го по 1934 год штатным диаконом прихода состоял о. Аристарх Сурмели⁸. При церкви был открыт первый и единственный на весь азиатский Восток приходской совет (таковые по постановлению Святейшего Синода стали повсеместно вводиться в России с 1905 года).

Храм получил в Харбине статус первого не железнодорожного и первого приходского. Илья Чистяков занял в нем должность ктитора и оставался в ней до своей смерти в 1922 году. Причт содержался приходским советом на добровольные пожертвования прихожан, а хор целиком оплачивал Чистяков.

Первый штатный хор в Харбине возник в порядке частной инициативы вместе с первой приходской церковью. Это был организованный в 1908 году хор Свято-Софийской церкви на Пристани, полностью оплачивавшийся ктиторм И. Ф. Чистяковым. С этого времени и до 1943 года бессменным регентом софийского хора был И. М. Воротников. На освящении храма архиепископом Евсеем в 1908 году хор этот, по словам харбинца Е. Н. Сумарокова, «пел превосходно в техническом отношении, но исполнял несколько вычурные песнопения»⁹.

Харбин быстро рос и благоустраивался, приобретая черты респектабельного города. Население его неуклонно увеличивалось. По данным переписи, в 1910 году в нем проживало около 40 000 русских. После первого десятилетия неустроенности начинала устанавливаться размеренная жизнь. Чаше устраивались культурные мероприятия, в том числе и концерты духовной музыки с участием харбинских церковных хоров. Первый духовный концерт в Харбине состоялся в 1910 году в старом помещении Железнодорожного собрания. Выступал хор Свято-Софийской церкви под управлением И. М. Воротникова¹⁰.

Церковь эта была несколько расширена и перестроена по проекту архитектора С. К. Треймана: возведена она была подрядчиком Чурбановым в рекордно короткий срок — всего за 200 часов (20 рабочих дней). На 20-й день на колокольню подняли большой и восемь малых колоколов. Это легкое и изящное сооружение подсвечивалось

⁶ Коростелев В. А., Караулов А. К. Православие в Маньчжурии. 1898–1956 / Под ред. О. В. Косик. ПСТГУ, 2019. С. 206–207.

⁷ Иерей Петр Богданов. Благодичный церковью по линии КВЖД 1903–1906 годов от Пекинской духовной миссии. Настоятель Свято-Николаевского собора и первый настоятель (1908) Софийской церкви в Харбине (Харбинский синодик. Духовенство и церковные деятели. Челябинск, 2009. С. 162).

⁸ Протоиерей Аристарх Иоаннович Сурмели родился в 1880 году. Прибыл в Приморье из Одессы. Псаломщик Успенского кафедрального собора во Владивостоке. Обладал красивым сильным голосом. В 1903 году рукоположен в сан диакона. Участник I съезда Харбинской епархии в 1922 году от благочиния города Харбина. Преподавал Закон Божий в учебных заведениях. В 1934 году, после того, как потерял голос, ушел за штат. Скончался 26 апреля 1944 года после тяжелой операции. Похоронен на Новом кладбище в Харбине на территории некрополя для священнослужителей (Харбинский синодик... С. 167).

⁹ Коростелев В. А., Караулов А. К. Указ. соч. С. 235.

¹⁰ Там же. С. 72–73.

электричеством, и с наступлением сумерек его кресты сияли в темном небе разноцветными огнями¹¹.

В 1912 году храм претерпел реконструкцию. Храм был обложен кирпичом и реконструирован по проекту С. К. Треймана. Был пристроен левый придел во имя пророка Божия Илии и мученицы Ираиды (святых, соименных самому Чистякову и его супруге Ираиде Петровне). На колокольне над входом в храм появились новые колокола — один большой и восемь малых. Когда в Харбине проводились церковные праздники, звонарь ударял в колокола. Звон разносился по всей округе.

Иконная живопись этого храма была выполнена на средства того же И. Ф. Чистякова¹².

При входе в храм по обеим сторонам располагались два больших живописных полотна: «Послы Владимировы в Софийском соборе в Царьграде» и «Крещение киевлян при Владимире». Собор отвечал не только религиозным потребностям, но являлся средством сохранения русской истории. Авторы книги «Русский Харбин» (2015) справедливо пишут, что «обращение к киевскому Софийскому собору в Харбине означало желание утвердить свои национально-православные истоки и культуру через символическое подобие известной святыне. Никакого архитектурного подобия формам киевского собора нет, но это посвящение имело выражение в интерьере: при входе в церковь прихожан встречали сцены „Послы Владимировы в Софийском Соборе в Царьграде“ и „Крещение киевлян при Владимире“»¹³.

Особенностью Софийской церкви, как рассказывали старожилы, были живопись и особо выразительное хоровое пение. Хоры (лики) для певчих были устроены парные: по правую руку — мужские, по левую — женские, что позволяло в этой церкви воссоздать старославянское антифонное пение «на два лика»; вместе с ними пела и вся церковь, вмещавшая до 200 человек¹⁴. Софийская церковь была прекрасно украшена, щедро снабжена всем необходимым для богослужений. За ней среди жителей Харбина закрепилось красноречивое название — «Софийская лавра».

Показательно, что при строительстве железнодорожных храмов место для штатного хора не предусматривалось — ни в виде специального дополнительного клироса, ни внутреннего балкона у западной стены. Последнее было в принципе неосуществимо из-за сравнительно невысоких потолков. Даже в Свято-Николаевском кафедральном соборе балкон для хора был пристроен лишь в 1925 году, во время очередного ремонта храма. Не случайно И. Ф. Чистяков, заказывая проект реконструкции Свято-Софийской церкви, учел необходимость сооружения в ней балкона для штатного хора над входом¹⁵.

В 1910 году о. Петра Богданова в должности настоятеля сменил протоиерей Василий Пашин (1910—1912); далее приход возглавляли о. Афанасий Котяков (1912—1919)¹⁶ и о. Анатолий Михайлов (1919—1920)¹⁷. В эти годы в числе штатных священников со-

¹¹ Мелихов Г. В. Маньчжурия далекая и близкая. М.: Наука, 1991. С. 204.

¹² Нилус Е. Х. Указ. соч. С. 16.

¹³ Забияко А. А., Забияко А. П., Левашко С. С., Хисамутдинов А. А. Русский Харбин: опыт жизнестроительства в условиях дальневосточного фронта. Благовещенск: Амурский университет, 2015. С. 44.

¹⁴ Мелихов Г. В. Маньчжурия далекая и близкая. М.: Наука, 1991. С. 204.

¹⁵ Коростелев В. А., Караулов А. К. Православие в Маньчжурии. 1898—1956 / Под ред. О. В. Косик. ПСТГУ, 2019. С. 236.

¹⁶ Протоиерей Афанасий Иванович Котяков. Родился в 1878 году во Владивостоке в купеческой семье. Окончил Благовещенскую духовную семинарию. Служил на приходах Приморского края. В 1910 году получил назначение в Харбин, где служил настоятелем Софийской церкви. Скончался в 1919 году. Похоронен в правом приделе Софийского храма (Харбинский синодик... С. 87).

¹⁷ Протоиерей Анатолий Дмитриевич Михайлов. Сын священника Казанской епархии. Окончил духовную семинарию. Служил в Уфимской епархии. Последняя должность в России — протоиерей ка-

стояли о. Петр Лапикен (1917–1921), о. Симеон Литвинцев (1921–1925)¹⁸ и о. Феодор Стрелков (1921–1929).

Протоиерей Феодор Порфирьевич Стрелков. По национальности мордвин. Окончил учительскую семинарию в Казани в 1881 году. Был учеником выдающегося педагога-миссионера Н. И. Ильминского. Назначен учителем в село Михайловское-Кизильяр Златоустовского уезда Уфимской губернии. Рукоположен во священника к церкви того же села в 1883 году. Успешно вел пастырскую и миссионерскую деятельность в своем крае, построил здесь церковь и несколько школ. Возведен в сан протоиерея. С 1909-го по 1919 год — настоятель бирского Свято-Троицкого собора. В Бирске крестил черемисов и открывал церковно-приходские школы в окрестных черемисских селах. В 1915 году назначен заведующим Уфимской черемисской миссии. Ушел с отступающими частями Белой армии. Прибыл в Харбин в 1919 году. Служил в Софийской церкви. В 1920-х годах преподавал Закон Божий в начальных школах Харбина. Председатель Харбинского епархиального миссионерского совета (1929). Батюшка запомнился харбинцам, по словам епископа Нафанаила (Львова), как «духоносный старец, имеющий дар исключительно проникающего в сердца слова». Был очень любим своими юными учениками¹⁹.

Ровно 20 лет (с 1922-го по 1942 год) в штате Софийской церкви состоял протодиакон Николай Вартминский²⁰. Вспоминает внучка о. Николая — харбинка А. П. Вартминская: «Когда совершилась революция, семья дедушки уехала во Владивосток, где дедушка принял сан протодиакона и служил в местном соборе, а в 1922 г. уехал в Харбин и начал служить в Софийском храме, через год к нему присоединилась и вся семья. Жили при Софийском подворье в доме, где было четыре комнаты, большая кухня, веранда, ванная комната с туалетом. В подворье размещались квартиры для священнослужителей и регента»²¹.

При церкви были открыты частная начальная школа и (по инициативе И. Ф. Чистякова) Софийское училище восточных языков, в котором ощущалась острая практическая необходимость; училище подготовило несколько десятков квалифицированных переводчиков²². Приход имел свое благотворительное учреждение — Софийское приходское похоронное бюро. Едва ли нужно говорить, какое значение могло иметь для беднейшего населения города такое учреждение. Если не на катафалке, то хотя бы на дорогах и в простом гробу, но с крестом на нем по православному обычаю совершалось

федерального собора Уфы. Во время Гражданской войны как беженец прибыл в Харбин. Настоятель Софийской церкви в Харбине. Скончался 8 августа 1920 года. Похоронен в старом Софийском храме. (Харбинский синодик... С. 83).

¹⁸ Протоиерей Симеон Андреевич Литвинцев. Служил в Софийской церкви (1920–1926), в Алексеевской церкви в районе Модягоу (1926), в Покровской домово́й церкви Украинского национального дома (1928–1932), в церкви при приюте-училище «Русский дом» (1931), вновь в Алексеевской церкви (1940). Законоучитель в 3-й городской школе (Харбинский синодик... С. 139).

¹⁹ Харбинский синодик... С. 143.

²⁰ Протодиакон Николай Петрович Вартминский родился в 1882 году в Омске в семье польского дворянина. После окончания гимназии поступил в Санкт-Петербурге в императорский церковный хор. Голос у него был бас-октава. В 1917 году переехал во Владивосток, где был рукоположен в сан диакона. Служил в соборе. Возведен в сан протодиакона. В 1922 году эмигрировал в Китай. Служил в Софийской церкви Харбина. Скончался в 1942 году от сердечного приступа. Похоронен на Успенском кладбище (Харбинский синодик... С. 172–173).

²¹ Вартминская А. П. Вартминские и Котяковы // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 11 (о. Николай Вартминский — штатный протодиакон с 1922-го по 1942 год).

²² Мелихов Г. В. Маньчжурия далекая и близкая. М.: Наука, 1991. С. 204.

погребение безродных или неимущих людей²³. При похоронном бюро была конюшня с породистыми лошадьми, так как похороны заказывали и бедные, и богатые; соответственно запрягали в катафалк от одной до четырех лошадей²⁴.

Сам И. Ф. Чистяков скончался 22 ноября 1922 года и был погребен в ограде Софийской церкви²⁵. Печальным событием в местной церковной жизни также явилась кончина 22 июля 1925 года в г. Харбине Преосвященного Михаила, епископа Приморского и Владивостокского, также погребенного в храме Св. Софии²⁶.

С сентября 1920-го по февраль 1923 года настоятелем Софийской церкви был протоиерей Иоанн Сторожев. Ранее, в 1918 году он стал последним русским священником, причастившим семью государя императора Николая II (см. приложение 6). В Харбине о. Иоанн прожил со своим семейством до своей кончины, последовавшей в 1927 году. Там он был последовательно настоятелем Софийской церкви, затем Свято-Алексеевской. Протоиерей Иоанн положил немало сил на организацию школы для беднейших детей при харбинской Алексеевской церкви, а также создание хорошего прихода.

Еще в дни своей жизни в Харбине о. Иоанн принял у себя знаменитого следователя Соколова, продолжавшего опрос свидетелей убийства царской семьи после того, как был вынужден покинуть Россию. Однако едва ли к о. Иоанну приходило понимание важности промыслительного случая, сделавшего его последним из всего православного духовенства, причащавшим последнего российского государя²⁷.

С 1923-го по 1944 год настоятелем Софийской церкви был протоиерей (затем протопресвитер) Михаил Филологов.

Протопресвитер Михаил Яковлевич Филологов. Родился в 1870 году в селе Карасинское Челябинского уезда. Из семьи духовенства. Окончил Оренбургскую духовную семинарию в 1893 году и рукоположен в сан иерея. В 1907—1918 годах настоятель Свято-Троицкой церкви в Оренбурге. В 1914 году совершил перевозку тела почившего в Ессентуках владыки Феодосия (Олтаржевского) в Оренбург. При отступлении с Белой армией в 1919 году некоторое время был в Челябинске, где вошел в состав Временного епархиального управления, организованного архиепископом Мефодием (Герасимовым). Эмигрировал в Маньчжурию в 1920 году. Первое время жил в Дайрене, работал рабочим на мыловаренном заводе в Чифу. В 1920 году получил место настоятеля храма Св. Иннокентия и заведующего подворьем Пекинской духовной миссии в Маньчжурии. С 1923 года — настоятель Софийской церкви в Харбине. Позднее — председатель Харбинского епархиального совета. Один из деятельных участников строительства новой Софийской церкви и Приюта-убежища имени митрополита Мефодия в Харбине. Арестован японскими властями в 1943 году за отказ приносить поклонение японской языческой богине. В течение месяца находился в заключении в тяжелых условиях и после освобождения прожил недолго. Скончался 11 декабря 1944 года. Похоронен в Харбине²⁸.

Строительство нового собора. В связи с притоком эмигрантов приходской совет решил построить новое здание храма на том же участке, где возвышалась прежняя

²³ Падерин Николай, свящ. В рассеянии // Альфа и Омега. № 3 (29). М., 2001. С. 266 / Падерин Николай, священник. Церковная жизнь Харбина. Из кн.: Церковь твою утверди: Из воспоминаний о церковной жизни Харбина. Сан-Паулу, 1967. Цит. по: Русский Харбин. Изд. Московского ун-та, 1998. С. 30.

²⁴ Вартминская А. П. Указ. соч. С. 11.

²⁵ Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 301.

²⁶ Нилус Е. Х. Деятельность церковного отдела управления КВЖД (Обзор церковной жизни полосы отчуждения) // Русская Атлантида. 2009. № 33. С. 20.

²⁷ Гончаренко О. Г. Русский Харбин. М.: Вече, 2009. С. 205.

²⁸ Харбинский синодик. Духовенство и церковные деятели. Челябинск, 2009. С. 75.

церковь²⁹. Храм Святой Софии Премудрости Божией был заложен 14 октября 1923 года, благодаря усилиям настоятеля прихода протоиерея Михаила Филологова.

В 1925 году уже были построены фундамент и цоколь храма, в 1926 году были возведены стены первого этажа. Однако до 1930 года завершить работы не удалось. В те годы КВЖД перешла в советское управление и субсидий на строительство храмов не выдавала. Времена были тяжелые — так называемые «беженские годы», когда из России бежали офицеры, промышленники, священники, артисты, научные работники, банкиры, инженеры. Всем нужно было найти кров и работу. А в 1932 году строительство было временно приостановлено в связи с наводнением в Харбине. Торжественное освящение храма совершилось в воскресенье 25 декабря 1932 года (12 декабря по ст. стилю). И вплоть до 1941 года он оставался крупнейшим на территории Маньчжурии.

Трехпрестольный храм построен в псевдорусском стиле, совмещающем в себе элементы византийской культуры и русские национальные традиции. Автор проекта храма — гражданский инженер (архитектор) Василий Антонович Косяков³⁰. Выполнение плана и сооружение храма было поручено опытному гражданскому инженеру Юлию Петровичу Жданову (1877–1940), который после окончания Института гражданских инженеров (1898–1903) был направлен в Харбин на строительство КВЖД.

Непосредственно привязкой проекта Софийского храма занимался гражданский инженер Михаил Матвеевич Осколков, который окончил Николаевское инженерное училище в 1899 году, Николаевскую инженерную академию в 1903 году. В Харбин Осколков эмигрировал в 1920 году, где с 1923-го по 1932 год участвовал в возведении Софийского храма, опыт строительства аналогичного храма в России он использовал в Китае. (За основу М. М. Осколков взял свой же проект ранее построенного храма в Благовещенске.) В 1928 году инженер Ю. П. Жданов оставил руководство работами, и за строительство стал отвечать М. М. Осколков. Работы были сданы подрядчику Семену Никифоровичу Пешкову³¹.

Архитектурная предыстория Софийского собора восходит к концу XIX столетия. В апреле 1891 года в японском городе Отсу японец-фанатик совершил покушение на цесаревича Николая Александровича, сделавшего остановку в Японии во время своего кругосветного путешествия. Цесаревич (будущий император Николай II) благополучно остался жив. В годовщину этого памятного события была заложена Гутуевская церковь (на Гутуевском острове в устье Невы). В качестве образца для нее был взят возводившийся в 1891 году храм Христа Спасителя в селе Борки под Харьковом — в память спасения императора Александра III и его семьи во время крушения поезда 17 октября 1888 года³².

Архитектурными аналогами Софийского собора являются три храма. Первый из них был возведен в Санкт-Петербурге — храм Богоявления Господня на Гутуевском острове (1892–1897). Второй — в Никольск-Уссурийске (современный город Уссурийск, Приморский край) — Николаевский собор (1894–1900). Третий — в Благовещенске — Троицкая церковь (1906–1911). Четвертым был построен храм Святой Софии Премудрости Божией (1923–1932) в Харбине уже после смерти

²⁹ Храм строился в районе Дао Ли (бывш. «Пристань») на улице Тхоу Лун Дзе № 95 (бывш. «Водопродная») рядом с улицей Чжао Линь Дзе (бывш. «Мостовая»).

³⁰ В. А. Косяков при разработке своего проекта ориентировался на образ храма Христа Спасителя в селе Борки под Харьковом (арх. Р. Р. Марфельд), основанного в честь спасения императора Александра III с семьей при крушении там поезда 17 октября 1888 глда.

³¹ Еремин С. Ю., Киричков И. В. Храм Святой Софии Премудрости Божией в Харбине // Религиоведение. 2020. № 1. С. 137 («Религиоведение». Научно-теоретический журнал Амурского государственного университета).

³² Крадин Н. П. Харбин — русская Атлантида. Хабаровск, 2001. С. 104.

автора проекта Василия Антоновича Косякова. Известно, что В. А. Косяков умер в 1921 году. В настоящее время храмы в Благовещенске и Уссурийске не сохранились³³. При общем сходстве нельзя сказать, что Софийский храм в Харбине стал абсолютной копией уже существующих храмов. Каждый из этих храмов уникален по-своему. В качестве отличительных черт могут быть названы: форма центрального купола, внутренние колонны, иконостасы, росписи, мозаики, кирпичная кладка, заполнение оконных, дверных проемов, наружное благоустройство. Вероятно, столь значительные изменения диктовались отсутствием некоторых видов строительных материалов, необходимых специалистов, необходимостью дополнительных финансовых вложений, градостроительными условиями. Если храм Богоявления Господня на Гутуевском острове расположен вдали от центра города, то храм Святой Софии Премудрости Божией находится непосредственно в самом центре Харбина и является основной градостроительной доминантой³⁴.

Построили храм на средства прихожан и пожертвования крупных коммерсантов города³⁵. Всего на его строительство, включая внутренние росписи, было потрачено 180 тыс. местных долларов. Из этой суммы путем добровольных пожертвований было собрано 42 тыс. долларов 90 центов. Остальная сумма изыскана на месте. Первыми жертвователями стали Л. М. Гвоздев и А. Ф. Симеон. Первые пожертвования — 40 куб. м бутового камня, 300 рублей, 100 тыс. шт. кирпича. В состав первого строительного комитета вошли инженер Карганов, Л. М. Гвоздев, Н. В. Водянский, П. И. Кузнецов, И. П. Чистякова, А. Г. Глебов, П. П. Крынин, А. И. Лякер, Г. Д. Антипас, С. Ф. Скоблин, И. И. Павлов, Т. А. Головизнин, М. М. Осколков, протоиерей о. Ф. Стрелков, И. М. Воротников, протодиакон А. Сумерли. Состав комитета со временем менялся в связи со смертью некоторых его членов. Возведенная церковь играла доминирующую роль в окружающем городском ландшафте³⁶.

Незадолго до своей кончины И. Ф. Чистяков принял активное участие в постройке нового храма. По слухам тех лет, он пожертвовал более половины сметной стоимости строительства церкви. Его жена Ираида Петровна Чистякова продолжила дело мужа и по завершении строительства «новой Софии» была избрана старостой храма. Эту ответственную работу она вела долгие годы — ее невысокая ладная фигурка с шишечкой волос на голове есть на многих снимках харбинского духовенства³⁷.

Одним из штатных священников Софийского собора был о. Владимир Александрович Петров. Он приехал в 1923 году из России и поначалу был приписным священником (то есть лишь заменял при необходимости других), но позднее его выбрали в основной штат.

Протоиерей Владимир Александрович Петров родился в 1882 году в Уфимской губернии в семье священника. Окончил Уфимскую духовную семинарию (1902). Учитель начальной и учительской второклассной школы. В 1906 году рукоположен в сан иерея. Служил в селе Ярославка Златоустовского уезда Уфимской губернии. В 1919 году пе-

³³ Исследователь архитектуры Харбина Николай Петрович Крадин отмечает: «Символичным оказалось то, что строилась Софийская церковь как раз в то время, когда Троицкую церковь в Благовещенске ломали. Разрушенная, она как бы вновь возродилась в эмиграции». (В июле 1936 года Троицкий собор в Благовещенске был взорван. В настоящее время планируется к восстановлению.)

³⁴ Еремин С. Ю., Киричков И. В. Указ. соч. С. 139. На сходство харбинского Софийского храма с Санкт-Петербургским первым в печати указал Л. И. Чугуевский, петербургский житель и бывший харбинец.

³⁵ Тыкоцкий Г. Б. Свято-Софийский храм // Русская Атлантида. 2003. № 10. С. 35.

³⁶ Еремин С. Ю., Киричков И. В. Указ. соч. С. 133.

³⁷ Грибин Сергей. «Любимый Харбин». Владивосток, 2015. Глава «София Цзяо Тан» — символ русского Харбина. С. 125.

реехал в Томскую губернию, где недолго служил в селе Мало-Пичугино. В 1923 году эмигрировал в Китай. Служил в Софийской церкви Харбина (1923—1945). С 1923 года — казначей строящегося Софийского храма. Секретарь Харбинского епархиального миссионерского совета (1929). Устроитель Софийской типографии, где печаталась религиозная литература. Законоучитель Четвертого начального училища в Харбине. Член попечительства о бедных духовного звания. Скончался 20 декабря 1945 года в Харбине от туберкулеза. Похоронен в правом приделе Софийского храма³⁸.

Из воспоминаний дочери о. Владимира Петрова — Ольги Владимировны: «В 1931—1932 году в Софийском приходе заканчивалась постройка новой церкви, которую начали строить еще в 1921 году. В этом деле большое участие принимали настоятель Софийской церкви отец М. Филологов и наш папа. Настоятель говорил, что папа „у него правая рука“. Да и мама немалую помощь оказывала. Она собирала деньги среди прихожанок и знакомых, покупала материал на облачения священнослужителям и на одеяния всех церковных прислужников. Освящение храма было 25 декабря нового стиля. Торжество было большое. Служило несколько архиереев и много священников. Народу было масса. Все чувствовали какой-то большой подъем, потому что было такое трудное время, а воздвигли такой громадный храм. Особенно чувствовали те, кто близко соприкасался с постройкой этого храма»³⁹.

В эти годы в числе штатных священников состояли о. Александр Паевский (1929—1931), о. Андрей Знаменский (1930—1931)⁴⁰ и о. Петр Малышев (1931—1932)⁴¹.

С 1925—1926 годов при Софийской церкви состояло несколько сверхштатных священников. Иерей Сергей (Лепоринский) служил в Софийской церкви всего один год (1925)⁴², так же как и о. Николай Киклович (1925)⁴³. В 1926 году при храме состояли о. Ипполит Фофанов (1926)⁴⁴ и о. Павел Яхно (1926)⁴⁵.

Несколько дольше при Софийском храме состоял о. Владимир Упшинский (1925—1927).

³⁸ Харбинский синодик... С. 96—97.

³⁹ Принцева Светлана. Живая история: Мой дедушка строил Софийский собор // <https://www.unification.com.au/articles/3361/> «Единение» — Еженедельная газета русской общины Австралии. Опубликовано 11 июля 2016 года. Дата посещения 6 ноября 2022 года.

⁴⁰ Протоиерей Андрей Петрович Знаменский. Служил в Корпусном городке Харбина (1920—1922), в женском монастыре (1924—1936), в Софийской церкви (1930—1931). Член Харбинского епархиального совета (1929) (Харбинский синодик... С. 84—85).

⁴¹ Протоиерей Петр Симеонович Малышев. Служил или был приписан к Софийской церкви Харбина (1931), к церквям на ст. Чжалайнор и на Чжалайнорских коях (1937—1938), к Иверской церкви Харбина, при которой и проживал. Был уже в преклонном возрасте. Преподавал Закон Божий в начальной школе (Харбинский синодик... С. 134).

⁴² Харбинский синодик... С. 163.

⁴³ Протоиерей Николай Григорьевич Киклович начинал служение в Софийской церкви Харбина в сане диакона в 1925 году. Вероятно, в 1926 году был рукоположен во священника к церкви Сунгарийского городка Харбина (1926—1927). Далее служил на ст. Мяньюхэ (1934—1936) и на ст. Яомынь (1936—1937), в г. Сахалине (1937—1940), на ст. Эхо (1940—1941), в церкви района Московских казарм Харбина в 1941 году. Последний настоятель церкви на ст. Бухэду КВЖД в 1940-х годах. Имел богословские труды. Издатель православной литературы. Скончался в Харбине в конце 1950-х годов. Похоронен на кладбище Хуан-шан в Санкешу (Харбинский синодик... С. 124).

⁴⁴ Иерей Ипполит Павлович Фофанов. Служил в Свято-Николаевском соборе Харбина (1921—1926), на ст. Имяньпо (1922), на ст. Мулин (1922—1923), в Софийской церкви Харбина (1926) (Харбинский синодик... С. 157).

⁴⁵ Иерей Павел Григорьевич Яхно. Служил в Софийской церкви Харбина (1926), на станции Чжалантунь КВЖД (1937—1938), Ашихэ (1938—1941), в Петропавловской церкви Сунгарийского городка (1940) и Иверской церкви (1940—1947) Харбина. Скончался в Харбине в 1947 году (Харбинский синодик... С. 162).

Протоиерей Владимир Александрович Упшинский родился в Вятской губернии в семье псаломщика. Окончил Вятскую духовную семинарию (1898). Преподавал Закон Божий в сельских школах. В 1899 году рукоположен в сан священника к церкви села Токтай-Беляки Уржумского уезда. В 1907 году переведен на должность настоятеля храма в селе Какои, затем — в селе Кильмезь. В 1918 году прибыл в Пермь, откуда эвакуировался во Владивосток, где работал делопроизводителем в канцелярии управления Приморской областью. В 1920 года эмигрировал в Китай. Служил в Пекине в Православной духовной миссии, в русской посольской церкви. С 1922 года жил в Харбине. Служил в Софийской церкви в 1925—1927 годах и в церкви Харбинского женского монастыря в 1927—1939 годах, затем снова в Софийской церкви. Окоормлял также храм при тюрьме. Скончался 23 октября 1938 года в Харбине. Похоронен на Успенском кладбище⁴⁶.

В течение пяти лет при храме состоял о. Димитрий Смирнов (1925—1930)⁴⁷, а о. Георгий Яковлев служил в Софийской церкви в 1926—1940 годах⁴⁸. С 1925-го по 1938 год в Софийской церкви служил сверхштатный диакон Василий Серапинин⁴⁹.

Японская оккупации северо-востока Китая (1931—1932). В период империи Маньчжоу-Го (до 1945 года) каждой церкви была выдана охранная грамота, храмы не платили никаких налогов и сборов, не выполняли повинностей. И не случайно поэтому в 1930—1940-е годы в Харбине начался новый всплеск храмового строительства. Пожалуй, самые интересные в архитектурно-художественном отношении каменные церкви появились именно в указанный период. Это прежде всего Софийская церковь⁵⁰.

В стилевом отношении в культовой архитектуре Харбина наиболее рельефно и ярко просматриваются два основных направления — русское и византийское. Яркими примерами первого можно назвать Свято-Николаевский собор, Иверскую, Свято-Алексеевскую в Модягоу, Успенскую на Новом кладбище, Николаевскую в Затоне и *Софийскую* церкви. Второе направление могут красноречиво проиллюстрировать Свято-Покровская церковь на Старом кладбище, часовня при Доме милосердия и новая Благовещенская церковь Пекинского подворья⁵¹.

Центральный большой купол темно-зеленого цвета имеет луковичную форму и поставлен на высокий барабан, окруженный поясом окон и кокошников. Общее количество арочных проемов барабана составляет шестнадцать. Фасады украшены многочисленными узорами, вход обрамлен арочным порталом. Над входом возвышается сужающаяся кверху двухъярусная шатровая колокольня со стрельчатыми арками звонниц, увенчанная золоченой луковичной главкой с крестом. Росписью стен храма занимался учитель рисования Александр Кузьмич Холодилов по эскизам, составленным художником-педагогом, выпускником Строгановского художественно-промышленного училища Владимиром Михайловичем Анастасьевым в русском теремном стиле. Следует отметить, что на внутренних стенах храма не было изображения икон — только лишь орнаментальные росписи. А. К. Холодилов в 1920 году эмигрировал в Хар-

⁴⁶ Харбинский синодик... С. 97—98.

⁴⁷ Протоиерей Димитрий Симеонович Смирнов. Окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Священник с 1907 года (Томск). Служил здесь до 1918 года, затем и Чите, Владивостоке. Далее эмигрировал в Китай. Служил в Софийской церкви Харбина (1925—1930), на ст. Пограничная КВЖД (1930—1932), в Хайларе (1933—1939), на ст. Якеши (1939—1952). Скончался на ст. Якеши в 1952 или 1953 году (Харбинский синодик... С. 102).

⁴⁸ Протоиерей Георгий Васильевич Яковлев ранее служил в Свято-Николаевском соборе Харбина в 1923—1925 годах (Харбинский синодик... С. 101).

⁴⁹ Протоиерей Василий Симеонович Серапинин скончался 22 ноября 1938 года в Харбине (Харбинский синодик... С. 168).

⁵⁰ Крадин Н. П. Харбин — русская Атлантида. Хабаровск, 2001. С. 90—91.

⁵¹ Там же. С. 91.

бин, с 1924 года был штатным преподавателем рисования и черчения в Высшем начальном училище Харбина (на Артиллерийской ул.), в котором проработал более 20 лет. Считался одним из лучших художников-педагогов Харбина⁵².

Вновь созданное здание Софийской церкви отличали пышное богатое убранство, оригинальность и грандиозность размеров. Высота храма составила 53 м, площадь — 721 кв. м, вместимость — 2000 молящихся⁵³. Первым настоятелем нового Софийского храма стал протопресвитер о. Михаил Филологов, занимавший также пост секретаря Епархиального совета⁵⁴. «Из церквей Харбина многие являются исключительно ценными с художественной, архитектурной стороны, — писал епископ Нестор (Анисимов). — Прекрасен величественный новый, только что отстроенный Софийский собор, имеющий внутри девятнадцать саженей, а по наружному обмеру — двадцать пять саженей в высоту, построенный стараниями отца протоиерея М. Филолова и его сотрудников»⁵⁵.

Одним из сослужителей о. Михаила был сверхштатный священник Валентин Синайский (1932—1935).

Протоиерей Валентин Никодимович Синайский родился в 1890 году в Оренбургской губернии в семье священника. Окончил Оренбургскую духовную семинарию. Рукоположен в сан иерея к церкви станицы Донецкой Оренбургской епархии в мае 1917 года. Служил также в станице Бузулук. Во время Гражданской войны полковым священником Белой армии. Эмигрировал в Китай в 1921 году. Служил в церкви Старого Харбина в 1924—1927 годах, затем в г. Хайларе в 1927—1932 годах, с 1932 года — в Софийской церкви г. Харбина. В это же время участвовал в строительстве приюта митрополита Мефодия и возглавлял его. С 1935 года настоятель церкви в городе Ханькоу, Циндао и затем в Тяньцзине Российской духовной миссии в Китае. В 1950 году председатель Управления Восточно-Азиатского экзархата. В 1951 году — председатель совета миссии в Пекине. В 1953 году вернулся в СССР. Был настоятелем собора в Свердловске. Переведен в Вологду в 1956 году. Вернулся вновь в Свердловск, где служил на Михайловском кладбище. С 1962 года ушел за штат и уехал в Кривой Рог. Скончался в Кривом Роге 1 сентября 1981 года⁵⁶.

В числе причта состоял штатный диакон Михаил Калиновский (1935—1953).

Протоиерей Михаил Сергеевич Калиновский родился ок. 1880 года. Из семьи духовенства. Окончил духовную семинарию. Работал на Дальнем Востоке на таможне. Во время Гражданской войны эмигрировал в Китай. Жил в Харбине. Псаломщик в Софийской церкви. В 1940-х годах рукоположен в сан диакона. В 1953 году переехал в Бельгию. Служил в православном храме-памятнике в Брюсселе (1961). Скончался в Брюсселе в 1964 году⁵⁷.

После оккупации всего северо-востока Китая в 1931—1932 годах японскими захватчиками и создания ими марионеточного государства Маньчжоу-Го японская администрация распорядилась во всех храмах иноверцев установить изображения японской богини Аматерасу О Мийами (харбинцы тайком называли его «Девка с ногами на матраце»). Было необходимо дважды в день в определенное законом время кланяться в сторону Токио, где располагался дворец императора Японии, и в сторону Чанчуня, где находилась резиденция императора Маньчжоу-Го — Пу И.

⁵² Еремин С. Ю., Киричков И. В. Указ. соч. С. 138—139.

⁵³ Лалетина (Николаева) Н. Н. Картинки с китайской натуры. Харбин // Русская Атлантида. 2006. № 18, С. 60.

⁵⁴ Тыкоцкий Г. Б. Свято-Софийский храм // Русская Атлантида. 2003. № 10. С. 35.

⁵⁵ Нестор, епископ. Маньчжурия — Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 46.

⁵⁶ Харбинский синодик. Духовенство и церковные деятели. Челябинск, 2009. С. 89.

⁵⁷ Там же. С. 172.

Первое время религиозные новшества насаждались среди коренного населения (китайского, маньчжурского, монгольского, корейского) и русских как бы не касались. Но вскоре дошла очередь и до них. В феврале 1943 года прояпонская администрация издала в Маньчжурии так называемое «Наставление верноподданным». Документ этот предписывал среди прочего *всему населению* подконтрольных территорий «благоговейное поклонение» Аматерасу. Никаких исключений для православных не делалось. Предписывалось и им в определенные дни совершать поклонения японским храмам⁵⁸. Православные харбинцы сразу же отказались от этого действия, ссылаясь на то, что христианин не может поклоняться двум богам. Японцы настаивали.

Отец Михаил Филологов, настоятель недавно построенной Софийской церкви на Пристани, в те годы был секретарем Епархиального совета. Он всегда был очень рослым и полным человеком — китайцы, которые всегда с почтением относились (и относятся) к таким крупным мужчинам, говорили ему вслед с уважением: «Русский Бога поехал». Местные прояпонские власти арестовали отца Михаила и продержали его в своих застенках фактически как заложника, без предъявления обвинения более трех месяцев, надеясь сломить «упрямство» правящего архиерея — владыки Мелетия (Заборовского) и вынудить всех православных христиан исполнять государственный закон⁵⁹.

Протопресвитер Михаил Филологов, второе лицо в Епархиальном совете, вынужден был отреагировать на эти указания, склоняясь к тому, что поклонения возможны как *светские* государственные мероприятия. Он писал: «Постановление властей, желающих видеть в нас ближайших помощников в деле распространения светлых принципов Ван-Дао, мы встречаем с радостью и с готовностью пойдем навстречу»⁶⁰. Вскоре, однако, пришло осознание, что над всеми православными людьми Маньчжурии нависла угроза осквернения и впадения в мерзость идолопоклонства. Духовенство в целом держалось твердо.

В 1944 году протопресвитер Михаил Филологов после вышеупомянутого заявления в прессе об условиях допустимости поклонений Аматерасу был выведен из состава Епархиального совета, отстранен от настоятельской должности в Свято-Софийской церкви на Пристани, которую занимал более двадцати лет, а также запрещен в служении. Будучи престарелым болезненным человеком, он тут же слег и через полгода скончался. Утверждали, что от тучного о. Михаила вскоре «осталась половина»⁶¹.

Похоронили настоятеля, по словам русских харбинцев, внутри Софийского храма под деревянным полом у стены южного придела церкви. Долгое время место захоронения было обнесено невысокой оградкой, она не сохранилась. Но никто из христиан Харбина не исполнял языческого ритуала — японские власти вынуждены были «закрывать глаза» на эту часть общественной жизни в своем государстве Маньчжоу-Го⁶².

Проживая компактно в Китае, российские эмигранты стремились создать вокруг себя привычную им атмосферу жизни, где православию отводилась едва ли не главная роль. В каждом районе Харбина обязательно имелась церковь, а то и несколько, силуэты их возвышались над более низкой застройкой, а колокольный звон, раздававшийся со всех сторон, еще более напоминал русские города. Построенная в русском стиле Софийская церковь в Харбине напоминала эмигрантам Россию. Выходцы из Приамурья, а их было в Харбине немало, узнавали в этом храме свою, знакомую по Благове-

⁵⁸ Коростелев В. А., Караулов А. К. Православие в Маньчжурии. 1898—1956 / Под ред. О. В. Косик. ПСТГУ, 2019. С. 320—321.

⁵⁹ Еремин С. Ю., Киричков И. В. Указ. соч. С. 134.

⁶⁰ Коростелев В. А., Караулов А. К. Указ. соч. С. 321.

⁶¹ Там же. С. 322.

⁶² Еремин С. Ю., Киричков И. В. Указ. соч. С. 135.

щенску церковь. Символичным оказалось и то, что строилась Софийская церковь как раз в то время, когда Троицкую церковь в Благовещенске ломали. Разрушенная, она как бы вновь возродилась в эмиграции. В 1939 году в газете «Голос эмигрантов» в одной из статей безымянный автор написал: «Харбинские храмы не блещут богатством, роскошью отделки, золотом кованых риз, сверканьем самоцветов на иконах. Но в них горит огонь чистой веры, согревающей русских изгнанников в их скорбном жизненном пути»⁶³.

Богословский факультет. По завершении строительства в старой Софийской церкви были размещены Епархиальный совет, богословский факультет и похоронное бюро. В Епархиальный совет, помимо правящего архиерея, входило три члена совета при нескольких сотрудниках. Работа в Епархиальном совете велась ежедневно. Здесь всегда можно было встретить духовенство из городских и железнодорожных приходов, приезжавшее в Харбин по своим церковным делам, а также много светского люда с вопросами по различным общественным и личным делам⁶⁴.

Епархиальная библиотека, помещавшаяся тут же, привлекала много посетителей многообразием отделов и некоторыми редкими трудами ученых богословов. (Функционировала она, однако, с перерывами, а затем и совсем закрылась для общественного пользования.) Официальным епархиальным печатным органом был журнал «Хлеб небесный», в котором, помимо официальной части и хроники церковной жизни, помещались разнообразные статьи, главным образом из древнерусского церковного быта⁶⁵.

В помещении Епархиального совета по вечерам проводились занятия пастырско-богословских курсов, преобразованных затем в богословский факультет, который после закрытия Института Св. Владимира продолжал существовать как самостоятельная Высшая духовная школа.

Институт Св. Владимира был открыт в Харбине на базе Высшей богословской школы в сентябре 1934 года, с тремя факультетами (богословским, восточно-экономическим и политехническим). В 1938 году на основе двух последних факультетов японские власти открыли Северо-Маньчжурский университет, просуществовавший до августа 1945 года. Богословский факультет продолжал функционировать, оставаясь в 30-х годах единственной высшей богословской школой дальневосточного русского зарубежья.

Студенты, окончившие четырехгодичный курс, представившие кандидатское сочинение и сдавшие государственный экзамен, получали ученую степень кандидата богословия⁶⁶. Основателем и первым ректором института был митрополит Мелетий (Заборовский), деканом богословского факультета — сначала архимандрит Василий (Павловский), который позднее уехал в Европу и был рукоположен там в сан епископа, а с 1938 года — протоиерей Виктор Гурьев, окончивший еще в императорской России Казанскую духовную академию⁶⁷.

Профессорский состав был главным образом из лиц с академическим образованием российских духовных академий или окончивших Харбинский богословский факультет.

⁶³ Цит. по: Коростелев В. А., Караулов А. К. Православие в Маньчжурии. 1898—1956 / Под ред. О. В. Косик. ПСТГУ, 2019. С. 112—113.

⁶⁴ Падерин Николай, свящ. В рассеянии // Альфа и Омега. № 3 (29). М., 2001. С. 266.

⁶⁵ Падерин Николай, свящ. Церковная жизнь Харбина. Из кн.: Церковь твою утверди: Из воспоминаний о церковной жизни Харбина. Сан-Паулу, 1967. Цит. по: Русский Харбин. Изд. Московского ун-та, 1998. С. 30.

⁶⁶ Падерин Николай, свящ. В рассеянии // Альфа и Омега. № 3 (29). М., 2001. С. 266.

⁶⁷ См.: Институт Св. Владимира в Харбине // Политехник. 1979. № 10. С. 32—33. См. также: Щегольков А. Г. Протоиерей Игорь Петрович Марков // Русская Атлантида. 2008. № 30. С. 8.

Среди студентов были лица как духовные, так и светские. Некоторые из них имели светское высшее образование⁶⁸.

Решением Синода РПЦЗ, признаваемым местными японскими властями, факультет имел официальный статус высшего богословского учебного заведения. В число студентов первых наборов влились местные священнослужители с дореволюционным семинарским образованием и выпускники Пастырско-богословских курсов, что повысило уровень подготовленности аудитории, а главное — впервые в условиях эмиграции — позволило, пусть и на короткое время, возобновить образовательную цепочку: духовная семинария — богословский вуз со строгой преемственностью учебных планов⁶⁹.

Количество студентов на факультете колебалось от 50 до 150 человек. В военные годы оно упало, заметно снизилась и посещаемость занятий. Обучение было платным, но установленная плата в 50 иен в год находилась в пределах разумного минимума и была скорее символической. Всего за период своего существования факультет сделал четыре выпуска: в 1937, 1939, 1941, 1944—1946 годах. Последний выпуск растянулся во времени из-за неспокойной военно-политической обстановки⁷⁰.

При богословском факультете существовало Братство имени Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова с издательским комитетом при нем. В его задачу входила всемерная помощь студентам в прохождении ими богословского образования. Члены братства пользовались его библиотекой, в которой были сосредоточены необходимые пособия-лекции (их приходилось размножать упрощенным способом — печатать на машинке). В воскресные дни периодически устраивались студенческие собеседования. Распространение богословской, религиозно-нравственной литературы осуществлялось издательским комитетом. Братство издавало свой журнал «Вестник братства»⁷¹. Софийский храм таким образом стал местом епархиального административного управления и храмом высшей богословской школы в Харбине.

Длительный период в Харбине в непосредственной близости находилось два Софийских храма. Новый превосходил своими размерами, масштабом и грандиозностью. При демонтаже старой церкви освободилась большая территория, которая сразу же была застроена торговыми рядами.

Софийский храм является одним из самых больших христианских храмов на Дальнем Востоке и мог вместить порядка 2000 прихожан. Главный престол был посвящен Софии Премудрости Божией. По воспоминаниям харбинского священника Николая Падерина, храм имел два боковых придела: правый придел был освящен во имя пророка Божия Илии и мученицы Ираиды. В воздаяние заслуг покойного Ильи Федоровича Чистякова, строителя двух Софийских храмов, и его супруги Ираиды Петровны Чистяковой, которая долгие годы помогала отцу Михаилу в должности старосты храма. Левый придел, долгие годы остававшийся неназванным, в 1946 году был освящен во имя святого благоверного князя Михаила Тверского (и в память об отце Михаиле Филолонове, чьими многими трудами и молитвами был возведен Софийский храм)⁷².

⁶⁸ Падерин Николай, свящ. Церковная жизнь Харбина. Из кн.: Церковь твою утверди: Из воспоминаний о церковной жизни Харбина. Сан-Паулу. 1967. Цит. по: Русский Харбин. Изд. Московского ун-та, 1998. С. 30.

⁶⁹ Коростелев В. А., Караулов А. К. Православие в Маньчжурии. 1898—1956 / Под ред. О. В. Косик. ПСТГУ, 2019. С. 253.

⁷⁰ Там же. С. 256—257.

⁷¹ Падерин Николай, свящ. В рассеянии // Альфа и Омега. № 3 (29). М., 2001. С. 30.

⁷² Еремин С. Ю., Киричков И. В. Указ. соч. С. 138.

С 1944-го по 1954 год настоятелем Софийского храма был протоиерей Андрей Голоскевич⁷³, а одним из штатных священников (с 1946-го по 1948 год) — о. Геннадий Красов⁷⁴. С 1954-го по 1955 год настоятелем Софийского прихода был протоиерей Николай Мухин.

Протоиерей Николай Петрович Мухин родился в 1895 году в Пермской губернии в семье священника. Окончил Пермское духовное училище (1912), пастырско-мисионерскую школу в Перми (1916). В том же году рукоположен во диакона к церкви завода Полазны. В 1917 году рукоположен в сан иерея к церкви села Чисто-Перевалочного. В конце Гражданской войны эмигрировал в Китай. Приписной священник Софийской (1919) и Пророко-Ильинской церкви (1923) Харбина. Служил на ст. Шуаньченпу Южной линии КВЖД в 1927–1933 годах. Окончил богословский факультет Института Св. Владимира в Харбине (1939). Возведен в сан протоиерея. Преподавал в Харбинской духовной семинарии с 1940 года. Доцент по кафедре философских наук богословского факультета Института Св. Владимира (1946). В 1955 году вернулся в СССР. Служил в Нижнем Тагиле и в поселке Черноисточинском (с 1965) Екатеринбургской епархии. Скончался 24 апреля 1979 года. Похоронен на поселковом кладбище⁷⁵.

Незадолго до закрытия прихода китайскими властями настоятелями Софийского храма были Фаддей Синий (1955–1956)⁷⁶ и Аникита Ван (1956–1957). Кроме того, на протяжении этого времени к собору были приписаны штатные и сверхштатные священники о. Василий Яковлев (1939–1947) и о. Николай Киклович (1947–1956).

Протоиерей Николай Григорьевич Киклович начинал служение в Софийской церкви Харбина в сане диакона в 1925 году. Вероятно, в 1926 году был рукоположен во священника к церкви Сунгарийского городка Харбина (1926–1927). Далее служил на ст. Мяньюхэ (1934–1936) и на ст. Яомынь (1936–1937), в г. Сахалыне (1937–1940), на ст. Эхо (1940–1941), в церкви района Московских казарм Харбина в 1941 году. Последний настоятель церкви на ст. Бухэду КВЖД в 1940-х годах. Имел богословские труды. Издатель православной литературы. Скончался в Харбине в конце 1950-х годов. Похоронен на кладбище Хуан-шан в Санкешу⁷⁷.

С 1933-го по 1945 год в Свято-Софийском храме служил сверхштатный протоиерей Валентин Синайский. Здесь он создал и возглавлял приют имени митрополита Мефодия.

Из воспоминаний дочери о. Владимира Петрова — Ольги Владимировны: «В декабре месяце 1945 года папа стал себя плохо чувствовать и 20 декабря скончался. Я с сестрой и тетя были около него. Перед смертью он все время смотрел на карточку своего

⁷³ Протоиерей Андрей Иванович Голоскевич. Настоятель церкви Богородице-Владимирского женского монастыря в Харбине с 1925 года. В 1944–1954 годах настоятель Софийской церкви Харбина. Жил при церкви. Скончался в Харбине. Похоронен на Успенском кладбище (Харбинский синодик. Духовенство и церковные деятели. Челябинск, 2009. С. 84).

⁷⁴ Протоиерей Геннадий Адрианович Красов (Карасов). Служил в церкви Механических мастерских Харбина (1921–1922), Свято-Николаевском соборе в 1922–1929 годах, на ст. Имяньпо КВЖД (1934–1937), в Затоне (1937–1941) и в церкви Московских казарм Харбина (1941–1945). Служил в Пекинской духовной миссии. В 1950 году направлен начальником миссии архиепископом Виктором (Святиным) в Урумчи. В 1951 году, в ночь с 9 на 10 января, погиб во время пожара в своей квартире (Там же. С. 99).

⁷⁵ Там же. С. 126.

⁷⁶ Протоиерей Фаддей Иоаннович Синий. Родился в 1880 году на Украине. Переселился в Приморье. Служил на ст. Мучная близ Владивостока. Во время российской смуты перебрался в Китай. Служил в Харбине в Софийской церкви в 1932–1956 годах. Участник съездов духовенства Харбинской епархии. Скончался в Харбине 15 июля 1956 года. Похоронен на Успенском кладбище (Там же. С. 142).

⁷⁷ Там же. С. 124.

сына, который был в Америке. Похоронили папу в Софийской церкви в правом предделе. Там были похоронены все священники, которые служили в этой церкви»⁷⁸.

«Культурной революции» и ее последствия. Последними настоятелями до своего отъезда в Россию были прот. Николай Мухин и прот. Фаддей Синий. После их отъезда китайскими властями настоятелем был назначен прот. Аникита Ван из Пекина (1956—1957). Он же занял пост председателя Епархиального совета. Во время «культурной революции» его обвинили в «религиозном уклонизме». Вскоре о. Аникита Ван умер, а храм был закрыт. В период «культурной революции» существовали планы разрушить храм. Харбинские старожилы говорят, что его дважды и безуспешно пытались взорвать. Верующие люди считают, что сила духа усопшего отца Михаила была так высока, что сила взрыва (-ов) не смогла разрушить храм и трещина «остановилась над его могилой»⁷⁹.

Долгие годы собор находился в полнейшем запустении. «София» в период «культурной революции», когда были гонения на Церковь, находилась в весьма плачевном виде. Без крестов (торчали только какие-то жалкие острые обломки на вершинах куполов) стояло это здание на Пристани. В нем находились в разные времена то склад, то прачечная. Справа от главного входа высилась огромная гора угля. К стенам храма были приделаны кустарные пристройки в виде навесов от дождя и солнца. На стенах были видны следы пожара⁸⁰.

Некоторое время в здании храма размещалось рабочее общежитие. В «Сборнике памяти 1-го Харбинского Русского реального училища» (1987) указано, что храм находится «без надзора и пришел в полную ветхость и стоит без окон. Вокруг него выросли многоэтажные жилые дома, и с улиц этот храм увидеть нельзя»⁸¹.

В. П. Петров (США, 1983): «Мы увидели купола Софийского храма, правда, без крестов. Я сделал несколько снимков церкви. Снимать было очень трудно, потому что вокруг храма нагромождены новые высокие здания, и Софийский храм пришлось снимать через какую-то щель между зданиями. В храм войти нельзя. Он забит досками»⁸².

Т. В. Пешкова (Флейшер) (1992): «Друзья свозили нас на Солнечный остров, который сейчас далеко не тот, на котором мы загорали в детстве. Теперь это прекрасный парк с мостиками, беседками на воде, водопадом и лотосами. Остров сохранил свое название. На обратном пути ехали по Пристани. Долго не могли сориентироваться, где мы проезжаем, пока не промелькнул величественный Софийский храм»⁸³.

А вот как он выглядел вблизи: «Храм Св. Софии на Пристани стоит огорожен забором и завален кучами мусора, окна заложены кирпичом. Вокруг него целы дома, в войну занятые японцами — японский банк, магазины Марушоо, Токива, магазинчики, куда вход был разрешен только японцам»⁸⁴.

⁷⁸ Принцева Светлана. Живая история: Мой дедушка строил Софийский собор // <https://www.unification.com.au/articles/3361>. «Единение» — еженедельная газета русской общины Австралии. Опубликовано 11 июля 2016 года. Дата посещения 6 ноября 2022 года.

⁷⁹ Еремин С. Ю., Киричков И. В. Указ. соч. С. 135.

⁸⁰ Грибин Сергей. Любимый Харбин. Владивосток, 2015. Глава «София Цзяо Тан» — символ русско-го Харбина. С. 123.

⁸¹ Тыкоцкий Г. Б. Свято-Софийский храм // Русская Атлантида. 2003. № 10. С. 35.

⁸² Петров В. П. Город на Сунгари. Вашингтон: Издание Русско-Американского исторического общества, 1984. С. 64.

⁸³ Пешкова (Флейшер) Т. В. Харбинские сказки // Русская Атлантида. 2006. № 18. С. 52.

⁸⁴ Лалетина (Николаева) Н. Н. Картинки с китайской природы. Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 17. С. 50.

К 1990-м годам Софийский собор пришел в упадок. Здание храма уже не использовалось по прямому назначению, а вокруг появились жилые дома и офисные здания. Некогда великолепные росписи, украшавшие арочные стены, были повреждены до неузнаваемости.

Реставрация собора. В середине 1990-х годов жители Харбина обратились к городским властям с просьбой отреставрировать православную церковь Св. Софии. Эта идея была поддержана харбинскими властями. Начался сбор пожертвований на ремонт храма. По городу ходили специальные сборщики с опломбированными коробочками для денег и приставленным полицейским. За полгода собрали 10 000 000 юаней. Это космическая сумма и для наших времен, а в 1997—1998 годах, когда плошка риса стоила в три раза дешевле сегодняшней, это были очень большие деньги. И жертвовали их, по монетке, по 10—20 юаней, не только одни православные люди, а все жители города⁸⁵.

В ноябре 1996 года решением Государственного совета КНР Софийский храм был включен в список памятников материальной культуры, которые подпадают под охрану государства. В 1997 году харбинское городское правительство утвердило проект полного обустройства Софийской площади; было намечено демонтировать и снести 13.000 кв. м строений, окружавших церковь и представлявших угрозу в пожарном отношении. Было намечено довести площадь до 7000 кв. м, восстановить реставрируемый объект в полном соответствии с замыслами зодчих и строителей⁸⁶.

В 1997—1998 годах собор был отремонтирован городскими властями, что потребовало больших затрат. Храм был приведен в порядок. Здание Софийской церкви довольно хорошо сохранилось в конструктивном отношении. Так, например, не пришлось в процессе реставрационных работ менять перекрытия ярусов колокольни, первоначальными остались деревянные лестницы и другие элементы конструкций. При восстановлении кирпичной кладки мастера старались подбирать кирпичи по цвету и размеру.

На куполах поставили золотого цвета кресты, в алтарной нише разместили картину, изображающую Тайную вечерю⁸⁷. Несколько лет на боковых колоннах внутри храма находились две большие иконы. В галерее, расположенной за главным алтарем, была устроена небольшая выставка старинных икон и утвари. Росписи, носящие чаще орнаментальный характер, и кресты, выполненные в виде углублений, напоминали посетителям музея о главном назначении здания — о том, что в нем располагался православный храм⁸⁸.

Оригинальные русские фрески были полностью утеряны, поэтому их заменили новые рисунки, отображающие историю Харбина. В 1997 году в рамках превращения «городских сооружений колониальной эпохи» в туристические достопримечательности в здании Софийского собора была открыта Харбинская архитектурно-художественная галерея. Здесь представлена почти тысяча фотографий, знакомящих посетителей с прошлым, настоящим и будущим Харбина, а также песочный макет города масштабом 1:600.

⁸⁵ Грибин Сергей. Любимый Харбин. Владивосток, 2015. Глава «София Цзяо Тан» — символ русского Харбина. С. 123—124.

⁸⁶ Лалетина (Николаева) Н. Н. Указ. соч. // Русская Атлантида. 2006. № 18. С. 60.

⁸⁷ Подсвеченный напояк аляпистый новодел картин-икон и абсурдная репродукция «Тайной вечери» смотрятся особенно вульгарно рядом с изяществом линий и чудесными цветовыми сочетаниями тонких оригинальных орнаментов подлинной росписи русского художника Анастасьева.

⁸⁸ Еремин С. Ю., Киричков И. В. Указ. соч. С. 136.

Представляют интерес сообщения старожилов Харбина, посетивших КНР в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

Н. Н. Лалетина (Николаева) (1997): «Харбин меняется на глазах. В каждый свой приезд узнаю новые его черты. Ранней весной 1997 года бродила возле Софийского храма. Он сиротливо стоял, заброшенный среди лачуг и мусорных куч. Проемы окон заложены кирпичом, двери заколочены, сорваны кресты, как будто гоголевский Вий осквернил его. Подойти ближе мешал высокий забор и прилепленные вплотную лачуги. С тяжестью сердца пришлось покинуть некогда почитаемый пристанскими жителями Софийский собор⁸⁹.

Октябрь. Праздник Дня Республики, яркий солнечный день благодатной маньчжурской осени, и в этих солнечных бликах, как птица Феникс, в изумительном изумрудном блеске куполов — красавец храм в первозданной красе, и кресты на всех куполах, и льется малиновый звон по всей Пристани так, что шум многоликого города не в состоянии заглушить его. А вокруг — роскошь живых осенних цветов в клумбах из сотен вазонов. Простор площади вокруг него, скамьи по краям обрамляют площадь.

Но вот открыта тяжелая дверь притвора. Сердце обрывается при виде его — изуродованного, избитого, что было святилищем, где возносились молитвы в торжественном песнопении. Ничего не осталось, росписи стен и потолков выщерблены до кладки, только кое-где чудом проступают остатки фресок. Уцелел один пол, не удалось разобрать, уж больно крепок и прочен.

Теперь это музей прежнего города. По стенам развешены крупноплановые фотографии летописи города, все исчезнувшие во время «культурной революции» и оставшиеся сегодня здания с начала строительства КВЖД и постройки города в фотографиях и макетах. Экспонат макета кафедрального Св. Николаевского собора, выполненный студентом. Бревна стен имитированы из скрученных листов бумаги.

Храм реставрирован снаружи в течение месяца. Работы велись дни и ночи. Вокруг храма очистили пространство, снеся мелкие постройки и даже 4—5-этажные дома. Средства на восстановление храма собрали с богатых предпринимателей. Открытие храма-музея было приурочено ко дню празднования Республики. На площади было установлено 48 пианино, исполнялась европейская классика. Храм воссоздан в прежнем виде с помощью русских харбинцев, живущих в Австралии, по фотографиям и слайдам. Так здание (не храм) получило вторую жизнь⁹⁰.

...Конфликт между КНР и Советским Союзом в период «культурной революции» (1966—1976) повлек за собой «борьбу с российской архитектурой». В период с 23 по 26 августа 1966 года хунвейбины⁹¹ снесли кафедральный Свято-Николаевский собор⁹².

⁸⁹ Любопытно замечание харбинки Н. Н. Лалетиной: «В этом же районе стоял Храм *Софийской Божией Матери*, но ни разу не довелось в нем побывать и помолиться, он был не нашего района. В Харбине все верующие ходили по месту жительства в свои церкви, и кроме того, конечно же в Собор». <https://www.jp-club.ru/vi-granitsyi-rasshiryayutsya>.

⁹⁰ Лалетина (Николаева) Н. Н. Картинки с китайской натуры. Харбин // *Русская Атлантида*. 2006. № 18. С. 60.

⁹¹ Хунвейбины — члены созданных в 1966—1967 годах отрядов студенческой и школьной молодежи в Китае, одни из наиболее активных участников «культурной революции». Название «хунвейбины» точно переводится как «красногвардейцы». Советская пресса, чтобы завуалировать сходство, стыдливо называла их «красными охранниками». Но эта уловка не многих обманывала, ведь «гвардия» — это и есть «охрана». По той же причине «Национал-социалистическую рабочую партию» гитлеровской Германии советская печать именовала «нацистской», чтобы не возникли «неконтролируемые ассоциации», а нацистов переименовывали (по-итальянски) в фашистов.

⁹² Дин Сян. Памятники русской архитектуры и культуры в Харбине // *Любимый Харбин — город дружбы России и Китая*. Материалы международной научно-практической конференции, посвящен-

Русские люди, пришедшие позже на поруганное святое место, нашли среди пепла и разорения большой колокол, сброшенный с храмовой колокольни. Его отвезли к ближайшему православному храму — Покровскому, что на Старом кладбище, и поставили его справа у входа в церковь. Там колокол простоял до ранней весны 1998 года. А рано утром редкие прохожие увидели, что бригада рабочих с трудом грузит колокол на большую грузовую машину. Побежали за настоятелем храма, отцом Григорием Чжу. Но он успокоил прихожан: колокол забирают, чтобы повесить на Софийский храм. Через некоторое время, когда ремонт «Софии» был завершен, «николаевский» колокол своими ста ударами возвестил о наступлении 100-летнего юбилея Харбина. Ведь именно весной 1898 года в район будущего города пришли из Хабаровска два парохода — «Благовещенск» и «Святой Иннокентий»⁹³.

«Жаль, что не используют харбинские власти возможности Софийской колокольни, — пишет Сергей Грибин. — Ведь город на Сунгари мог бы стать узнаваем по международному конкурсу звонарей! И совсем не факт, что первый приз будет все время уезжать в Россию — звонари из Европы и Америки тоже составят конкуренцию! А чуть позже и местные, харбинские звонари начнут выходить победителями. Ведь у большинства китайцев — отличный музыкальный слух и чувство ритма! А вообще — данный случай дает повод задуматься. Бог не бывает поругаем! Да, смогли недруги разрушить храм, надругались над святым местом. Но „голос собора“ сохранился и вернулся к людям в праздник юбилея города — через сто лет!»⁹⁴

С колокольни Софийской церкви иногда раздается непривычный для китайского города звон. Когда-то у этой церкви было семь колоколов — один большой и шесть малых. Случайно сохранился лишь один из малых колоколов. По нему отлили еще пять, а на место главного подвесили уцелевший колокол с разрушенного в 1966 году хунвейбинами Свято-Николаевского деревянного собора, стоявшего на главной площади Нового Города. Колокол этот был в свое время отлит в Ярославле на заводе Оловянишниковых по специальному заказу и доставлен в Харбин. Вес его составляет 101 пуд и 22 фунта (примерно 1,7 тонны)⁹⁵.

Надежда Разжигаева (1998): «Закончилась экскурсия посещением Софийского храма. Он стал еще более прекрасным, снаружи появились росписи: над входом Спас, ниже Дева Мария. Внутри, я была поражена, началась роспись стен храма — появилась Тайная Вечеря. То, что это делается, не знают даже оставшиеся харбинцы. Пригласили ли русского иконописца или сами китайцы восстанавливают фрески по фотографиям — неизвестно. Такое ощущение, что обновляется и возрождается все само по неведомым законам. Посередине храма стоит стол, на нем макет Свято-Николаевского собора и прилегающих улиц»⁹⁶.

„София“ теперь как центр, как магнит маленькой площади. Рядом два огромных супермаркета. Сняла в витринах одного из них отражение куполов храма, как символ русской Атлантиды, уходящей в бездну времени. Зашли в храм-музей. У входа купила наборы открыток и книгу „Архитектура г. Харбина“ с удивительным текстом, автор которого разрывается между критикой царского режима, затормозившего развитие края, и дифирамбами русским архитекторам, построившим „Восточный Париж“.

ной 120-летию русской истории г. Харбина, прошлому и настоящему русской диаспоры в Китае.

Харбин 16—18 июня 2018 г. Харбин; Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2019. С. 128.

⁹³ Грибин Сергей. Любимый Харбин. Владивосток, 2015. С. 128.

⁹⁴ Грибин Сергей. Указ. соч. Глава «София Цзяо Тан» — символ русского Харбина. С. 129.

⁹⁵ Крадин Н. П. Харбин — русская Атлантида. Хабаровск, 2001. С. 112.

⁹⁶ Харбин глазами наших детей. Из писем Нади Разжигаевой родителям // Русская Атлантида. 2001. № 6. С. 58.

В храме запрещено фотографировать. А там остатки орнамента, пустые стены и масса фотографий. На них мужчины в белых костюмах и канотье, счастливые, улыбающиеся женщины в шелковых платьях, сохранившихся только в некоторых харбинских чемоданах, да еще в моем шкафчике от бабушек. Россия, которой уже не было...»⁹⁷

В. М. Гинце (2001): «Софийская Церковь на Пристани снаружи отремонтирована, и стоит она величественно с куполами и колокольной, а перед ней — большая площадь. Внутри осталась нетронутой настенная роспись, сохранилось вдоль стен и несколько икон. Ныне Софийский храм известен далеко за пределами Харбина, но не как православная церковь, а как Музей города (до этого в нем был склад крупного универмага). Его широко рекламируют как исторический символ города, вероятно, для привлечения туристов»⁹⁸. (Кстати, в Харбине изготавливают красивые сувениры — медали с изображением этой церкви⁹⁹.)

Н. П. Крадин (2001): «Общая высота Софийской церкви до верха купола почти 49 метров, а вместе с крестом — немногим более 53 метров. Красно-серый цвет кирпичных стен, золото главоки зелень главного купола — все это составляет красочную палитру церкви, выделяющейся среди окружающей ее застройки. Расположенное через улицу современное зданиеторгового центра, облицованное большими плоскостями стекла, служит своеобразным зеркалом, в котором церковь отражается, превращаясь в живую картину. Одновременно зеркало стены торгового центра способствует зрительному увеличению пространства площади. Такие неожиданные эффекты способствуют наилучшему и более разнообразному восприятию Софийской церкви»¹⁰⁰.

Архимандрит Августин (Никитин) (Санкт-Петербург, 2005): «На площади перед Софийским собором пасется стая голубей. На свежевыкрашенных куполах сияют кресты; врата церкви открыты настежь. Из только что подкатившего темно-синего „ауди“ выбираются два китайца. Один прилежно снимает храм на видео, другой истово осеняет себя крестным знамением. Туристы? Нет, местные. Рядом временный помост, а над ним — рекламный плакат: слева — пивная бочка, справа — изображение этого же храма. За „кулисами“ толпятся молодые русские артисты в народных костюмах. Перед началом «шоу» один из них проверяет работу микрофонов. Подхожу, спрашиваю: откуда приехали? — Из Хабаровска. Обслуживаем пивной фестиваль. — А храм действующий? Что внутри? — Не знаю. Мне без разницы...»¹⁰¹

В ноябре 2005 года в Харбин вернулся и был помещен в музей колокол, отлитый в России (в Тюмени) в 1866 году. Предполагалось, что данный колокол в свое время находился на звоннице Софийской церкви. Колокол высотой 52 см, диаметром 54 см, весит с языком примерно 500 кг. Колокол обнаружен собирателем древностей харбинцем Ю Чуньхуа на складе сельскохозяйственной бригады недалеко от города Бэйань. Местные крестьяне, сколько себя помнят, «по сигналу колокола шли обедать и заканчивали дневные работы»¹⁰².

Баранник Ирина (2006): «Мы побывали в Софийском соборе Харбина — символе китайского города, в историю которого свои страницы вписали русские люди. Вокруг храма идет мощное строительство (да и весь город, как большая строительная пло-

⁹⁷ Там же // Русская Атлантида. 2000. № 3. С. 45.

⁹⁸ Гинце В. М. Зарисовки о поездке в Харбин // Русская Атлантида. 2003. № 9. С. 63.

⁹⁹ Поздняев Дионисий, свящ. Церковная жизнь в Маньчжурии в начале XX в. // Китайский благовестник. 1999. № 2. С. 11.

¹⁰⁰ Крадин Н. П. Харбин — русская Атлантида. Хабаровск, 2001. С. 112.

¹⁰¹ Августин (Никитин), архимандрит. Харбин. Страницы русской истории // Эхо планеты. Февраль 2006.

¹⁰² См.: Дацышен В. Г. Христианство в Китае: история и современность. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2007. С. 220—221. Примеч. 768.

шадка), рядом на скамейках отдыхает молодежь, по соседним улицам снуют торговцы-разносчики. А в храме — прохлада, покой и некое запустение... Стены сооружения давно не чувствовали прикосновения мастеровой руки строителя, роспись под куполом растеклась и померкла»¹⁰³.

Ефимов Алексей (2006): «Лица соотечественников 20–40-х годов прошлого века смотрят на посетителей с фотографий в музее истории Харбина — бывшем православном Софийском соборе. На площадке рядом с входом в бывшую церковь китайские артисты устраивают представления. Вокруг собирается публика, но мало кто обращает внимание на возвышающийся рядом собор, построенный в 1930-е годы. Вход сюда, как и в любой музей, платный. Первое, что видят посетители, — лавочка „самобытных русских товаров“, где рядом с матрешками и майками с изображением храма торгуют российскими сигаретами и напитками. На стенах, где когда-то находились иконы, теперь расположена фотоэкспозиция, которая рассказывает об истории города, точнее, о жизни русской общины. Старые фотографии подтверждают, каким живым и действительно „русским“ был этот город.

Все предметы культа в храме убраны в дальний коридор. Редкие посетители с увлечением фотографируются возле распятия и ликов святых. Здание уже давно перестало быть храмом, но на куполах по-прежнему сияют золотом православные кресты, правда, в самом центральном куполе видны несколько дыр. Вокруг храма множество торговых центров и коммерческих зданий — характерная для современного Китая картина. Интенсивная стройка идет и на бывшей прихрамовой территории, которую по-прежнему окружает классическая кирпичная ограда. Только внутри работают экскаваторы, сотни рабочих возводят новое здание»¹⁰⁴.

В 2006 году окружающая Софийский храм территория была очищена от прилегающей застройки. На площади перед храмом были построены музыкальный фонтан, картинная галерея русских художников и несколько сувенирных магазинов. Для того чтобы собор и его окружающая обстановка гармонизировали друг с другом, здание было подсвечено, установлены 16 групп новых галогенных ламп с рефлектором и более чем 1000 ламп. Вечерняя подсветка храма сделала его еще более привлекательным для туристов. В те же годы китайской стороной предпринимались не менее двух попыток украсить внешний облик храма Софии Премудрости Божией¹⁰⁵.

А. М. Славутская (2007): «Посетили три церкви. Именно посетили, все они не действующие. В самой величественной, не подвергшейся вандализму, церкви Св. Софии теперь музей истории Харбина. Посредине на широком стенде под стеклянным колпаком макет Соборной площади старого Харбина. В центре Свято-Николаевский собор, вокруг воспроизведены здания вокзала (в его прежнем виде), Правления КВЖД, Желсоба¹⁰⁶, особняка Остроумова и т. д., даже железнодорожные и трамвайные пути. На стенах вместо икон — огромные фотографии старого города»¹⁰⁷.

¹⁰³ Баранник Ирина. В Харбине веет Россией // Амурская правда. 13.07.2006.

¹⁰⁴ Ефимов Алексей. Китайский город Харбин старается сохранить память о русском прошлом. РИА Новости. 22 сентября 2006 года.

¹⁰⁵ Еремин С. Ю., Киричков И. В. Указ. соч. С. 136.

¹⁰⁶ Желсоб («Железнодорожное собрание»). Первое Железнодорожное собрание было построено в 1898 году в Старом Харбине. Здесь выступали самодеятельный хор и музыканты-любители. Новое здание Железнодорожного собрания на Большом проспекте было построено в 1913 (1911) году по проекту К. Х. Денисова, воспитанника Петербургской академии художеств. В нем были предусмотрены театральный и кинозал, библиотека и др. Здесь ставились оперы, оперетты, драматические спектакли, выступали симфонический оркестр, знаменитости из России и других стран.

¹⁰⁷ Славутская А. М. В Харбине 70 лет спустя // Русская Атлантида. 2007. № 23. С. 82.

Весной 2007 года были сняты с восточного фасада храма — над главным входом — три большие иконы, написанные на холсте (предположительно они были установлены туда в период благоустройства территории вокруг храма), и переданы работавшим в Харбине двум русским художникам Елене Горбачевой и Виктору Борткевичу для написания копий. Русские исполнители настойчиво и неоднократно обращались к заказчикам с предложением выполнить святые лики в виде мозаики (для более длительной сохранности образов), но китайская сторона настояла на повторном написании копий на холсте.

Директор «Софии» заказал у работавшего в ту пору на острове Солнца художника Виктора Борткевича три больших иконы. Самая крупная должна быть «ростом» три метра семьдесят сантиметров. Материал — деревянная доска, покрытие такое, чтобы ни солнце со снегом, ни дождь с ветром не смогли бы испортить их качество. Какие именно лики должны быть на иконах, Виктор со своей помощницей Еленой Горбачевой из Владивостока выясняли очень скрупулезно. Связывались с архивами, с Московской патриархией, узнавали о том, как должны писаться такие иконы. Соблюдали все обязательные для иконописцев посты, читали молитвы перед нарождающимися образами.

Старые иконы были написаны людьми, неизвестными даже с элементарными основами иконописи: холсты не были загрунтованы, наверняка их писали китайские художники, хотя образы были выбраны правильные — канонические. С образцов с помощью шила и углей были сняты точные копии. Иконописцы с соблюдением всех правил написания икон за два с лишним месяца закончили выполнение заказа. Самой крупной работой была ростовая икона Спасителя — три на полтора метра, Богородица и Иоанн Креститель — 1500х700.

В августе 2007 года в присутствии многих руководителей провинции Хэйлунцзян, города Харбина и района Дао Ли обновленные иконы были установлены на свои места над входом в храм. В этот день перед Софийским храмом толпилось много народу, щелкали фотоаппаратами, жужжали видеокамерами. Подъехал автокран. Вся фасадная часть храма — в паутине лесов. Рабочие застропили большую плоскую доску и аккуратно стали ее поднимать. Три больших иконы были подняты и вставлены в специальные проемы на фасаде здания, где им и должно было стоять по первоначальному проекту. Мать Божия, Иоанн Креститель и Иисус Христос заняли свои «законные» места над главным входом в храм Божий¹⁰⁸.

Ходили слухи, что руководство «Софии» закажет еще несколько образов, чтобы заполнить все имеющиеся «иконные ниши» на церкви, но заказа не последовало. Авторы — Виктор и Елена — разъехались из Харбина. А уже в конце 2008 года три больших иконы с фасада Софийского храма были сняты¹⁰⁹. Из-за влияния погодных факторов (изменение температуры воздуха, ветер, осадки) иконы постепенно теряли новизну и были сняты с фасадной стены храма. Одновременно были убраны две большие иконы и ликвидирована небольшая выставка икон и утвари внутри здания бывшей Софийской церкви¹¹⁰.

Китайские власти обратились к преподавателям и студентам художественной школы с предложением написать иконы, которые были скопированы с древних русских

¹⁰⁸ Грибин Сергей. Любимый Харбин. Владивосток, 2015. Глава «София Цзяо Тан» — символ русского Харбина. С. 127–128.

¹⁰⁹ Там же. С. 128.

¹¹⁰ Еремин С. Ю., Киричков И. В. Указ. соч. С. 136.

икон в киево-византийском стиле¹¹¹. Но даже простой российский турист легко отличит «киево-византийский стиль» от китайского «ширпотреба».

Т. П. Верижская (2008): «Во второй половине дня посетили Софийскую церковь. Реставрирована она весьма условно. Стены, купол и приделы внутри храма почти утратили роспись. Все облупилось, пропали замечательные краски. Посередине, где находился алтарь, написана картина „Тайной вечери“, кое-где, без особых претензий на достоверность, сделали изображение Николая Чудотворца и еще каких-то святых с совершенно нелепой трактовкой. По стенам развешаны черно-белые фото Харбина начала XX века. Сохранились паникадила, их из-за большой высоты храма, видимо, не могли достать»¹¹².

На здании Софийского храма, с наружной его части, находятся 13 специальных ниш для установки в них икон. Четыре над главным входом, одна на алтарной стене и по четыре на боковых стенах. На имеющихся исторических фотографиях все они пусты, кроме одной — над главным входом в церковь. В ней, в маленьком круглом медальоне, находилась икона Спасителя. Восстановить данный образ при согласии на то китайской стороны не составляет больших трудностей. Современные русские харбинцы в случае согласия харбинских властей установить данный лик на его историческое место готовы подарить данный элемент убранства¹¹³. Кроме того, в интерьере храма сохранились скульптура Иисуса Христа, иконы Воскресения Христова, св. Софии и св. Николая Чудотворца.

А. С. Хрипко¹¹⁴ (2012): «Я был в Харбине несколько лет назад и, конечно, пришел в Софийский собор, который внешне сейчас выглядит абсолютно так же, как тогда. Китайцы даже расчистили всю окружающую территорию, и сейчас церковь стоит посередине огромной площади. Кресты на месте, на колокольне висят все колокола. Мне даже разрешили подняться на колокольню, где я когда-то звонил. Нахлынули воспоминания. Вспомнил, как в 15 лет полез менять лампочки на кресте и сорвался, упав на крышу. К счастью, не пострадал, но с тех времен боюсь высоты.

Жаль, что внутреннее убранство не сохранилось — стены и потолок перекрашены, и поверх краски сейчас написаны китайские святы. В самой церкви организован музей города Харбина. А место захоронения моего деда — правый придел — остался нетронутым, и у меня сложилось впечатление, что китайцы даже не знают о том, что сокрыто в земле. И я решил не поднимать эту тему, не тревожить его могилу — он всей душой принадлежал этому храму, здесь и обрел свой вечный покой»¹¹⁵.

Одной из отличительных особенностей храма Софии Премудрости Божией в Харбине является установка на боковых внутренних арках церкви и на арках над хорами множества электрических лампочек. Такие технические решения встречаются в украшательстве православных храмов крайне редко. В случае качественного восстановления орнаментальных росписей и оригинальной системы локальной подсветки арок в помещении церкви данная особенность станет его отличительной чертой и будет

¹¹¹ Дацышен В. Г. Христианство в Китае: история и современность. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2007. С. 201.

¹¹² Верижская Т. П. Путешествие из Новосибирска в Харбин // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 71–72.

¹¹³ Еремин С. Ю., Киричков И. В. Указ. соч. С. 136.

¹¹⁴ Александр Сергеевич Хрипко — внук свящ. Владимира Петрова, служившего в Софийском соборе с 1923-го по 1945 год.

¹¹⁵ Принцева Светлана. Живая история: Мой дедушка строил Софийский собор // <https://www.unification.com.au/articles/3361>. «Единение» — еженедельная газета русской общины Австралии. Опубликовано 11 июля 2016 года. Дата посещения 6 ноября 2022 года.

интересна всем посетителям Софийского храма в Харбине, ведь такая подсветка воистину уникальна и не имеет аналогов¹¹⁶.

13 мая 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершавший визит в Китай, посетил в Харбине Софийский собор. Сотрудники архитектурного музея, ныне располагающегося в здании храма, рассказали Патриарху историю Софийского собора. Предстоятель Русской православной церкви, вспоминая историю разрушения храма Христа Спасителя в Москве, подчеркнул важность сохранения следов присутствия Русской православной церкви в Китае. Здание собора является не только религиозным символом, но имеет и политическое значение, выступая как отражение дружественных отношений между двумя государствами.

«Я не присутствовал при посещении «Софии» Святейшим Патриархом Кириллом в 2013 году, но слышал отзывы о песнопении, которое исполнил мужской хор, сопровождавший Патриарха, — пишет Сергей Грибин. — Китайским руководителям Харбина наверняка оно понравилось, так как буквально через полгода здесь же в бывшем храме прошел полуторачасовой концерт хора Храма Христа Спасителя из Москвы. Им исполнялись только мирские песни, но это было божественно! По окончании концерта этого я от лица Русского клуба в Харбине подарил цветы каждому участнику хора и выразил надежду, что патриарший хор сможет еще не раз порадовать нас своим, воистину Божественным, вокалом <...> И пусть сияет сегодня и всегда золотом крестов на радость всем жителям и гостям города Харбина символ Харбина — София Цзяо Тан!»¹¹⁷

Анни Санни (5 апреля 2015 года): «Мне всегда грустно видеть, когда разрушаются значимые исторически постройки, уникальные культурные и архитектурные сооружения. И вот с Софийским собором в Харбине — именно тот случай. Снаружи еще что-то сохранено, но вот внутри... Кажется, что „Святую Софию“ выскоблил какой-то зверский таксидермист и оставил лишь „чучелко“ на потеху туристам. Ну а то подобие музея, что находится сейчас в стенах с остатками фресок, содранных в одних местах и закрашенных в других — не стоит даже тех двадцати юаней, которые просят за вход»¹¹⁸.

И снова Н. Н. Лалетина (Николаева) (1997): «Может быть, наступит время, и в храме будут совершаться богослужения, освятятся и оживут стены храма? Неисповедимы пути...»¹¹⁹ Надежда умирает последней...

Приложение 6. Протоиерей Иоанн Сторожев // Гончаренко О. Г. Русский Харбин. М.: Вече, 2009. С. 202–205

Иоанн Владимирович Сторожев происходил из купеческой семьи Нижегородской губернии, и родился в Арзамасе. В раннем детстве, после безвременной кончины своего отца, был перевезен матерью в Дивеевский монастырь, основанный преподобным Серафимом Саровским, однако в первые годы своей сознательной жизни избрал для себя путь гражданской службы, окончив сначала Дворянский институт в Нижнем Новгороде, а затем юридический факультет Киевского университета. По окончании служил по судебному ведомству, затем, утомившись чиновной жизнью, накануне собственного назначения на прокурорский пост вышел в отставку и перешел

¹¹⁶ Еремин С. Ю., Киричков И. В. Указ. соч. С. 139.

¹¹⁷ Грибин Сергей. Указ. соч. Глава «София Цзяо Тан» — символ русского Харбина. С. 124, 127.

¹¹⁸ Анни Санни. Самая русская достопримечательность Харбина — Софийский собор. <https://annisanni.livejournal.com/1060019.html>. Дата посещения 11 ноября 2022 года.

¹¹⁹ Лалетина (Николаева) Н. Н. Картинки с китайской природы. Харбин // Русская Атлантида. 2006. № 18. С. 61.

в сословие присяжных поверенных. На этой ниве он снискал себе славу и стал одним из наиболее успешных адвокатов на Урале, однако и здесь не пошел по проторенному пути, будучи рукоположенным правящим архиереем в священный сан в Екатеринбурге в сентябре 1912 года. Российская империя находилась уже накануне своей трагической гибели.

Переход из либерального стана присяжных поверенных в консервативный и отчасти «правый» лагерь православного духовенства словно бы не явился для будущего пастыря существенной переменой в жизни, ибо и на новом поприще он стал быстро составлять новую, на сей раз «духовную» карьеру. Начав епархиальным миссионером, умеющим найти общий язык и верно донести слово до самых разнообразных представителей народонаселения Урала, о. Иоанн получает место настоятеля Ирбитского собора, а вскоре и Екатеринбургского в одноименном городе. В сущем сани и застала о. Иоанна беспощадная волна гражданской смуты, и когда в город пришли большевики, он продолжал служить, и именно к нему, по настоянию коменданта «Дома особого назначения» Янкеля Юровского¹²⁰, был послан солдат для того, чтобы пригласить православного священника провести последнюю, как оказалось, службу для находящейся под арестом императорской семьи.

Так как политические воззрения о. Иоанна нам неведомы, можно предположить, что отказываться от приглашения он более не стал по причине пастырского долга своего, нежели чем в силу наличия верноподданнических чувств. Отказ в просьбе всесильного екатеринбургского чекиста мог оказаться причиной бессудного убийства отказавшегося священника, случаем, которым не было числа в годы Гражданской войны. Так или иначе, собравшись и оповестив об этом своего дьякона, о. Иоанн был препровожден с ним в Ипатьевский особняк под конвоем красноармейцев.

Вот что написал сам священник, повествуя о первой и последней встрече с царской семьей. «Когда мы вошли в комендантскую комнату, то нашли здесь... беспорядок, пыль и запустение... Мы явились, что мы должны делать? Юровский, не здороваясь и в упор рассматривая меня, сказал: „обождите здесь, а потом будете служить обедню“. Я переспросил: „обедню“ или „обедницу?“ Он написал „обедницу“, — сказал Юровский. Когда мы облачились, и было принесено кадило с горящими углями (принес какой-то солдат), Юровский пригласил нас пройти в зал для служения. Вперед в зал прошел я, затем диакон и Юровский. Одновременно из двери, ведущей во внутренние комнаты, вышел Николай Александрович с двумя дочерьми, но которыми именно, я не успел рассмотреть. Мне показалось, Юровский спросил Николая Александровича „Что, у вас все собрались?“ Николай Александрович ответил твердо — „Да, все“. Мне показалось, что как Николай Александрович, так все его дочери... были, я не скажу, в угнетении, а как бы утомлены. После богослужения все приложились к Святому кресту, причем Николаю Александровичу и Александру Федоровне диакон вручил по просфоре... Когда я выходил и шел очень близко от бывших великих княжон, мне послышалось едва уловимое слово „благодарю“ — не думаю, чтобы это мне только показалось»¹²¹.

Как видно из отрывка, о. Иоанн не был большим поклонником монархии, и в свой последний визит к заточенному государю безукоризненно исполнил лишь свои профессиональные обязанности. Словно бы в отрицание богоданности титулов импе-

¹²⁰ Яков Михайлович Юровский (настоящее имя и отчество Янкель Хаймович, 1878, Каинск — 1938, Москва) — революционер, чекист. Родился в Каинске Томской губернии (с 1935 года — Куйбышев) в большой еврейской семье, восьмым из десяти детей. Его отец, Хаим Ицхакович, был стекольщиком, мать — швеей. Непосредственный руководитель расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи. В 1938 году Я. М. Юровский умер в госпитале от язвенной болезни кишечника. Вероятно, это «спасло» его от ареста и казни: прочие участники убийства царской семьи были Сталиным уничтожены.

¹²¹ Небесный (Харбин). Февраль 1927 года. Цит. по: Гончаренко О. Г. Русский Харбин. М.: Вече, 2009. С. 204—205.

раторского семейства, он и какое-то время спустя именовал великих княжон «бывшими», как бы не понимая, что «бывшими» ни единожды коронованный государь, ни его потомство быть не могут. Во время белого правления в Екатеринбурге о. Иоанн, решил уехать в Харбин, где и прожил со своим семейством до своей кончины, последовавшей в 1927 году. Там он был последовательно настоятелем Софийской церкви, затем Свято-Алексеевской.

Современники говорили о необычайном красноречии пастыря, привлекавшего прихожан мастерски построенными проповедями, что не удивительно, принимая во внимание его образование и успешную службу присяжным поверенным, где красноречие, как известно, является залогом профессионального успеха. Рискнем предположить, что в многочисленных проповедях сей пастырь едва ли призывал собравшихся покаяться в грехе царе-отступничества и молиться о даровании России нового государя. Весь его предыдущий жизненный опыт говорил о его принадлежности к либеральным слоям России, с равнодушием взиравшим на трагедию отречения и падения законной монархической власти; не удивительно, если осознание необходимости всенародного покаяния так и не посетило его до конца его дней в Маньчжурии. Современники уверяли, что о. Иоанн положил немало сил на организацию школы для беднейших детей при харбинской Алексеевской церкви, а также создание хорошего прихода, однако едва ли к нему приходило понимание важности промыслительного случая, сделавшего его последним из всего православного духовенства, причащавшим последнего российского государя.

Contents

Prose and Poetry

Konstantin Komarov. Poems • 3

Anna Gurina. Route to Damascus. *Short story* • 6

Taya Larina. Let's Leave. *Poems* • 12

Alexander Pyatkov. I Go Out Alone onto the Road... The Bus Passes Back. Wake. As if Life Had Passed... To the Station. Rowan Day. In the Morning, Late Autumn. *Short stories* • 15

Nikita Mityushkin. Poems • 32

Daria Osolodkina. Don't Swim Across. Behind the Door. *Short stories* • 35

Farid Khairullin. Poems about Love • 55

Alexander Oleksyuk. Items. Cycle of Miniatures • 58

To the 80th Anniversary of the Complete Liberation of Leningrad from the Fascist Blockade. **Evgeny Lukin.** Blockade Frescoes. *Poems* • 69

Anatoly Penkin. Pink ATM. Cherished Subsidy. *Short stories* • 77

Evgeny Kharitonov. Poems • 100

Mikhail Strigin. Confessions of Artificial Intelligence. *Short story* • 103

Polina Mikhailova. To Heat You Can Come Back. *Short story* • 113

Universe of Childhood

Antonina Shabanova. Zephyranthes. *Story* • 126

Translations

From French and English Poetry. *Translated by M. Serebrinsky* • 148

Journalistic Writings

Anton Zankovsky. Time of the Hard Jellyfish: The Metamodern We Deserved • 156

Criticism and Essays

Felix Lurie. Pushkin's Duel with Dantes • 166

St. Petersburg Bookman

Art of Reading. *Igor Sukhikh.* Family Thought-2023. *Daria Panurova.* „Create a New Document“. *Maria Kiseleva.* The Lost Generation of Our Time. *Angela Maslova.* Dance of Death. *Natalia Drobinina.* Branches and Roots. *Alexey Zubarev.* No Matter How the Rope Twists... *Alina Maltseva.* The Age of Violeta... *Anna Yakovleva.* Blessed Writers... *Leman Daleyibova.* A Whirlpool within Four Walls. **Territory of Memory.** *Alla Novikova-Stroganova.* The Right to Personal Dignity... **Book Island.** *Elena Zinovieva's Publication* • 196

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Harbin — „Russian Kitezh“. *Part 8* • 229

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО «Журнал „Нева“»

Сдано в набор 21.10.2023. Подписано в печать 21.12.2023.
Выход в свет 04.01.2024. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 800 экз. Свободная цена. Заказ № 3

Адрес издателя ООО «Журнал „Нева“»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 86
Тел. (812) 207-58-43.А